

**«Как сладкую песню Отчизны моей,
люблю я Кавказ»**



УДК 82.09
ББК 83.3(2=Рус)5-8 Лермонтов
К 16

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- Бутенко В. П., член Союза писателей СССР и России, главный редактор альманаха «Литературное Ставрополье»;
- Братусина В.А., председатель Ставропольской краевой организации Общества «Знание» России;
- Головкин В. М., член Союза российских писателей, доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ;
- Полумискова Е. П., член Союза писателей России, директор Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации писателей «Литературный фонд России» (составитель);
- Соколов-Лермонтов В. Н., член Международной ассоциации «Лермонтовское наследие», эксперт комиссии по подготовке празднования 200-летия со дня рождения М. Ю., Лермонтова при Министерстве культуры Российской Федерации, член Всероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка, историк культуры, правнучатый племянник М. Ю. Лермонтова.

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

- Федотов О. И., член Союза писателей СССР и России, доктор филологических наук, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (Москва).

К 16 «Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ»: сб. произведений, посвященных творчеству М. Ю. Лермонтова. — Ставрополь: Графа, 2014. — 274 с.; ил.

ISBN 978-5-904241-98-8

В сборник вошли произведения разных жанров (проза, поэзия, очерки, статьи) современных писателей, классиков отечественной литературы, известных лермонтоведов, учёных-филологов, журналистов, литераторов. В книге представлено много новых материалов, в том числе из фондов Государственного архива Ставропольского края. Издание адресовано широкому кругу читателей.

УДК 82.09
ББК 83.3(2=Рус)5-8 Лермонтов

- © Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной организации писателей «Литературный фонд России», 2014.
© Ставропольская краевая организация Общества «Знание» России, 2014.

«Как сладкую песню Отчизны моей,
люблю я Кавказ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ровно два столетия отделяют нас от мгновения, когда на свет появился Михаил Юрьевич Лермонтов — поэт гениальный, опередивший своё время, боевой офицер и патриот, искренне и горячо любивший Родину и, «как сладкую песню Отчизны своей», полюбивший и воспевший Кавказ. Оказавшись здесь, на перекрестке цивилизаций и культур, в водовороте событий, в самом пекле разгоравшейся Кавказской войны, он сердцем своим воспринимал Кавказ уже как исторически неотъемлемую часть великой державы, как символ благородства, чести и отваги, олицетворяющий стремление человека к воле. В сражающихся горах он видел носителей «духа рыцарства и вольности», что роднило поэта с самой атмосферой Кавказа, а товарищей своих по оружию, опальных представителей русской культуры и ссыльных участников декабрьского восстания 1825 года, считал цветом российской интеллигенции. Всё, что успел создать Лермонтов за свою жизнь, драматичную и яркую, невероятно короткую по земным меркам, было подвигом во имя Отечества и свободы. И его жизненный путь всегда будет являться для потомков примером жертвенного, бескорыстного служения России.

Он обладал необъяснимой притягательной внутренней силой, острым умом, непредсказуемым, сложным характером и неординарными, разносторонними способностями, что вызывало неподдельное восхищение у одних современников, откровенное непонимание и неприятие у других, безмерную любовь и глубокое почитание его таланта у всех последующих поколений россиян. Как человек, наделённый свыше поэтическим и пророческим даром, следуя примеру своего величайшего предшественника Александра Сергеевича Пушкина, он под «белым парусом» поэзии пустился в

одиночку по бушующему океану жизни к неведомым скалистым берегам предначертанной ему судьбы. Пребывая в постоянных странствиях и непрерывном духовном поиске высшей истины, он переосмысливал своё предназначение и поднимался в поэтическом творчестве на недостижимые высоты, с которых открывалось ему и прошлое, и будущее. И в этом стремительном творческом полёте, особенно здесь, на Северном Кавказе и на Ставрополье, замышлялись и рождались его лучшие творения. Находясь проездом и на лечении в городе Ставрополе и на Кавказских Минеральных Водах, поэт с окружавших его людей, живших с ним по соседству и ходивших по тем же улицам, по которым ходим и мы с вами сегодня, буквально «списывал» образы и характеры литературных героев. Именно в Ставрополе работал он над «Героем нашего времени» и над такими поэтическими шедеврами, как «Бородино», «Валерик», «Листок», и многими другими. Тема лермонтовского Ставрополя уже поднималась неоднократно. Однако ещё предстоит открыть неизвестные сегодня широкой общественности «лермонтовские места» и многое сделать для увековечения памяти М. Ю. Лермонтова в самом городе Ставрополе, где произошло столько знаменательных событий в его жизни, памятных встреч с известными представителями российской культуры и декабристами. Здесь у поэта оказалось больше друзей и единомышленников, нежели врагов. Отсюда для него начинался Кавказ, отсюда же он в мае 1841 года направился в Пятигорск навстречу своей трагической гибели.

К тому же именно М. Ю. Лермонтов оказался первым живописцем, запечатлевшим на своих рисунках и полотнах виды станиц и городов Предкавказья, он исписал несколько альбомов видами Ставрополя, изображая улицы, рощи, здания и проходивших мимо горожан. Это он оставил потомкам множество замечательных живописных свидетельств того, как выглядели, например, окрестности Пятигорска или горские аулы, знаменитые вершины и ущелья, военные крепости того времени. Это он открыл миру Кавказ. Уже потом появились знаменитые рассказы и повести Л. Толстого, кавказские пейзажи Н. Ярошенко, стихи и живопись К. Хетагурова. А вначале была пейзажная, «кавказская» лирика Лермонтова, возвышенная и грустная, исторически достоверная и выстраданная, пройденная через сердце и душу поэта и художника.

Юбилейная книга-сборник «Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ», посвященная 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, уникальна в своём роде как по своему замыслу, так и по совокупности публикуемых материалов. Она задумана и составлена современными авторами — прозаиками и поэтами Ставрополья, Северного Кавказа и других регионов России, людьми творческими, воспитанными в традициях классической русской культуры и литературы. Ведь именно братьям по перу бывает дано проникнуть в тайники родственной поэтической души, понять и постичь всю глубину и трагизм невысказанных чувств и откровений, доверенных когда-то бумаге, излитых в обжигающие болью, вечные крылатые строки. В книгу вошли произведения более тридцати авторов, в том числе признанных мастеров слова, известных классиков литературы (в том числе уже ушедших из жизни), а также известных лермонтоведов, учёных-филологов и журналистов, поклонников и знатоков его творчества.

Мы впервые поместили под одной обложкой этого издания новые, в большинстве своём не опубликованные ранее в широкой печати произведения различных жанров, в которых представлены версии и взгляды на самые загадочные страницы биографии поэта, которые не противоречат друг другу, а всесторонне дополняют образ

самого Михаила Юрьевича — человека гениального и смелого, благородного и дерзкого и в то же время обладавшего тонкой, чувствительной натурой, равнодушного ко всему, что происходило вокруг. В то же время читатель почувствует неразрывную историческую и духовную связь описываемых событий и сюжетов с современностью, потребность проводить такие параллели сквозь пространство и время с одной лишь целью — извлечь уроки из прошлого, без которого невозможно представить будущее страны, воспитать грядущие поколения в традициях великой русской культуры, в духе беззаветной любви и преданности своему народу и государству.

В книгу включены в качестве иллюстраций рисунки и картины поэта, его современников, отражающие дух и ауру той эпохи, автографы его знаменитых произведений. Впервые публикуются некоторые документы, предоставленные Государственным архивом Ставропольского края (ГАСК), и редакция выражает глубокую благодарность комитету по делам архивов Ставропольского края и ГАСК за эту возможность.

Первая часть *«Люблю Отчизну я»* рисует образ поэта-воина, истоки его глубокого и неподдельного патриотизма, а также содержит сведения о первом посещении Кавказа, дальнейшем многократном и плодотворном соприкосновении с его многогранной культурой — национальным горским колоритом, казачьим бытом и обычаями, рассказывает о неизвестном многим читателям лермонтовском Ставрополе.

Во второй части *«Ищу спокойствия напрасно»* показаны малоизвестные факты биографии, позволяющие увидеть подводную часть айсберга его души, раскрывающие личностные характеристики поэта, его сложные взаимоотношения с окружающими, имевшие глубокий резонанс в обществе того времени и отразившиеся в творчестве и судьбе поэта. В этой же части говорится и о представителях рода Лермонтовых — дальних предках и потомках, наших современниках, судьба которых во многом является примером самоотверженного служения Отечеству для подрастающего поколения.

Третья часть *«Венок творца, венок терновый»* посвящена Лермонтову — поэту и живописцу, творцу знаменитых шедевров, а также неоконченным произведениям, притягивающим умы и современников Лермонтова, и сегодняшнего читателя. Авторы сумели показать неразрывную связь его творческих замыслов со средневековым эпосом и казачьим фольклором, интересным будет и современный взгляд на лермонтовские произведения.

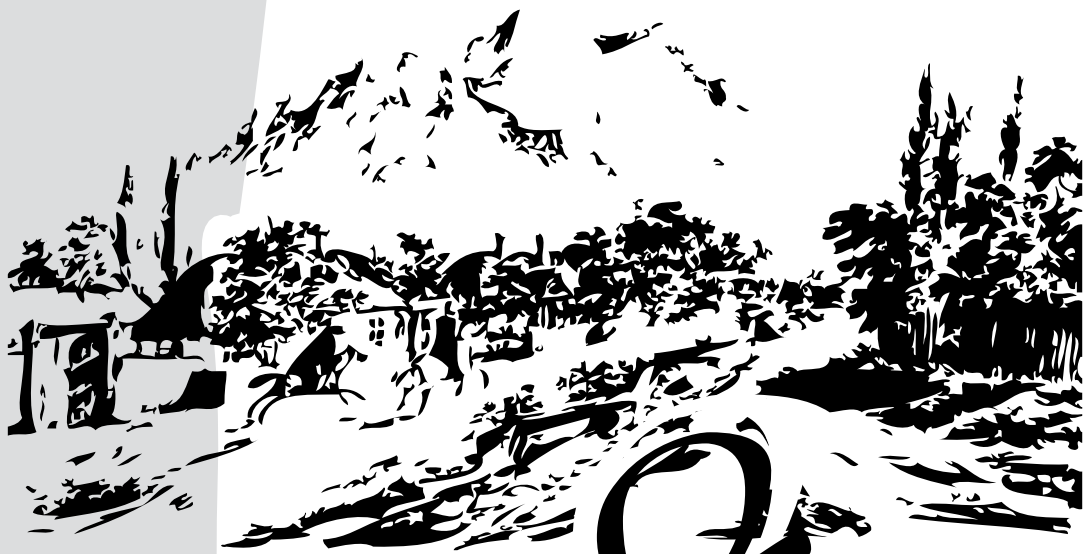
Книга эта, изданная за счёт средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России, несомненно, вызовет интерес у самого широкого круга читателей и никого не оставит равнодушным. И произведения из этого сборника, словно неувядаемые цветы памяти и неиссякаемой народной любви, сплетутся в единый венок величайшему российскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову в честь его славного двухсотлетнего юбилея.

Е. П. ПОЛУМИСКОВА.

«Люблю»

часть I.

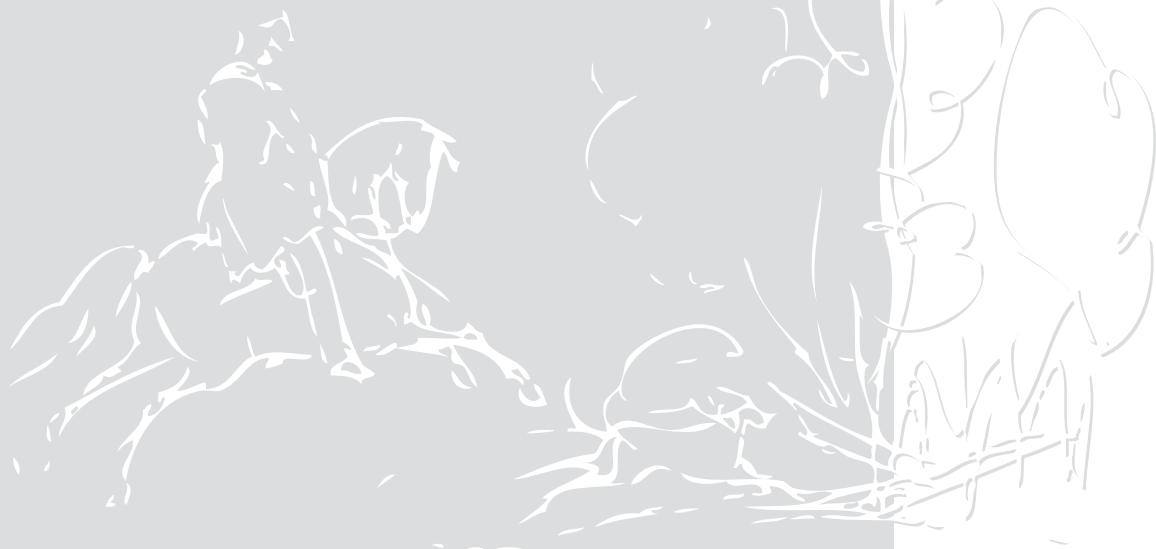
«Как сладкую песню Отчизны моей,
люблю я Кавказ»



Отчизну

я...»

М. Ю. Лермонтов



Кавказ

*Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.*

*В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.*

*Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, вспомя тот взор:
Люблю я Кавказ!..*

М. Ю. Лермонтов

Светлана ГОЛОВКО

«ЗДЕСЬ ВИТАЕТ ДУХ ЛЕРМОНТОВА»

У входа в Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» есть доска с надписью:

*...Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки.*

«Я теперь живу в Тарханах, в Чембарском уезде... у бабушки, вот тебе адрес на случай, если ты его не знаешь», — писал Лермонтов в 1836 году С. А. Раевскому. Окрестности села Тарханы (сегодня Лермонтово) хранят многое, связанное с памятью о поэте. Роща Долгая, расположенная к востоку от барской усадьбы, упомянута Лермонтовым в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен»; в небольшую дубовую рощу в летние праздники ходили «всей дворней», Михаил Юрьевич впереди всех; в предпоследний год жизни Лермонтову вспоминалось «молодого дня за рощей первое сиянье». Имение Тарханы, в котором Лермонтов провел детство, находилось в Чембарском уезде Пензенской губернии и было для степной полосы очень живописным. Особенно живописны берега Суры, правый, гористый, берег ее покрыт лесом, левый, луговой, богат озерами. Усадьба принадлежала бабушке поэта Елизавете Алексеевне Арсеньевой, была по тем меркам небольшой (одиннадцать комнат), но очень светлой и уютной. Дом стоял в саду, с одной стороны сад спускался к пруду, перегороженному плотиной. За прудом на пригорке раскинулось село Тарханы. Другой сад с огромной аллеей вековых лип находился рядом с селом. За селом и усадьбой простиралась степь, поля. Первый биограф Лермонтова П. А. Висковатов в книге «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество» так описывал усадебный дом: «... Тарханы. Барский дом, одноэтажный, с мезонином, окружен был службами и строениями. По другую сторону господского дома раскинулся роскошный сад, расположенный на полугоре. Кусты сирени, жасмина и розанов клумбами окаймляли цветник, от которого в глубь

сада шли тенистые аллеи. Одна из них, обсаженная акациями, сросшимися наверху настоящим сводом, вела под гору к пруду. С полуторья открывался вид в село с церковью, а дальше тянулись поля, уходя в синюю глубь тумана». Среди русской природы прошло детство Лермонтова, она стала неотъемлемой частью его творчества. В Тарханах все связано для Лермонтова с детскими впечатлениями. В одном из ранних стихотворений запечатлел поэт любимую беседку в Круглом саду, окруженную кустами акации и черемухи. Здесь цвел «куст прелестных роз», который вспоминал Лермонтов в стихотворении «Цевница».

На склоне гор, близ вод, прохожий, зрел ли ты
Беседку тайную, где грустные мечты
Сидят задумавшись? Над ними свод акаций.
Там некогда стоял алтарь и муз и граций,
И куст прелестных роз, взлелеянных весной.
Там некогда, кругом черемухи млечной
Струя свой аромат, шумя, с прибрежной ивой
Шутил подчас зефир и резвый и игривый...

Цевница. 1828

Старинную усадьбу, широкие и тенистые аллеи парка, зеркальную гладь прудов, синеющие степи, желтые нивы Лермонтов вспоминал много лет спустя:

...И если как-нибудь на миг удастся мне
Забиться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком, и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей,
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листья
Шумят под робкими шагами...

«Как часто, пестрою толпою окружен...». 1840

Весной в саду пышно цвели яблони, груши, вишни, разрасталось многоотра-
вье, где

...росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой...

«Когда волнуется желтеющая нива...». 1837

Детские впечатления о качелях, которые устраивались на могучем вязе, Лермонтов описал в наброске повести «Я хочу рассказать вам...»: «Среди двора красовались качели; по воскресеньям дворня толпилась вокруг них, и порой две горничные садились на полусгнившую доску, висящую меж двух сомнительных веревок, и двое из самых любезных лакеев, взявшись каждый за конец толстого каната, взбрасывали

скромную чету под облака; мальчишки били в ладоши, когда пугливые девы начинали визжать, — и всем было очень весело».

«Село Никольское, Яковлевское тож (народное предание объясняет это название тем, что первыми здесь появились нарышкинские крестьяне Николай и Яков), возникшее в начале XVIII века, Михаил Васильевич Арсеньев приобрел 13 ноября 1794 года у его владельца И. А. Нарышкина и записал его на имя своей жены Елизаветы Алексеевны. Она решила разбить усадьбу на новом месте, на берегу пруда. Были построены большой одноэтажный господский особняк, службы, хозяйственные помещения, был разбит парк. Рачительная хозяйка, Арсеньева перевела крестьян с оброка на барщину, они не только пахали, сеяли, но и занимались скупкой и перепродажей меда, воска, сала и больше всего пушнины, овчины для выделки мехов — «тарханили» (скупщиков называли тарханами). Это дало селу в начале XIX века новое название. Сюда в 1815 году М. М. и Ю. П. Лермонтовы привезли сына Михаила, и первые три года будущий поэт жил в этом доме. После смерти дочери Арсеньева особняк снесла, а в память о ней воздвигла церковь Марии Египетской (это единственное в первоизданном виде сохранившееся здание на территории усадьбы). В 1818–1827, 1828, 1836 годах Лермонтов жил в деревянном доме с мезонином. Вероятно, этот дом и вспоминает Лермонтов в неоконченной повести «Я хочу рассказать вам...»: «От барского дома по скату горы до самой реки расстился фруктовый сад, с балкона были видны дымящиеся села луговой стороны, синеющие степи и желтые нивы... Барский дом был похож на все барские дома: деревянный, с мезонином, выкрашенный желтой краской, а двор обстроен был одноэтажными длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведен валом, на котором качались и сохли жидкие ветлы...».

Бескрайние «желтеющие нивы» полюбили Лермонтову в Тарханах. Желтеющую ниву он вспомнил и в стихотворении «Родина». В 1837 году на гауптвахте в ожидании приговора суда за стихотворение «Смерть поэта» Лермонтов на серой оберточной бумаге спичками и сажей написал стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива», вспоминая «желтеющую ниву, серебристый ландыш, студёный ключ, играющий по оврагу и лепечущий таинственную сагу про мирный край. От этих воспоминаний у поэта «расходятся морщины на челе», и ему кажется, что счастье может он «постигнуть на земле».

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

«Когда волнуется желтеющая нива». 1837

Семейная драма — ранняя смерть матери, разлука с отцом (согласно завещанию Арсеньевой внук становился ее наследником только при условии, что он будет оставаться с ней до полного совершеннолетия) — отразилась в драмах «Люди и страсти», «Странный человек», а также в лирике Лермонтова.

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя под конец.
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я...

«Я сын страданья», 1836.

Лермонтов вспоминал: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услышал ее, она произвела бы прежнее действие. Ее пела моя покойная мать». У Лермонтова рано появился интерес к литературе: с детства ему были известны сочинения А. С. Пушкина, В. А. Жуковского. В Тарханах Лермонтов формировался как поэт, чуткий к красоте природы, тончайшим оттенкам человеческих переживаний; с живым воображением, поэтическим восприятием действительности. Память обращала его сюда в часы творческого вдохновения и спустя годы. Находясь в Москве, он вспоминал свои «ребяческие дни» с их «младенческими мечтами»:

Зачем семьи безвестный круг
Я покидал? Все грело сердце там,
Все было мне наставник или друг,
Все верило младенческим мечтам.
Какие ужасы пленяли юный дух,
Как я рвался на волю к облакам!..

1830 год. Июля 15-го.

Живя в разные годы в Москве, Петербурге, Ставрополе, Пятигорске, Лермонтов не забывал Тарханы, приезжал сюда на время каникул. Скучая по родным местам, он вспоминал и село, и поля, и дом, и сад, и беседку тайную. В 1828 году Лермонтов проводил в Тарханах лето после возвращения с бабушкой из Москвы, и здесь им были созданы первые произведения, в том числе поэма «Черкесь». В Тарханах же проводил «отпуск по домашним обстоятельствам» корнет лейб-гвардии гусар-



Усадьба Тарханы. Сегодня — Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

ского полка Лермонтов с 31 декабря 1835 года до середины марта 1836 года. Сразу по приезде в родное гнездо он начал работать над пьесой в прозе «Два брата». Здесь Лермонтов продолжал писать поэмы «Сашка» и «Боярин Орша».

Экспонаты, документы, артефакты музея-усадьбы в Тарханах могут пове-
дать о значении этого уголка России в жизни и творчестве поэта. Рукописи в его

кабинете рассказывают о времени, очень важном в творческой судьбе Лермонтова: поэт серьезно задумывался о месте России в общеевропейском духовном развитии, работал над образом современного героя. Литературоведы считают, что здесь были созданы поэма «Тамбовская казначейша», стихотворение «Умиравший гладиатор», помеченное вторым февраля 1836 года. На письменном столе рядом с английским изданием «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрона лежит авторизованная копия стихотворения «Умиравший гладиатор», личная бронзовая печатка, стоит чернильница поэта. Над старинным письменным столом с книгами и рукописями — портреты любимых писателей: А. С. Пушкина, Байрона, Вальтера Скотта. Многие произведения Лермонтова созданы по впечатлениям о прошлом родной усадьбы. Считают, что «Вадим» целиком написан по пензенским источникам, основан «на истинном происшествии», о котором Лермонтову рассказывала бабушка.

Здесь, в Тарханах, в небольшой часовне в фамильной усыпальнице членов семьи Арсеньевых покоится прах М. Ю. Лермонтова. Над часовней «темный дуб склоняется и шумит». Дерево посадили, выполняя поэтическое завещание М. Ю. Лермонтова, весной того же года, когда гроб с прахом поэта перевезли из Пятигорска в Тарханы.

...Я родину люблю,
И больше многих: средь ее полей
Есть место, где я горесть начал знать,
Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшийся с землей,
Навеки прежний вид оставит свой.

Автографы произведений Лермонтова, живописные его работы, старинные книги с записями о пребывании Лермонтова в Тарханах, его личные вещи — всё это оставляет у каждого посетителя музея-усадьбы М. Ю. Лермонтова неизгладимое впечатление. Писатель Илья Эренбург оставил в книге отзывов запись: «Здесь витает дух Лермонтова». Все так же шумят у пруда прибрежные ивы. На самом берегу стоит развесистый дуб, по народным преданиям, посаженный самим Михаилом Юрьевичем, любившим это дерево как символ мужества и силы.

Символично, что Лермонтовский дуб полтора столетия рос и в Ставрополе — городе, который в судьбе великого поэта сыграл большую роль и органично вписался в топонимику его произведений. Тарханы, Петербург, Ставрополь, Пятигорск — это вехи его жизненной и творческой биографии, и с каждым из этих мест великой России имя Лермонтова связано неразрывно.



Раиса АХМАТОВА

У МАШУКА

Проходит жизнь, невидимая всем,
И новая зима сменяет лето...
А Лермонтову было двадцать семь
У Машука под дулом пистолета.

Ты с книжной полки трепетно возьми
Любовь и гнев, прозренья и бессмертье,
Он прожил не до двадцати семи —
Столетия жил и проживёт столетья.

Однажды я в Тарханы доберусь
По давнему сердечному приказу
И Лермонтову привезу на Русь
От Лермонтова горсть земли с Кавказа.

Перевод с чеченского И. ОЗЕРОВОЙ



Николай БЛОХИН

«Синие горы Кавказа, приветствую вас!»

Весной 1825 года тарханская помещица Елизавета Алексеевна Арсеньева (урождённая Столыпина) объявила домочадцам, что вместе с внуком снова едет на Кавказ, дабы поправить водами и горным воздухом здоровье Мишеньки. Зная, что Мишу скоро придётся отдать в учение в Москву или Петербург, бабушка решила сделать внуку подарок, очень щедрый, — поездку на Горячие Воды на целое лето.

К БАБУШКЕ ЕКАТЕРИНЕ

Это была её третья поездка «на Воды» с юным Лермонтовым, которому в то лето шёл одиннадцатый год. О двух первых поездках поэта известно немного.

Считается, что первый раз Лермонтова ребёнком бабушка привезла на Кавказ летом 1818 года. Отдыхала Арсеньева с Мишелем и семьёй брата Александра Алексеевича Столыпина в имении сестры Екатерины Алексеевны Хастатовой в станице Шелкозаводской на Тереке, за Владикавказом, ближе к Кизляру. Имение именовалось Шелковица, или «Земной рай».

«...Имение, — писал первый биограф поэта профессор П. А. Висковатый, — подвергалось частым нападениям горцев; кругом шла постоянная мелкая война. Однако Екатерина Алексеевна так привыкла к ней, что мало обращала внимания на опасность. Если тревога пробуждала её от ночного сна, она спрашивала о причине звуков набата: «Не пожар ли?». Когда же ей доносили, что это не пожар, а набег, то она спокойно поворачивалась на другую сторону и продолжала прерванный сон. Из-за её бесстрашия в кругу родни и знакомых в шутку её называли «авангардной помещицей», так как имение Хастатовой было расположено на рубеже, за которым жили горские племена.

В рапорте кизлярского окружного землемера Кудрявцева от 21 января 1824 года за №6 содержится описание этой пограничной линии: «...Проходя по оному урочищу реке Тереку, направо — земля с лесными угодьями общего владения ген.-майорши Хастатовой, а налево — река Терек и за оной — горские владения. Длина этой линии 188 саженей...».

Никакая храбрость владельцев имения, о которой сохранились воспоминания современников, замечают составители, не могла бы противостоять отчаянным набегам. Крепость находилась под охраной военных.

И тем не менее в списке, «кому именно старейшим в дворянском роде женска пола по Кавказской губернии розданы бронзовые медали, установленные для дворянства в память 1812 года», под номером 24 значится «Кизлярского (уезда) Хастатова Екатерина Алексеевна, вдова, генерал-майорша». Бабушка Екатерина, как позднее узнает юный Лермонтов, в тяжёлый для России год помимо управления имением как могла помогала Отечеству, за что и была удостоена медали «В память Отечественной войны 1812 года». Но для окружающих эта награда была лишь подтверждением храбрости бабушки Екатерины.

Екатерина Алексеевна Хастатова (урождённая Столыпина), сестра Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, была замужем за генерал-майором Акимом Васильевичем Хастатовым, но рано овдовела. Прожив 53 года, Хастатов скоропостижно скончался в 1809 году. Екатерина Алексеевна осталась с тремя детьми: Марией, Анной и Акимом.

Одна из дочерей, Анна Акимовна Хастатова, тётя Лермонтова, была замужем за Павлом Ивановичем Петровым. У них было четверо детей: три дочери и сын. В 1818 году Петров был назначен командиром Моздокского казачьего полка. Через восемь лет он, уже войсковой атаман Астраханского казачьего войска, произведён в полковники «за отличие в сражениях с горцами». А в 1834 году Петров произведён в генерал-майоры и назначен начальником штаба войск на Кавказской линии и в Черномории. Жил с семьёй в Ставрополе. Многие сделал для облегчения участи опального поэта во время его первой и второй ссылки на Кавказ.

Дяде Лермонтова Акиму Акимовичу Хастатову, брату Анны Акимовны и Марии Акимовны, в 1825 году исполнилось 18 лет. Начинал военную службу прапорщиком лейб-гвардии Семёновского полка. По материалам П. А. Висковатого, «Хастатов этот был известный всему Кавказу храбрец, происхождения его переходили из уст в уста. Это был удалец, достойный сын мужественной матери, рассказы которой так сильно возбуждали воинственный дух маленького Лермонтова». Некоторые приключения из жизни дяди Акима Акимовича Хастатова Лермонтов использовал в повестях «Бэла» и «Фаталист».

Тётя Лермонтова Мария Акимовна, сестра Анны Акимовны и Акима Акимовича, к приезду Мишеля Лермонтова в 1825 году на Кавказ была замужем за Павлом Петровичем Шан-Гиреем.

В то лето Лермонтов подружился с Акимом Павловичем, сыном супругов Шан-Гиреев. Аким был моложе Лермонтова на четыре года. В семье бытовал рассказ о том, как однажды Екатерина Алексеевна спасла своего внука. Как-то горцы напали на Шелкозаводское и застигли врасплох Екатерину Алексеевну с малолетним внуком Акимом. Но она не растерялась, встала в простенке и спрятала мальчика под своей широкой юбкой. Горцы не тронули смелую женщину и ушли.

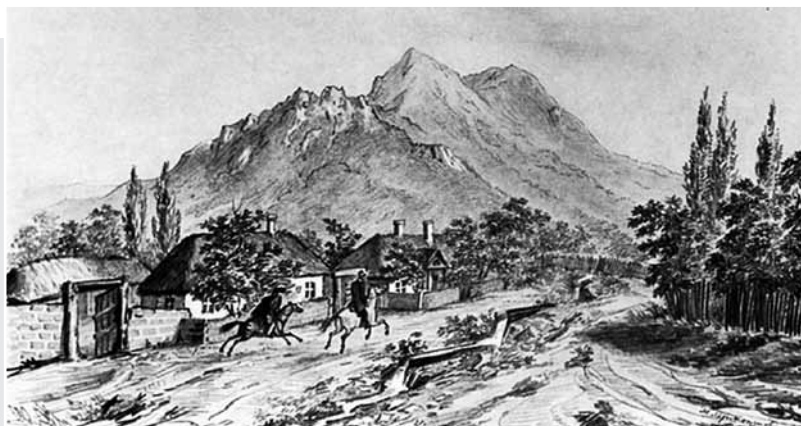
Впоследствии Аким Павлович Шан-Гирей написал мемуары о Лермонтове, которые, по оценке литературоведов, оказались одними из самых значительных и содержательных воспоминаний о великом русском поэте.

Второй раз юный Мишель Лермонтов, от роду которому не было и шести лет, побывал на Кавказе летом 1820 года. О втором путешествии в альбоме рукой двоюродного деда поэта Александра Алексеевича Столыпина сделана запись: «Кислые воды, 1820-го, августа 1-го».

В статье «Дуэль и смерть Лермонтова», опубликованной в многотомном издании «Записки русской академической группы в США» (Т. 23. Нью-Йорк, 1990. С. 75–101) её автор профессор Павел Николаевич Пагануцци привёл карты путешествий Михаила Лермонтова. На одной из них указан маршрут поездок для лечения: Москва — Железноводск и Пятигорск. Пагануцци полагает, что Лермонтова возили на Кавказ трижды: в 1818 году, 1820 и 1825-м. Именно три раза. И приводит, по его мнению, точные даты этих поездок. Пагануцци убеждён, что все «три маршрута» начинались в Москве.

ОТЪЕЗД НА КАВКАЗ

Самые подробные сведения сохранились о третьей поездке юного Лермонтова на Кавказ. Отъезд задержало печальное известие: 7 мая 1825 года в Санкт-Петербурге умер брат А. А. Арсеньевой и А. А. Столыпина тайный советник обер-прокурор Сената Аркадий Алексеевич Столыпин. Извещение о его смерти опубликовано 9 мая 1825 года в «Северной пчеле».



М. Ю. Лермонтов. Бештау близ Железноводска. 1837.
Бумага, карандаш. 21 × 30,6.

Но откладывать поездку на Кавказ из-за столь печального события Арсеньева не стала. В начале мая 1825 года она объявила домочадцам день отъезда на Горячие Воды. К путешествию готовились долго, сборы начались ещё в апреле, за несколько недель до отъезда. Дорога из имения Тарханы на Кавказские Минеральные Воды предстояла неблизкая. Даже поездка из Тархан в Москву была целым событием, не говоря уже о поездке в Петербург, а тем более — на Кавказ.

«В то время железных дорог не было, — замечает литературовед Н. С. Шер, — надо было ехать на лошадях. От имения Тарханы до Пятигорска, или, как тогда его

называли, Горячих Вод, ехали около месяца; часто останавливались в пути, ночевали на почтовых станциях; было весело, интересно».

Независимо от настроения путешественников поездка на Кавказ тогда была нелёгкой. Не день, не два и не три. И даже не неделя!

В начале мая установилась хорошая погода. Дороги к этому времени на юге уже просохли. У помещиков, даже не слишком богатых, в обозе было до десяти экипажей, а в упряжке шло по 40-45 лошадей.

В ту весну Арсеньева выехала из имения Тарханы тоже большим обозом. На Воды отправились Арсеньева с внуком и бабушкин брат Александр Алексеевич Столыпин. Он ехал с женой Екатериной Александровной и дочерью Марией, Агафьей и Варварой. В других экипажах ехали родственник бабушки Михаил Пожогин-Отрашкевич, доктор, учитель, гувернантка. В отдельной бричке ехала кухня с поварами, чтобы готовить обед на остановках. В дорогу Арсеньева приказала взять «погребец» — этакий дорожный ларец с чайными и столовыми приборами.

Арсеньева, имевшая 600 крепостных — а собственников с таким количеством душ в России было немного, — тем не менее не считала себя слишком богатой. И потому отправилась на Воды на собственных лошадях.

Обозом управляли свои кучера. В дороге на остановках Арсеньевой и путникам прислуживали её дворовые, обеды готовили из своих припасов её повара.

Обоз двигался медленно. Из прошлых поездок Арсеньева знала, что путешествие займёт много времени, и потому приказала заложить для неё и внука «дормез» — карету с раскладными постелями. Своё название этот вид кареты получил от французского слова «dormeur» («соня») или «dormir» («спать»). Вот на таком бабушкином «дормезе» Мишель Лермонтов трясся не менее двух недель, учитывая, что из Тархан надо было ехать в Тамбов, так как губернские дороги были лучше. Затем в Воронеж, а из Воронежа через Казанскую, Павловск на Черкасск.

ПОЧТОВЫЕ СТАНЦИИ

У Акса́я была долгая остановка: экипажи переправляли на левый берег Дона. Для юного Мишеля переправа через Дон — настоящее приключение после долгой и однообразной дороги. А почтовая станция в Аксае — островок бурной жизни. Кто-то едет на юг, кто-то возвращается на север. Приезжают одни постояльцы, уезжают другие, кто-то обедает, кто-то просится на ночлег. В Аксае сходились две большие почтовые дороги на Кавказ: «великороссийская» и «малороссийская».

Позднее в очерке «Кавказец» Лермонтов опишет жизнь почтовых станций и станционных смотрителей: «Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в неё пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, так как они его не беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу...».

Лермонтов проезжал Аксайскую почтовую станцию одиннадцать раз, из них шесть раз с бабушкой. Не миновал станцию и печальный кортеж: гроб с телом поэта везли в Тарханы через Аксайскую. После Акса́я путешественники проезжали Кагальницкую, Мечётинскую, Нижне-Егорлыкскую, Средне-Егорлыкскую.

Далее шли почтовые станции Кавказской области: Песчанокопская, Разсыпная (она же Летницкая), Калаловская, Медвеженская, Преградная, Безопасная, Донская крепость, Московская. Почтовый дорожник Российской империи содержит сведения о расстояниях между станциями. Среднее расстояние между станциями — 26 верст.

Самые крупные почтовые конторы были открыты в Медвеженском и Ставрополе. От Ставрополя путешественники добирались до Пятигорска ещё не менее суток. Так путешествовали люди не простые, а имущие. Без особой нужды в те времена никто не выезжал за ворота усадьбы. А чтобы отправиться в дальнее путешествие, нужны были и средства, и мужество. В дороге всякое случалось.

НА ВОДАХ

Подтверждение о пребывании Арсеньевой с внуком на Водах в 1825 году находим в альбоме М. А. Шан-Гирей, в котором Лермонтов нарисовал кавказский пейзаж и подписал своей рукой: «13 июня. Горячие Воды». Судя по этой записи, можно сделать вывод о том, что Е. А. Арсеньева и её спутники в то лето не поехали в станицу Шелкозаводскую. Открываем августовский выпуск журнала «Отечественные записки» за 1825 год. В списке посетителей и посетительниц Кавказских Вод в



Рубо Ф. А. (1856–1928). Почтовая станция на Кавказе. 1913.
Холст, масло. 60 × 82.

1825 году по июль, помещённом в «Отечественных записках» П. П. Свиньина, значатся: «Столыпина: Марья, Агафья и Варвара Александровны, коллежского ассессора Столыпина дочери, из Пензы, Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермантов, родственник её Михайло Пожогин, доктор Ансельм Левиз, учитель Иван Капа, гувернёрка Христина Ремер... Шангерей Па-

вел Петрович, отставной штабс-капитан, из Кизляра... Хастатов Макар Захарович, титулярный советник из Астрахани... Столыпин Александр Алексеевич, коллежский асессор из Симбирска, его супруга Екатерина Александровна... Петров 3-й Павел Иванович, командир Моздокского казачьего полка, подполковник из Наура, жена его Анна Екимовна, дочери Катерина и Марья... Гнедич Николай Иванович, коллежский советник, Императорской публичной библиотеки помощник библиотекаря, из С.-Петербурга...» («Отеч. записки». 1825. № 64 (август). С. 260).

Ещё один «свидетель» поездки юного Лермонтова на Кавказ — это сам Михаил Лермонтов, к которому тем летом пришла первая любовь. По поводу своей первой любви поэт оставил следующую запись: «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?»

Мы были большим семейством на Водах Кавказских: бабушка, тётушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я её видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но её образ и теперь ещё хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату: она была тут и играла с кузиною в куклы: моё сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чём ещё не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь: с тех пор я ещё не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал её видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату... Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят её существованию — это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринуждённые — нет; с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны...»

Эту запись Лермонтов сделал 8 июля 1830 года, пять лет спустя с того памятного часа...

Вспоминая лето 1825 года, Лермонтов не преминул упомянуть, что на «на Водах Кавказских были большим семейством». Где же тогда и у кого они останавливались? Листаю «Ведомости посетителей Горячих Вод в сезон 1818 года». Это первая поездка четырёхлетнего Лермонтова с бабушкой на Кавказ.

Нахожу запись за 21 июня 1818 года: «Хастатова Екатерина Алексеевна, вдова, генерал-майорша. При ней: дочери её Анна Екимовна и Марья Екимовна, поручица Шер-Гиреева, поручик Павел Петрович Шергирей. Дворовые люди: Алексей Иванов, Павел Артемьев, Николай Чиков, Павел Анисимов, Александр Савельев, Дмитрий Лаврентьев, Марко Чехов, Константин Павлов, Яков Щербаков, Яков Павлов, Иван Игнатьев, Яков Марков, девицы: Надежда Михалова, Агафья Кузмина, Дарья Юдина, Агафья Захарова; женщины: Марья Васильева, Прасковья Абрамова, Ианна Степанова. Вида не представили. [Остановились] в собственном доме».

Про приезд Е. А. Арсеньевой с внуком сведений нет. Важно другое: у Хастатовой на Горячих Водах был собственный дом. Этот дом упоминается и в «Ведомостях посетителей Горячих Вод в сезон 1821 года»: «7 июля. Петров Павел Иванович, Моздокского казачьего полка командир, подполковник, с женой Анною Екимовной

и с двумя малолетними детьми. При них пятидесятники Иван Коничев и Осип Горинчев. Крепостных людей: мужска пола — 4, женска — 1. Из Моздока. Виду не представили. [Остановились] в доме генерал-майорши Хастатовой».

Как и в первом случае, так и во втором упоминание дома генерал-майорши Хастатовой наводит на мысль о том, что Арсеньева с внуком провела большую часть времени на Горячих Водах, а не в станице Шелкозаводской.

«ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ...»

Путешествия Лермонтова на Кавказ, особенно в 1825 году, произвели на него впечатление, которое оставалось с ним до конца его жизни.

Что мог увидеть любознательный мальчик на Кавказе? Укрепления, казачьи пикеты, войска с пушками, обозами, черкесов мирных в косматых бурках, офицеров на водах, людей цивилизных, тоже приехавших полечиться.

На Кавказе Мишель имел возможность в какой-то мере изучить нравы и характеры горцев. В памяти оставались яркие картины. Их никогда не забудет Мишель. Однажды Лермонтов воскликнет:

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили...



М. Ю. Лермонтов. Волобуева мельница. 1837.
Бумага, карандаш. 21 × 31.

Пагануцци пишет: «Черкесы из соседних аулов ежедневно приезжали в Горячеводск для продажи бурок, сёдел и баранов... Из Горячеводска Лермонтов ездил в Аджи-аул на празднование байрама, на которое съезжалось все горячеводское общество. Устраивались джигитовки, пели, плясали и угощали всех гостей, а знаменитый певец Закубанья Керим Гирей пел под звуки пишнендук'окъо (вид арфы)».

В поэме «Измаил-Бей», опубликованной впервые в третьем номере журнала «Отечественные записки» за 1843 год, Лермонтов описал этот праздник и выступление на нём народного певца:

Вокруг огня, певцу внимая,
 Стопилась юность удалая,
 И старики седые в ряд
 С немым вниманием стоят.
 На сером камне, безоружен,
 Сидит неведомый пришлец.
 Наряд войны ему не нужен;
 Он горд и беден: он певец!
 Дитя степей, любимец неба,
 Без злата он, но не без хлеба.
 Вот начинается: три струны
 Уж забренчали под рукою,
 И живо, с дикой простотою
 Запел он песню старины...

Но не только это видел юный Лермонтов: а горы, а снеговые вершины, а грозы в горах, ливни, обвалы, бурные реки, а буйная зелень, а скалы? Разве этого мало для впечатлительной души? Кавказ всем своим своеобразием, всей разноплеменностью, войной и миром вливался в детскую душу незабываемыми картинками. Сюда надо прибавить и рассказы кавказских старожилков — и тогда будет понятно, что означали для Мишеля поездки на Кавказ. Здесь могли переплетаться и быть, и небылицы, рассказы точные с рассказами нарочито гиперболизированными. Воображение Лермонтова было возбуждено всей новизной бытия, её неповторимостью и романтичностью. Эти настроения Лермонтова найдут отражение в его ранних стихотворениях «Черкешенка», «Грузинская песня», «Кавказу», «Утро на Кавказе», «Люблю я цепи синих гор»... В первой главе поэмы «Аул Бастунджи», отрывки из которой впервые опубликованы в 1860 году, Лермонтов описал события, которые разворачивались в Пятигорске:

Между Машуком и Бешту, назад
 Тому лет тридцать, был аул, горами
 Закрыт от бурь и вольностью богат.
 Его уж нет...

Лермонтов вспоминал горы Машук, Бештау и в поэме «Измаил-Бей»:

Давным-давно, у чистых вод,
 Где по кремням Подкумок мчится,
 Где за Машуком день встаёт,
 А за кругым Бешту садится,
 Близ рубежа чужой земли
 Аулы мирные цвели...

Большинство произведений о Кавказе впечатлительный Лермонтов написал рано. В 14 лет были написаны «Черкесы», «Кавказский пленник», «Жорсар», в 15 — «Преступник», в 16 — «Две невольницы», в 18 — «Измаил-Бей», которую высоко ценил Л. Н. Толстой. «Действительно хорош этот край дикой, — писал в дневнике Лев Николаевич, — в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода».

Но считается, что свои детские впечатления и переживания Лермонтов как бы обобщил и выразил свою искреннюю любовь к этому краю в стихотворении «Кавказ», написанном в 1830 году:

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О, южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

В 1832 году, вспоминая Кавказ, Лермонтов с волнением писал: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство моё; вы носили меня на своих одиночных хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той пор всё мечтаю об вас да о небе...».

После 1825 года Арсеньева больше не ездила на Кавказ. В том не было нужды. На следующий год Шан-Гирей поселились в трёх километрах к югу от Тархан, в небольшой деревне Апалихе. Она была куплена Марией Акимовной Шан-Гирей. Е. А. Арсеньева приняла в этом самое деятельное участие.

Через четыре года, в 1829 году, начальник Кавказской области генерал Г. А. Емануель подал на имя Главноуправляющего на Кавказе генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича ходатайство о скорейшем переводе окружного центра из Георгиевска на Горячие Воды с предложением дать новому городу одно из трёх наименований: Новогеоргиевск, Константиногорск или Пятигорск. Все предложения были одобрены: сначала Иваном Фёдоровичем Паскевичем, затем утверждены указом Сената от 29 апреля 1830 года. Из трёх предложенных названий новому городу Паскевич избрал Пятигорск, мотивируя тем, «что гора Бештов (Бештау), к подошве которой прилегает предназначенное для сего города место, известна под сим именем в древних российских летописях». И ни о каких «пяти горах», якобы вошедших в название города, речи тогда не было.

Через пять лет после поездки Арсеньевой с внуком на Воды не стало Е. А. Хасатовой. Екатерина Алексеевна умерла 24 августа 1830 года «от холерической болезни в городе Георгиевске», как сообщал комендант крепости штабс-капитан Шишкин в рапорте на имя начальника Кавказской области генерала Емануеля.

Поездка юного Лермонтова на Кавказ в 1825 году окажется его последним детским летом, проведённым на юге. В следующий раз он окажется на Кавказе, в Пятигорске, через двенадцать лет, в 1837 году, но не по бабушкиной и не по своей воле.

Валентина ДМИТРИЧЕНКО

М. ЛЕРМОНТОВУ

Ах, господя, пожалуй — много чести
 Нам помнить одержимых жаждой мести
 К юнцу — поручику Тенгинского полка.
 А впрочем, и на это воля Бога...
 Мартыновых и нынче ох как много,
 А он один на многие века!

Стоит жара. Июль. В зените лето.
 Но есть одна народная примета —
 Калина подозрительно красна...
 Так гении живут и умирают.
 Россия вся от края и до края
 Уже тогда была ему тесна.

И ты, Кавказ — красавец седоглавый,
 Купаешься в лучах нетленной славы
 Того, о ком сегодня здесь поют...
 Как он любил сады твои и доли
 И как он пел под арфю Эола,
 Найдя в тебе последний свой приют!

НУ, ЗАЧЕМ ВЫ, ПОРУЧИК?

Ус как надо закручен,
 Солнце — в омуте глаз.
 Ну, зачем вам, поручик,
 Этот чёртов Кавказ?

Профиль юный, точёный,
 Среди мужчин — фаворит.
 Ваш погон золочёный
 Ярче солнца горит.

Или свет вам наскучил?
 Иль не греет звезда?
 Ну, зачем вы, поручик...
 Ну, куда вы, куда?

Низкий домик, крылечко.
 Эшафот — не крыльцо...
 И — погашена свечка,
 И перчатка в лицо.

Вы ль не знали об этом,
 Несравненный поэт,
 Что в России поэтов-
 Долгожителей нет?!

Над судьбой неминучей
 Синих звёзд торжество.
 Как могли вы, поручик,
 Не спросив никого?!

Николай МАРКЕЛОВ

«Я родину люблю, и больше многих...»

«ЕСЛИ БУДЕТ ВОЙНА, КЛЯНУСЬ ВАМ БОГОМ, БУДУ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ»

Друг детских игр, троюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей вспоминал, что юный Мишель «лепил из крашеного воску целые картины». Иногда сюжетами этих картин служили эпизоды победоносных сражений Александра Македонского с персами. По другим воспоминаниям, среди детских игр Лермонтову нравились те, «которые имели военный характер. Так, в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля».

Эти военные пристрастия опирались, несомненно, на родовую память будущего поэта. Его дальний предок, основатель рода Лермонтовых в России шотландец Георг Лермонт служил в качестве ландскнехта у поляков, но в 1613 году при осаде города Белого был взят в плен и счёл за лучшее перейти в ряды московского войска, на «государеву службу». В русском обиходе стал называться Юрьем, получил чин ротмистра и принял смерть на поле боя под Смоленском, пролив свою шотландскую кровь за новую русскую родину.

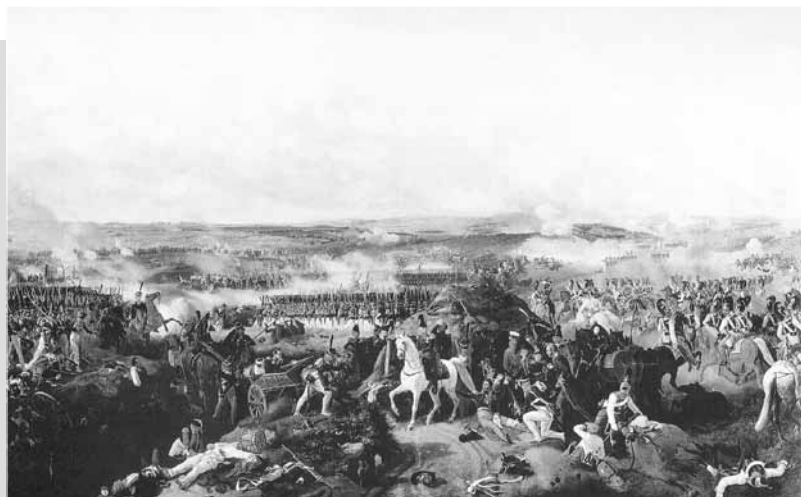
Офицерами русской армии были отец, дед, прадед и прапрадед поэта. Дед по матери Михаил Васильевич Арсеньев, в память о котором Лермонтов получил своё имя, был капитаном гвардии, многие из его братьев — офицерами, а брат Никита имел чин генерал-майора. Один из братьев бабушки Лермонтова, урожденной Столыпной, Александр был адъютантом Суворова и оставил записки о нем. Ее брат Николай дослужился до генерал-лейтенанта, брат Дмитрий — до генерал-майора, брат Афанасий, которого Лермонтов очень любил и называл «дядюшкой», был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость», участвовал в Бородинском сражении. Гувернёрами Мишеля были отставные наполеоновские гвардейцы: сначала Жан Капе, а потом капитан Жандро, последнего мальчик «особенно уважал».

Сам Лермонтов, не окончив курса в Московском университете, восемнадцати лет поступил в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров... В это время юный поэт писал Марии Лопухиной: «До сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес своему небла-

годарному кумиру, и вот теперь я — воин. Быть может, это особая воля providения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведёт меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулею в груди — это лучше медленной агонии старика. А потому, если будет война, клянусь вам Богом, буду всегда впереди».

Испытать себя в настоящем бою поэту предстоит еще не скоро, а пока он с успехом постигает воинское искусство. «Лермонтов был довольно силен, — вспоминал его товарищ Александр Меринский, — в особенности имел большую силу в руках и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который известен был по всей школе как замечательный силач...». В очередной раз, когда друзья на спор гнули шомполы гусарских карабинов, в залу вошёл директор школы генерал Шлиппенбах. За порчу казенного имущества оба силача отправились на сутки под арест.

Лермонтов крепко держался в седле, хотя однажды и поплатился за свою удаль. «Сильный душой, он был силен и физически, — продолжает Меринский, — и часто любил выказывать свою силу. Раз, после езды в манеже, будучи ещё, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, ещё не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему её до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев».



Гесс, Петер фон (1792–1871). Сражение при Бородино 26 августа 1812 года. 1843 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Класс фехтования был обязателен для всех юнкеров, за ними же оставался выбор оружия — эспадрон или рапира. Судьба распорядилась так, что противником поэта в учебных поединках часто становился его будущий убийца. «Я гораздо охотнее дрался на саблях, — признавался Николай Мартынов. — В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полу-театральные представления привлекали много публики из товарищей».

Военные традиции продолжали и другие представители лермонтовского рода. В одно время с поэтом в рядах русских войск несли службу еще несколько офицеров с той же фамилией. Среди его кузенов имелись адмирал и три генерала, а его четвероюродный племянник, впоследствии полный генерал Александр Михайлович Лермонтов в ходе русско-турецкой войны отличился при освобождении болгарского города Бургаса в 1878 году. За годы военной карьеры он был награжден золотым оружием «За храбрость» и четырнадцатью орденами...

В ноябре 1834 года Лермонтов был выпущен из юнкерской школы корнетом в лейб-гвардии гусарский полк и 7 декабря 1834 года в Портретной галерее Зимнего дворца принес присягу «на верность службь»...

Еще недавно, мечтая об офицерских эпохегах, Лермонтов представлял свою будущую «восхитительную» жизнь как череду «чужаеств, шалостей всякого рода и поэзии, залитой шампанским». Что касается шалостей и чужаеств, то есть здесь и доля истины, и доля гусарской бравады. Если говорить о поэзии, то вместо шампанского лучше вспомнить «железный стих, облитый горечью и злостью».

За стихотворение «Смерть поэта» Лермонтову пришлось расплачиваться ссылкой. Самиздатовские списки быстро разошлись по столице, чему содействовал Святослав Раевский — друг поэта, посвященный во все его литературные дела. Автора «непозволительных стихов» государь посчитал помешанным...

В наказание царь велел перевести Лермонтова из гвардии тем же чином в армейский Нижегородский драгунский полк, расквартированный в Грузии. Покидая Петербург, поэт передал с Раевским в журнал «Современник» свое «Бородино» — первое стихотворение, которое он сам решился отдать в печать, и если бы его поэтическая карьера на этом пресеклась, то и того бы достало, чтобы каждый из нас теперь мог без труда процитировать строки о сожженной пожаром Москве и отступивших басурманах. Описав главную национальную битву, подробности которой были известны ему лишь по рассказам, Лермонтов отправился к полям новых сражений, где теперь ему самому предстояло пролить кровь, свою или чужую. «Вот затрещали барабаны...» — это были барабаны судьбы.

«Я СДЕЛАЛСЯ УЖАСНЫМ БРОДЯГОЙ»

Ставрополь — русский форпост на Кавказе. Город этот, в отличие, например, от Пятигорска, остался Лермонтовым не описан, но, несомненно, в судьбе поэта сыграл весьма значительную роль. Ставрополь Лермонтов упомянул на первых же страницах романа «Герой нашего времени». Вспомним, как на Военно-Грузинской дороге при подъеме на Койшаурскую гору состоялось знакомство рассказчика с Максимом Максимычем:

«Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попугачики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами».

Какое именно казенное имущество сопровождал добрый штабс-капитан, не уточняется. Сказано только, что его тележка «была доверху наскладена». Между Тиф-

лисом, где размещалось командование Отдельного Кавказского корпуса во главе с генерал-адъютантом Г. В. Розеном, и Ставрополем, административным центром Кавказской области с находившейся в нем штаб-квартирой войск Кавказской линии и Черномории, велось оживленное сообщение, и мотивировка поездки, вложенная автором в уста Максима Максимыча, вполне соответствует реальной действительности...

Лермонтов прибыл в Ставрополь в первых числах мая 1837 года. Командующим войсками Кавказской линии был старый ермоловец генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов, предпринявший в это время военную экспедицию за Кубань. Начальником штаба — генерал-майор Павел Иванович Петров, «лобзесный дядюшка», то есть муж двоюродной тетки Лермонтова — Анны Акимовны Хастатовой, незадолго до того скончавшейся. Сын Петрова Аркадий впоследствии вспоминал о поэте: «В 1837 году, во время служения своего в Нижегородском драгунском полку, он находился в Ставрополе, перед приездом туда государя Николая Павловича; ежедневно навещая в это время отца моего, бывшего тогда начальником штаба, он совершенно родственно старался развлекать грусть его по кончине жены, приходившейся Лермонтову двоюродной теткой».

О генерале Петрове поэт упомянул в письме к бабушке уже из Пятигорска от 18 июля 1837 года, разъясняя ей свои обстоятельства: «Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию; итак, прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова и напишите к нему: он обещался мне доставлять их туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно и почта не ходит, а депеши с нарочными отправляют».

Все это имело свои резоны. Участие в закубанской экспедиции Вельяминова, под пулями горцев, открывало путь к выслуге. Присутствие же при встрече государя при вступлении его на кавказскую землю вполне могло способствовать прощению. Что касается распоряжения Розена, то тут пришлось похлопотать и П. И. Петрову, и генерал-майору В. Д. Вольховскому, лицейскому другу Пушкина, а в то время начальнику штаба Кавказского корпуса. Бывалый кавказец рассудил по-своему и решил отправить молодого офицера за Кубань — понюхать пороху. «...Два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему бесполезны, — полагал Вольховский, — это предействительное прохладительное средство, а сверх того лучший способ загладить проступок. Государь так милостив...». Последовало, разумеется, и официальное распоряжение: в Ставрополе штабом войск Кавказской линии был получен рапорт Вольховского «об отправлении в действующий за Кубань отряд Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова».

В дело вмешался случай: в дороге Лермонтов простудился, попал в Ставрополе в военный госпиталь, а лето провел не за Кубанью в жарких стычках, а на Горячих Водах в Пятигорске. «...Я приехал на воды весь в ревматизмах, — писал он Святославу Раевскому, — меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили...».

Окончив курс лечения на водах, поэт с наступлением осени отправился на побережье Черного моря, в свой эскадрон. Но боевые действия были уже остановлены, и войска готовились к встрече императора Николая. «...Я приехал в отряд слишком поздно, — с огорчением сообщал Лермонтов другу, — ибо государь нынче не

велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела... Я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни»...

Той осенью Лермонтов исколесил сто дорог — «изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани», был в Тифлисе, в Кахетии и Азербайджане, а возвратный путь на север проделал по Военно-Грузинской дороге. Несколько раз он подвергался опасности пленения. «...Два раза в моих путешествиях, — писал он Святославу Раевскому, — отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), и чуть не попались шайке лезгин». Позднее в его странствиях был еще случай, когда поэт едва ушел от наступающей его погони. По рассказу журналиста и издателя А. А. Краевского, Лермонтов подарил ему свой кинжал, которым однажды отбивался «от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Благодаря превосходству своего коня поэт ускакал от них. Только один его нагонял, но до кровопролития не дошло. Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствие скакать с врагами наперегонку, увертываться от них, избегать перерезывающих ему путь». Рассказ этот подтверждают и воспоминания кавказского офицера П. И. Магденко, попутчика в одной из поездок поэта. По его словам, Лермонтов «указывал нам озеро, крутом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне».

Подводя итог затянувшейся кавказской одиссее, поэт заметил: «Здесь, кроме войны, службы нету», и справедливость этих слов ему впоследствии довелось в полной мере испытать на собственном опыте...

«ШТЫКИ ГОРЯТ ПОД СОЛНЦЕМ ЮГА»

Снова Ставрополь. Приехав в город летом 1840 года, Лермонтов уже не стал здесь «любезного дядюшку» П. И. Петрова, на должности командующего войсками Линии находился генерал Граббе. Хорошо зная Кавказ, изъездив его от Кизляра до Тамани и от Ставрополя до Тифлиса, поэт тем не менее не участвовал еще ни в одной экспедиции против горцев. Теперь такая возможность стала реальной: Лермонтов был причислен к экспедиционному отряду генерала Аполлона Васильевича Галафеева. Командиру Тенгинского пехотного полка из штаба Линии сообщалось, что «переведенный высочайшим приказом в 13-й день апреля месяца сего года из лейб-гвардии гусарского полка в командуемый вами полк поручик Лермантов прибыл в г. Ставрополь 10 июня, а отсель 18-го числа того же месяца командирован на левый фланг Кавказской линии, для участия в экспедиции в отряде под начальством генерал-лейтенанта Галафеева; по окончании же экспедиции он будет отправлен к командуемому вами полку».

После ахульгинского погрома, когда Шамиль чудом избежал пленения или смерти, жаркое пламя газавата с новой силой стало разгораться в Чечне. «Ловкие действия Шамиля, — читаем в кавказских хрониках, — являвшегося с чрезвычайной быстротой всюду, откуда уходили войска наши, и с успехом увлекавшего за собою толпы плохо замиренных горцев», вынудили наше командование предпринять новые наступательные шаги. На правом фланге Линии действовал Лабинский отряд под командой генерала Засса, на левом был сформирован Чеченский отряд генерала Галафеева, базировавшийся в крепости Грозной.

М. Х. Шульц рассказывал, что застал Лермонтова в приемной генерала Граббе, при котором поэт временно исполнял должность ординарца. Разговор зашел

о предстоящей экспедиции. Лермонтова интересовали подробности походной жизни, и он расспрашивал о том, какие заказать выюки и что брать с собой и чего не брать. Накануне отправления он написал письмо Алексею Лопухину: «Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию... Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля...».

В составе Чеченского отряда поэт выступил в свою первую экспедицию.

Покинув лагерь близ Грозной в первых числах июля 1840 года, Галафеев пересек Сунжу, прошел Ханкальское ущелье и с боями продвинулся к Гойгинскому лесу. Затем последовал переход к Урус-Мартану и селению Гехи, где вскоре и произошли главные боевые события предпринятой операции. На своем пути войска уничтожили ряд чеченских селений. «А чтобы произвести большое моральное влияние на край, — доносил в рапорте Галафеев, — то они направлены были через гехинский лес...» Похожей фразой, кстати, начинается описание военных действий и Лермонтов в своем «Валерике»:

Мы проходили темный лес...

Раз — это было под Гихами...

Четырнадцать лет назад этими же местами проследовал и Ермолов. «Через Гехинский лес нашел я проход весьма трудный, — вспоминает он в «Записках», — боль-



Иванов С.В. (1864–1910).

Иллюстрация к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Сон». 1890.

Бумага, акварель, белила. 27,5 × 40,4.

шие и старые деревья, между конми множество валежнику, дорога тесная и излучистая, представляли неприятелю удобства обороны, и я, конечно, потерпел бы урон...».

Каждый шаг вперед здесь давался потом и кровью. Движение осуществлялось порядком, который на армейском жаргоне называли «ящиком»: артиллерия и обоз в центре, пехота несколькими цепями шла по обеим сторонам, предупреждая нападение противника с флангов; смешанные, более подвижные отряды кавалерии и пехоты составляли авангард и арьергард.

«Моральное влияние» возымело незамедлительный результат: в темном гехинском лесу Галафеева ждала засада. В течение трех дней чеченцы, собрав значительные силы, готовились встретить врага. В местах, удобных для обстрела, устраивались завалы из срубленных деревьев. 11 июля у переправы через реку Валерик вспыхнул кровопролитный бой, развивавшийся по обычной в таких случаях схеме: осыпав русскую колонну градом пуль, горцы укрылись за стволами деревьев. В ответ следовал оружейный залп, и начинался штурм завалов, чреватый большими потерями для атакующих. Кончилось все жестокой рукопашной схваткой, практически резней, о чем, собственно, и сообщает Лермонтов своим читателям:

...Верхом помчались на завалы
 Кто не успел спрыгнуть с коня...
 «Ура!» — и смолкло. «Вон кинжалы,
 В приклады!» — и пошла резня.
 И два часа в струях потока
 Бой длился. Резались жестоко,
 Как звери, молча, с грудью грудь,
 Ручей телами запрудили.
 Хотел воды я зачерпнуть...
 (И зной и битва утомили
 Меня), но мутная волна
 Была тепла, была красна.

Произведением, в котором наиболее полно и ярко отразились боевые впечатления поэта, навсегда осталось его большое стихотворение «Валерик». Это, как сообщает Лермонтовская энциклопедия, «развернутое описание походной жизни и военных действий на Кавказе, кровопролитного боя на р. Валерик между отрядом генерала Галафеева и чеченцами 11 июля 1840 года, в котором участвовал Лермонтов. Обе стороны понесли большие потери, но существенного военного успеха достигнуто не было...».

В доверительном письме другу поэт вопреки запрету военных властей («описывать экспедиции не велят») приводил некоторые подробности дела, страшные картины которого спустя долгое время все еще стояли перед его глазами: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте — кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью...».

Работая над стихотворением «Валерик», Лермонтов выбросил оттуда многие строки, рисующие жуткие подробности сражения. Вовсе не потому, что щадил будущего читателя, а в поисках точного образа, чтобы в привычной уже обыденности войны передать весь ужас происходящего. Пытаясь утолить жажду, герой «Валерика» хочет зачерпнуть воды из горной реки, но «мутная волна была тепла, была красна...».

Военный историк В. А. Потто приводит рассказ офицера-артиллериста Константина Христофоровича Мамацева, попавшего в ходе боя в опасную ситуацию: «Мамацев с четырьмя орудиями оставлен был в арьергарде и в течение нескольких часов один отбивал картечным огнем бешеные натиски чеченцев. Это было торжес-

тво хладнокровия и ледяного мужества над дикою, не знающей препон, но безрасудною отвагою горцев. Под охраной этих орудий войска вышли наконец из леса на небольшую поляну, и здесь-то на берегах Валерика грянул бой, составляющий своего рода кровавую эпопею нашей кавказской войны... Выйдя из леса и увидев огромный завал, Мамацев со своими орудиями быстро обогнул его с фланга и принялся засыпать гранатами. Возле него не было никакого прикрытия. Оглядевшись, он увидел, однако, Лермонтова, который, заметив описанное положение артиллерии, подоспел к нему со своими охотниками. Но едва начался штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперед, исчез за завалами».

Судя по всему, Мамацев обрисовал события довольно точно, ибо и в официальных военных сводках о Лермонтове сказано, что «офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские заваль».

В валерикском сражении погиб Владимир Лихарев — декабрист, переведенный из Сибири рядовым в Куринский полк. «В последнем деле, где он был убит, — свидетельствует декабрист Н. И. Лорер, — он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу, и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле, и часто, в жару спора, неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навывлет, и он упал навзничь. Ожесточенная толпа горцев изрубила труп так скоро, что солдаты не успели на вырчку останков товарища-солдата...».

Ранение в бою получил и Сергей Трубецкой, будущий секундонт на дуэли Лермонтова с Мартыновым. В целом же действия Галафеева в Чечне признавались неудачными. Так, генерал Филипсон впоследствии писал, что «эти походы доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли».

30 декабря 1840 года командир Отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии Е. А. Головин направил рапорт военному министру А. И. Чернышеву, ходатайствуя о награждении отличившихся в валерикском сражении 11 июля. К рапорту был приложен список представленных к наградам офицеров, подписанный генерал-лейтенантом А. В. Галафеевым. Здесь же следовало и описание боевых отличий каждого, а напротив имени Лермонтова стояли слова: «Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские заваль».

В испрашиваемой награде — ордене Святого Станислава 3 степени (орден святого Станислава учрежден в Польше в 1765 году; позднее был включен в состав российских наград и имел три степени. — *Н. М.*) было отказано в силу означенной на этом же списке резолюции самого государя: «Высочайше повелено: поручиков, подпоручиков и прапорщиков за сражения удостаивать к Монаршему благоволению, а к другим наградам представлять за особенно отличные подвиги». «Из Валерикского

представления меня здесь вычеркнули, — признавался поэт в письме из Петербурга кавказскому сослуживцу, — так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».

Увидеть свой «Валерик» напечатанным Лермонтов не успел. В заключительных строках этого стихотворения он высказал заветное и, по-видимому, глубоко выстраданное желание, поэтическая формула которого состоит из двух взаимодополняющих и в то же время взаимоисключающих частей:

И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденье...

Первое, как мы знаем, исполнилось, к несчастью, слишком скоро. Исполнилось ли второе — этого мы не узнаем уже никогда.

«Я ВОШЕЛ ВО ВКУС ВОЙНЫ»

Вернувшись в крепость Грозную, отряд Галафеева вскоре совершил поход в Северный Дагестан. «С тех пор как я на Кавказе, — замечает Лермонтов, — я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом».

В конце сентября Галафеев выступил из Грозной к реке Аргун. Во время похода получил ранение Руфин Дорохов. «Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, — вспоминает современник, — носил имя, известное в русской военной истории, и, подобно Лермонтову, страстно любил кавказский край...». Будучи намного старше Лермонтова, Дорохов имел скромный чин унтер-офицера, так как за участие в дуэлях и буйное поведение не раз лишился офицерских погон. Поначалу их отношения едва не довели до поединка, но жизнь под чеченскими пулями быстро сблизила их. Старый кавказский рубака, Дорохов имел под началом «команду охотников», то есть добровольцев, готовых выполнить любое опасное задание. Выбыв ранению из строя, он передал командование этим небольшим отрядом Лермонтову.

В письме к Алексею Лопухину Лермонтов назвал свою команду охотников чем-то вроде партизанского отряда. Судя по всему, он питал некоторые надежды на награду, в чем и признался другу: «...Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков, — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут...». Желанная награда открывала путь к монаршему прощению и отставке, о чем Лермонтов уже подумывал, мечтая целиком посвятить себя литературе. Но, видимо, оказанных отличий было мало...

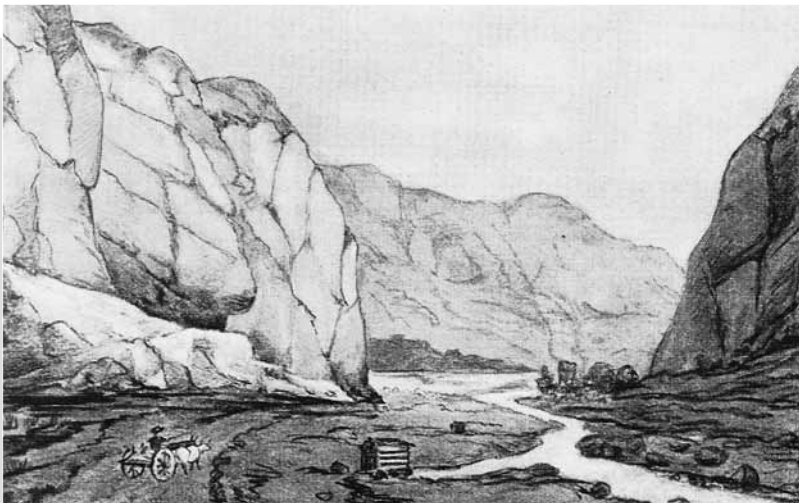
Его «летучая сотня» отличилась в боях за шалинским лесом и при переправе через Аргун. Конец осени прошел в новых походах по Чечне. Человек, чья легендарная храбрость не только не требовала сравнений, а сама служила известным мерилом, Руфин Дорохов высоко оценил воинскую отвагу поэта: «Славный малый — честная прямая душа — не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит... Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр — не сносить ему головы».

Первый биограф Лермонтова профессор П. А. Висковатый, собравший по рассказам очевидцев немало ценных сведений, приводит подробности боевой био-

графии поэта, характеризующие его как командира и офицера: «Раненный во время экспедиции Дорохов поручил отряд свой Лермонтову, который вполне оценил его и умел привязать к себе людей, совершенно входя в их образ жизни. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода».

Воспоминания враждебно настроенного к Лермонтову Л. В. Россильона звучат совсем в ином тоне, но и здесь мы найдем интересные детали: «Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда. Длилось это недолго, впрочем, потому что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда-то и ничего не доводил до конца».

В терминах тех времен действия лермонтовской сотни иначе, чем «партизанской войной», назвать было трудно. По существу же это была особая штурмовая группа, прообраз современного спецназа, с широким диапазоном боевых задач. Условия горной войны диктовали при этом и выбор оружия, и способы ведения боя. Внешняя бесшабашность («сброд», «головорезы») на деле оборачивалась прекрасной подготовкой к бесконечным рукопашным схваткам. Успешно перенятые у противника боевые качества — подвижность, быстрота и неотразимый натиск — обеспечивали действиям «летучей сотни» максимальный эффект. В документах о представлении Лермонтова к награде говорилось, что «ему была поручена конная команда из казаков-охотников, которая, находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля и, выдерживая его натиски, весьма часто обращала в бегство сильные партии».



М. Ю. Лермонтов. Дарьяльское ущелье. 1837.
Бумага, итальянский карандаш. 15 × 22,5.

Выбор командира оказался психологически оправданным. «Я вошел во вкус войны, — признавался поэт, — и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными».

Как тут не обратиться еще раз к рассказу Константина Мамаева, рисующего драматический эпизод осеннего боя в Чечне: «Последний арьергардный батальон,

при котором находились орудия... слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из земли вырос с своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев...».

За успешные действия в осенней экспедиции 1840 года в Чечне Галафеев просил о переводе Лермонтова «в гвардию тем же чином с отданием старшинства» и в служебном рапорте весьма похвально отзывался о своем офицере: «В делах 29-го сентября и 3-го октября обратил на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему была команда охотников 10-го октября; когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов, везде первым подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы. 12-го октября на фуражировке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственною рукой хищников. 15 октября он с командою первый прошел шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично против хищников и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, оставив в руках наших два тела».

За экспедицию в Малой Чечне в октябре-ноябре 1840 года, когда одно из сражений вновь разгорелось на берегах Валерика, полковник князь Д. Ф. Голицын представил Лермонтова к награде золотой саблей с надписью «За храбрость», подробно описав в рапорте его боевые заслуги: «Во всю экспедицию в Малой Чечне с 27-го октября по 6-е ноября поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии, и командовал отлично во всех отношениях, всегда первый на коне и последний на отдыхе, этот храбрый и расторопный офицер неоднократно заслуживал одобрение высшего начальства; 27-го октября он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащу леса и отличаясь в рукопашном бою с защищавшими уже более себя, нежели свою собственность, чеченцами; 28-го октября, при переходе через Гойтинский лес, он открыл первый завалы, которыми укрепился неприятель, и, перейдя тинистую речку, вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать своих убитых; по миновании дефиле поручик Лермонтов с командою был отряжен к отряду г. генерал-лейтенанта Галафеева, с которым следовал и 29-го числа, действуя всюду с отличною храбростью и знанием военного дела; 30-го октября при речке Валерике поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особенного внимания...».

Награждение золотым оружием считалось необыкновенно почетным, и обладатели этой вожденной боевой регалии очень ею дорожили. Однако и здесь судьба отвернулась от поэта, и представление полковника Голицына успеха не имело. Впоследствии имя Лермонтова еще раз было внесено в наградной список «за участие в экспедиции в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 г.». Генерал Граббе испрашивал для него орден святого Владимира 4 степени с бантом (орден Святого Владимира учрежден в 1782 году; награждение начиналось с четвертой, нижней степени ордена; бант из орденской ленты, красной с черной каймой, означал награду за военные подвиги. — *Н. М.*), а командир Отдельного Кавказского корпуса Головин — орден святого Станислава 3 степени. По прошествии нескольких месяцев, 30 июня 1841 года, дежурный генерал Главного штаба граф П. А. Клейнмихель уведомил Головина что «император... не изволил... изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду».

Государь мог в награде и не отказать. Казенные бумаги столь же неспешным порядком ушли бы назад, в Тифлис. И там, в штабе корпуса, их получили бы только осенью. Так что утешить поэта такая награда все равно не могла, к этому времени он был уже мертв и покоился в пятигорской земле.

«Как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к горам...»

Лермонтов всегда питал к «проконсулу Кавказа» почтительное уважение. В то время, когда он писал «Героя», Ермолов давно пребывал в опале, и появление его имени на первых же страницах романа могло выглядеть вызывающе. Тем не менее оно прозвучало здесь несколько раз. Дважды — в устах Максима Максимыча, благоговейно упомянувшего Алексея Петровича, при котором он «получил два чина за дела против горцев». Бравый штабс-капитан, как старый кавказец, не имел нужды пояснять попутчику, о каком именно Алексее Петровиче идет речь, и автор, дабы не оставлять в неведении своих читателей, вынес фамилию полководца в отдельное примечание.

Подобная форма именованья своего командира по имени-отчеству служила у русских солдат выражением их безоговорочной преданности, даже обожания по отношению к нему. Интересное наблюдение по этому поводу содержится в записках испанского дворянина Хуана Ван-Галена, несколько месяцев прослужившего офицером Отдельного Кавказского корпуса: «Едва солдаты заметили его на ближайшей возвышенности, как тотчас имя Алексея Петровича с неподдельным восхищением стало передаваться из шеренги в шеренгу, и вскоре колонны были оповещены о приближении этого великого человека. У нас в Европе нет такого обыкновения и нет слов, которые способны были бы передать оценку воинских достоинств главнокомандующего, какая выражается русскими солдатами, когда они называют его крестильными именами без упоминания фамилии».

Два чина, полученных при Ермолове, — это тоже выражение для посвященных, совершенно особый знак отличия, ибо кавказский главнокомандующий был предельно скуп на похвалы и награды. Второе, три страницы спустя, упоминание его имени нашим штабс-капитаном связано уже с другой чертой Ермолова — его чрезвычайной строгостью к нарушениям по службе. Отказ от любезно предложенного ему рома непьющий Максим Максимыч объясняет своему спутнику следующим образом: «Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы поддуляли между собою, а

ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! Чуть-чуть не отдал под суд...».

О прославленном полководце Лермонтов ностальгически вспомнил и в самом большом своем батальном стихотворении «Валерик»:

Вот разговор о старине
 В палатке ближней слышен мне;
 Как при Ермолове ходили
 В Чечню, в Аварию, к горам;
 Как там дрались, как мы их били,
 Как доставалось и нам...

Получив в начале 1841 года отпуск, поэт по дороге с Кавказа завез Ермолову частное письмо от его бывшего адъютанта П. Х. Граббе (в то время командовавшего войсками Кавказской линии). Вскоре по личным впечатлениям Лермонтов создает образ генерала — покорителя Кавказа в стихотворении «Спор».

«Спор» — стихотворение странное. Лермонтов видит происходящее с какой-то очень высокой точки, не сопоставимой даже с физической высотой спорящих Казбека и «Елбруса», буквально космической, охватывая взглядом чуть не полмира от Урала до Нила. Странность же его в том, что после пронзительных, щемящих, облитых кровью строк «Валерика» здесь тон у Лермонтова совсем другой: он если и не приветствует неотвратимого, «страшно медленного», завораживающего движения неисчислимых русских полков на Кавказ, то, во всяком случае, не имеет сомнения ни относительно моральной оправданности этого нашествия, ни относительно его по-



Портрет А. П. Ермолова.
 Литография по рисунку Митрейтера.
 1846. 29,5 × 26.

бедоносного исхода. Ермолов здесь узнаваем, хотя и не назван по имени, но Ермолов или кто-то другой — разве у русских мало боевых генералов?

В очерке «Кавказец» Лермонтов также нашел повод упомянуть имя Ермолова. Речь здесь идет о кавказской бурке, «прославленной Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова». Замечание как будто не слишком весомое, но, как говорится, важен сам факт, а во-вторых, даже это беглое, как бы вскользь, упоминание носит принципиальный характер: бурка — несомненный предметный символ Кавказа, и на самом известном своем портрете Ермолов предстал перед современниками именно в бурке.

С именем Ермолова был связан и неосуществленный замысел Лермонтова — написать крупное произведение в прозе, составленное из двух или трех романов. В рецензии на второе издание «Героя нашего времени» (и, можно сказать, рецензии посмертной, так как Белинский выписал для нее из «Одесского вестника» первое печатное сообщение о гибели Лермонтова в Пятигорске) критик передал со слов самого поэта намерение последнего написать три романа из русской жизни: «Лермонтов немного написал — бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями»...

Купер писал о наступлении европейской цивилизации на североамериканский континент, захвате новых земель и борьбе белых с коренным населением — индейцами. То, что Белинский сравнивал замысел Лермонтова (если только сравнение не принадлежит самому поэту) именно с этой серией куперовских романов, позволяет нам сделать осторожное, но важное предположение. Для Лермонтова подобной ареной столкновения европейского прогресса с первобытной вольностью диких племен мог служить только Кавказ. В таком случае олицетворением грозной, всеподавляющей силы русских в этом крае оказался бы именно Ермолов. И все это в значительной мере подтверждается словами М. П. Глебова, приятеля Лермонтова и секунданта на его последней дуэли. Приводим его рассказ в передаче П. К. Мартьянова:

«Всю дорогу от Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слышал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнение от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. “Я выработал уже план, — говорил он Глебову, — двух романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приниматься за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся...”».

В каком бы направлении ни развивался лермонтовский замысел, Ермолов в любом случае мог оказаться сквозным и если не главным, то одним из самых значительных персонажей трилогии. Если говорить о Кавказе, то важнейшим событием здесь в век Екатерины был поход графа Зубова, в котором принимал участие и Ермолов. В царствование Александра Россия выдержала долгую и трудную борьбу с Наполеоном, Москва была сожжена, но русские войска дошли до Парижа. Тогда

предполагалось, что Ермолов примет в командование наш оккупационный корпус, оставленный во Франции. Однако этого не случилось, и он, герой Бородина, оказался уже полновластным «проконсулом Кавказа». При Николае картина совершенно переменялась, и Ермолов был отсюда удален, но память о нем и его авторитет в кавказских войсках оставались непоколебимы. Вспомним, как приосанился лермонтовский Максим Максимыч, упомянув о своей службе «при Алексее Петровиче». Одна из самых внушительных фигур в нашей истории XIX века, Ермолов был бы достоин лучших страниц и нашей великой литературы, но судьба и тут отвернулась от него: выстрел дуэльного пистолета поставил безжалостную точку в так и не написанном романе.

С чувством горького сожаления Ермолов отозвался на известие о гибели Лермонтова: «Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!». И еще выразился в том смысле, что будь это в его времена, то он нашел бы случай спроводить Мартынова на верную смерть.

Скажем еще об одной загадке, существующей в лермонтоведении. Речь идет о стихотворении «Великий муж», созданном, как полагают исследователи, около 1837 года и, вполне вероятно, являющемся, как и знаменитое «Бородино», поэтическим откликом Лермонтова на 25-ю годовщину нашей главной национальной битвы.

Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе същут взгляды
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услышав твое названье,
Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с неспритворною слезой
Промолвит: «Он любил отчизну!»

Загадка же заключается в том, что имени «великого мужа» до сих пор никто доподлинно не знает. Автограф стихотворения сохранился не полностью: верхняя часть листа, на которой была написана начальная строфа и где, быть может, было названо имя героя, оказалась оторванной. Кем и когда это сделано, случайно или же из каких-то опасений, неведомо, и теперь остается только гадать, кого и что мог иметь в виду поэт.

Первым, по-видимому, свое мнение о «великом муже» высказал И. М. Болдаков, библиотекарь Императорской публичной библиотеки. В примечаниях ко второму тому «Сочинений» Лермонтова, вышедших в 1891 году, он назвал имя поэта Андре Шенье, казненного якобинцами. Лермонтов, разумеется, был знаком с судьбой и творчеством французского собрата, потерявшего голову под ножом гильотины. Более того, испытывал заметное влияние и даже написал в юности стихотворение

«Из Андрея Шенье». Но это не перевод, как можно подумать, и даже о нем нельзя сказать, что написано «по мотивам». Здесь Лермонтов выразил абсолютно свое, а имя Шенье в заглавии поставил, что называется, для пущей важности. Обращаясь к возлюбленной, он говорит о вражде с обществом и предсказывает себе, страдальцу молодому, ужасный жребий: изгнание, клевету и безвременный конец. Всё это далеко от энергичного ритма и вдохновенных интонаций «Великого мужа». Догадку Болдакова никто не поддержал, о ней просто-напросто забыли, а в дальнейшем кандидата в «великие мужья» искали уже более патриотично, среди своих.

В советское время предположение о личности лермонтовского героя высказал глубокий и тонкий знаток русской поэзии Борис Михайлович Эйхенбаум, считавший, что «по тексту стихотворения видно, что речь идет о человеке, который совершил какой-то нравственный подвиг, но не получил никакой награды, а, наоборот, был обвинен современниками в нелюбви к отечеству или в измене ему. При этом стихотворение явно обращено к живому, а не к умершему». Позднее автор статьи о «Великом муже» в «Лермонтовской энциклопедии» ничего к этой замечательной формуле добавить не смог и просто переписал ее своими словами, отметив, что «социальный пафос стихотворения совершенно ясен: это возмущение по поводу того, что выдающийся гражданский подвиг не встретил понимания у тех, в чьих интересах он был совершен».

Исходя из своих соображений, Эйхенбаум предложил на роль «великого мужа» П. Я. Чаадаева. Но ни этот официально объявленный в России сумасшедшим автор «философического письма», ни позже выдвинутый в герои стихотворения другими учеными М. Б. Барклай-де-Толли (какую отчизну, спрашивается, мог любить этот остзейский шотландец?) никого не устроили. Догадки множились, и число претендентов постепенно росло. Называли еще имена А. Н. Радищева, П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, П. А. Катенина, Н. Н. Раевского, М. М. Сперанского и — А. П. Ермолова. При всем том, что каждый из этих претендентов на пьедестал совершил свой собственный подвиг и навсегда вписал свое имя в нашу историю, такое их количество говорит в данном случае только об одном: содержание стихотворения не позволяет указать со степенью неоспоримой правоты на кого-то одного из них как на подлинного, то есть именно на лермонтовского «великого мужа». Выдвижение каждого из них имеет и свои разумные основания, и свои уязвимые места.

Если же пока отвлечься от лермонтовских строк и обратиться к историческому контексту стихотворения, то из плотной череды претендентов на первый план сразу же выдвинется исполнская фигура Ермолова. И вот почему.

Во-первых, он вполне соответствует всем изложенным выше меркам: на момент написания стихотворения он был жив; по своим чинам и заслугам давно получил все права на ранг «великого мужа», отмеченного к тому же безусловной и безупречной воинской доблестью; свой «славный подвиг» он совершил на Бородинском поле; если угодно, то нравственным, а равно гражданским подвигом Ермолова можно считать его бескорыстное и самоотверженное служение Отчизне; что касается до обвинений или непонимания современников, то тут следует вспомнить, как незаслуженно и оскорбительно полководец был изгнан со своего кавказского поприща и в дальнейшем обречен на десятилетия бездействия и опалы.

Во-вторых, поэтическое обращение к личности великого человека у Лермонтова не могло, как нам кажется, быть однократным. Безусловный лидер таких обращений Джордж Байрон упомянут у Лермонтова 20 раз. Следующий за ним На-

полеон — 16. Ермолов в этом смысле представлен заметно скромнее, он упомянут в произведениях Лермонтова семь раз (трижды — «Ермолов», дважды — «Алексей Петрович» и еще дважды — «генерал», в поэме «Мцыри» и стихотворении «Валерик»). Зато все остальные из перечисленных претендентов не упомянуты вообще ни единого раза. Никто и не единого раза!

«Блистательную тризну» по своему герою свершил сам Лермонтов, прославив его имя в своем бессмертном романе, в очерке «Кавказец» и в самом большом



В. Напер.
Черкесы у тела
убитого Измаила.
Иллюстрация
к поэме
М. Ю. Лермонтова
«Измаил-бей».
Гравюра
на дереве
с рисунка
художника
Н. Медведева.
1875.
23,6 × 15,4.

своим батальном стихотворении «Валерик». Впечатляющий образ генерала нарисован в стихотворении «Спор». Не забудем и замысел трилогии Лермонтова из русской истории, осуществившись который — и Ермолов тогда, безусловно, далеко отодвинул бы с первых мест и французского императора, и английского поэта. О ком же еще, о каком вообще еще историческом лице Лермонтов отзывался с таким же преклонением, как о Ермолове? И кто тогда для него «великий муж», если не Ермолов?

Вернувшись же, в-третьих, к лермонтовским строкам, прочтем их вновь, а именно две последние строфы, содержащие, в сущности, предсказание посмертной судьбы «великого мужа». Для поэта нет сомнений, что его герой навсегда

останется в памяти «поздних потомков». По отношению к кому, как не к Ермолову, эти слова так провидчески оправдались? Имя Ермолова наряду с именами очень немногих наших великих полководцев — Суворова, Кутузова, Жукова — и по сей день произносится с благодарностью и благоговейным трепетом. И словно в ответ на последнюю строку лермонтовского шедевра — «он любил отчизну», никто другой не изрек таких простых и гордых слов, как Ермолов: «Никогда неразлучно со мною чувство, что я Россиянин».

«Я ИЩУ СВОБОДЫ И ПОКОЯ!..»

Был вторник. Быстро стужались летние сумерки. Со стороны Бештау, погромыхивая, наполнила черная туча. Первые тяжелые капли зашелестели по машукской траве. Лермонтов стоял у барьера, дразня насмешливым взглядом. Роковой миг русской поэзии: выстрел Мартынова оборвал, по выражению Достоевского, «целую бездну гениальных творений».

Пуля дуэльного «кухенройтера» убийственного калибра вошла в правый бок и, разорвав внутренности поэту, вышла из груди, повредив левое плечо. Он умирал лежа на холодной земле под проливным дождем. Кто-то из секундантов из жалости укрыл его шинелью. Следственный протокол скупко доносит, что «на месте, где Лермонтов упал и лежал мертвый, приметна кровь, из него истекшая...».

Поздно вечером убитого доставили в домик на окраинной Нагорной улице. Мартынов отправился к коменданту, под арест. Раздевая покойника, слуги разрезали окровавленный мундир и сожгли его во дворе дома. Потом появилась полиция, чтобы описать оставшиеся вещи и бумаги...

Никто и никогда, ни в прошлом, ни в настоящем, ни, вероятно, в будущем, не сделал и не сделает для славы Пятигорска больше, чем Лермонтов. Пушкин задумал здесь «Кавказского пленника», а Лев Толстой писал свои первые кавказские рассказы. И все же лучшая глава в литературной истории Пятигорья по праву принадлежит автору знаменитого «Героя...». Эта земля дарила его вдохновением, и он щедро воспел ее. Она обогрета его кровью, в ней покоился его прах — и тем она освящена навеки для всех русских.

В Пятигорске и свадьба не свадьба, если Лермонтову не возложат цветы. По традиции делают это на склоне Машука, там, где на дуэли была пролита его кровь. Бывают дни, когда подножие обелиска буквально устлано цветами, принесенными в дар совсем еще молодому человеку, почти юноше, никогда не связанному ни с кем узами брака. Гордый, одинокий, болезненно ранимый, грустный, даже скорбный — едва ли этот образ поэта приличествует свадебному торжеству. Но Лермонтов — любимец нашего народа, и цветы у его монумента — лишь свидетельство той безмерной, высшей, неизбывной любви, которой он всегда нас окружен.

С детских лет и до последних минут своей жизни Лермонтов был связан с нашим краем. Побывав на Горячих Водах еще ребенком, он навсегда сохранил в памяти и величавый вид окрестных вершин, и «цепи синих гор» на горизонте, и шум целебных ключей, и первое трепетное чувство любви, которое испытал здесь. В автобиографической заметке, сделанной 8 июля 1830 года, юный поэт признается: «Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О, сия минута

первого беспокойства страстей до могилы будет терзать ум!.. Я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны...».

И еще раз юный Лермонтов вспоминает об этой первой вспышке чувств — в стихотворении «Кавказ». Его поэтическая натура ищет выход для лирических переживаний, и он переплавляет их в стихотворные строки:

...Я счастлив был с вами, ущелия гор,
 Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
 Там видел я пару божественных глаз;
 И сердце лепечет, вспомя тот взор:
 Люблю я Кавказ!

Может быть, и в дальнейшем не стечение обстоятельств, а память раненого сердца вновь и вновь приводила поэта в Пятигорск. «У меня здесь славная квартира, — пишет он отсюда Марии Лопухиной в мае 1837 года, — каждое утро из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за письмом к вам, я то и дело останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов...». В бессмертном романе, ведя своего героя путем страстей и сомнений, Лермонтов успевае попутно запечатлеть все сколько-нибудь примечательные уголки знакомого и любимого с детства городка. Три природные стихии — земля, вода и воздух — Пятигорья обрисованы его легким пером: да, «весело жить в такой земле», «где по кремням Подкумок мчится» и где «воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка». Стихия же огня, поразившая здесь по воле автора его героев Измаила и Грушницкого, оказалась роковой и для него самого.

«Чистенький, новенький городок» (так записал в дневнике Печорин) не забил своего поэта. Деньги на памятник собирали по подписке несколько лет. Торжественно открыли в 1889 году — первый в России! Фигуру поэта изваял великий, уже прославившийся памятником Пушкину в Москве Александр Михайлович Опекушин, неожиданно уравнивая тем самым первопрестольную и далекий от нее во всех смыслах Пятигорск. Лермонтов сидит, устремив взор к Кавказским горам, у ног — раскрытая книга. Потом выкупили домик, где поэт прожил два последних месяца, и в 1912 году основали музей — первый литературный музей, возникший в провинциальной России. Бывший владелец домика плац-майор Василий Иванович Чилаев был человеком до крайности тщательным и долгое время вел «имянный список» — своего рода приходную тетрадь, то есть перечень всех своих постояльцев с указанием полученных с них сумм. Есть там и строки о том, что с капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из Санкт-Петербурга получено за постой сто рублей серебром. Документ чрезвычайной важности, подтверждающий, по сути, подлинность дома, который теперь широко известен в стране как последний приют поэта: здесь Лермонтов написал последние стихи, сюда тело его было доставлено с места поединка, отсюда его хоронили.

На склоне Машука, где пролилась кровь поэта, поставили высокий обелиск. Потом пришло понимание, что заповедным должен стать если не весь Пятигорск, то обязательно — лермонтовские места, то есть комплекс природных и исторических памятников, придающих местности неповторимый колорит. Здесь и дом генерала П.С. Верзилина, где Лермонтов был вызван Мартыновым на дуэль, и Ресторация,

где кружились в мазурке Печорин и Мери, «угасший кратер» Провала и грот, где поэт отдыхал «в прохладной тени его свода». В 1973 году по решению Правительства Российской Федерации лермонтовский квартал Пятигорска стал мемориальным, а музей — заповедником. В настоящее время согласно указу Президента России он объявлен памятником федерального значения.

Говорят, Лермонтову не везет и после смерти. Прах потревожили, увезли через пол-России в Тарханы. Тарханы, родовое гнездо, потом переименовали. Даты столетних юбилеев рождения и смерти, 1914 и 1941, совпали с началом мировых войн. И 150-летие не прошло гладко: крутые политические перемены в 1964 и 1991 годах. В 1987 году ушел под воду в проливе Кука океанский лайнер «Михаил Лермонтов», унеся в морскую пучину бюст поэта работы замечательного петербургского мастера Василия Стамова. А несколько лет назад имя Лермонтова присвоено одной из открытых астрономами малых планет. Так волею судьбы присутствие Лермонтова в мироздании обозначено в наши дни от глубин мирового океана до глубин космоса.

Декларация прав человека, о которых так много толкуют в последнее время, впервые на русском языке была записана... в Пятигорске полтора века назад. Сделал это молодой армейский офицер, высланный из Петербурга за нарушения по службе. «Я ищущий свободы и покоя!» — занес он в походную тетрадь строки, вылившиеся из сердца. Свобода и покой — чего еще может желать человек, обладающий этими бесценными дарами?

Странная судьба! Жизнь оборвана пулей в 26. Не дописаны последние стихи. Едва лишь начал складываться замысел грандиозной кавказской трилогии в прозе. Не сбылась и заветная мечта — издание своего литературного журнала. И все же он успел сделать так много, а все написанное им нашло такой живой отзвук в душе нашего народа, что он навсегда остался с нами — в своих героях, в музыке своих стихов, в неповторимой свежести образов, красок и рифм.

Поэт в России больше, чем поэт. Здесь ему уготована роль пророка. «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет...» — поистине вещие слова. И есть, наверное, у Лермонтова строки, пророческий смысл которых нам еще недоступен и откроется только нашим потомкам. «Я ищущий свободы и покоя!» — восклицал поэт. Как хочется пожелать, чтобы те, кому принадлежит и будет принадлежать власть в России, понимали, что ее народ давно достоин свободы и покоя, а все остальное он сумеет добыть себе сам.

Олег ИГНАТЬЕВ

Тревожащий и малоизъяснимый
Незримый луч высвечивает мне
Каморку, полутёмную от дыма,
И профиль человека в полутьме.

Похоже, он грустит. Накинув китель
И голову рукою подперев,
Перебирает в мыслях ряд событий,
Неуправляемых, как царский гнев.

Что ждёт его? Что сам он ожидает?
Ужели и его стихи для всех
Не более, чем шалость молодая,
Сплошной скандал и вечный неуспех?

Не может быть! Не может! Ведь опала —
Вот лучшее признание в стране,
Где гением родиться слишком мало,
Чтоб жить и выжить в ссылке ль, на войне...

В каморке душно этим знойным летом
И сыплется извёстка с потолка...
Кто он такой, не спящий до рассвета?
Поди узнай, когда б не эполеты
Поручика пехотного полка.

В ногах чуть слышно жулькает ручей
И, кажется, воды его отведав,
Поймёшь нужду кизилевых ветвей
И листьев, отлетающих от веток.

Всё то, что обретает грустный вид,
Опало, отцвело, оттрепетало
И так теперь под ветром шелестит,
Что сам вздохнёшь печально и устало.

Уже не жжёт, не мучит жаждой грусть
Бьёлой любви, хоть по моим расчетам,
Я с памятью вовек не примирюсь,
Прощая только женщине... Да что там!

Одна отрада — вглядываться вдаль,
Осливая путь, какой покруче,
Где осознал, что прошлого не жаль
В предгорья эти сосланный поручик.

Ему хватило сил понять без слов,
Что было прежде и что будет кряду
И до возникновения миров,
И после неизбежного распада.

А путь кремнист, извилист, как ручей,
И в стороне, когда проходишь мимо,
Горит шиповник в солнечном луче
Самозабвенно и неколебимо.

Герман БЕЛИКОВ

Лермонтовский Ставрополь (главы из книги)

ТАТАРСКИЙ АУЛЬЧИК

Одним из романтических уголков Ставрополя первой половины XIX века был исток речки Мутной, в дальнейшем именуемой Мутнянкой. Начинаясь он с глубокого каменного обрыва, перед ним на запад простирался выгон, надолго ставший местом кулачных сражений между жителями этих предместий, именуемых Форштадтским и Воробьевским.

Земля у истока речки Мутной принадлежала потомственному почетному гражданину города Ставрополя Никите Михайловичу Плотникову. Здесь он устроил большой пруд, обрамленный вековыми деревьями, и построил небольшой пивоваренный заводик. Сюда в знойное время года приходили горожане, гости города, в том числе военные. К земле Плотникова примыкал небольшой татарский аул, в народе именуемый «аульчиком». Нет сомнения, что здесь не раз был Михаил Юрьевич Лермонтов, издали наблюдая за жизнью живущих в нем людей, не отказываясь отведать и прекрасного плотниковского пива...

Еще одна из причин, которая могла влечь сюда поэта, — это проходившие на выгоне, чуть ли не у кромки обрыва, знаменитые ставропольские кулачные бои. И вполне возможно, бои эти стали толчком к написанию Михаилом Юрьевичем здесь, в Ставрополе, своего знаменитого стихотворения «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника, и удалого купца Калашникова».

Со слов моего прадеда Никифора Беликова, жившего в форштадтском предместье с 20-х годов XIX столетия, поведавшего историю тех боев уже моему деду, Максиму Никифоровичу, а тот, в свою очередь, своему сыну, моему отцу Алексею Максимовичу Беликову, ставшему учителем истории, — бои те первоначально именовались «ставропольскими балами».

В воскресные и праздничные дни на том выгоне, где в начале 40-х годов XIX столетия была построена дожившая до наших времен городская тюрьма, начинали собираться молодые люди из предместий города. На выгоне имелись качели, где катались ребятишки. Под трехрядки начинались танцы, разные игры и забавы. К последним относились петушинные бои, птиц для которых приносили из предместий. Вслед за петушиными сражениями начинались мальчишеские потасовки из групп разных предместий. Затем уже в драки вступали безусые юнцы, а в конце — бородатые мужики. Были и свои правила — бить только кулаками и не ниже пояса. Но нередко драки перерастали в настоящие сражения, когда в руках дерущихся оказывались колья, вырванные из частоколов.

Так дрались мой прадед и дед, уже как гармонист на боях присутствовал отец. «И никогда, — говорил он, — будь гармонист с той или с другой стороны, его не трогали, наоборот, оберегали от случайностей».

Начиная с конца XIX века о кулачных боях в Ставрополе писали газеты: «В Ставрополе, — писала газета «Северный Кавказ», — до сих пор сохранились и продолжают в довольно грандиозных размерах кулачные бои по праздникам. Так, 26 сентября, в день праздника Иоанна Богослова, на Госпитальной улице (сегодня ул. Ленина) толпы людей в 2–3 сотни в присутствии многочисленных зрителей из женщин, мужчин и детей забавлялись этой «невинной» игрой. Ругань, и притом отборная, гик, стоны избитых так и стояли в воздухе».



М. Ю. Лермонтов.
Волбуева мельница
(Ночной пейзаж). 1837.
Бумага, тушь. 33,2 × 22.

Последние кулачные бои в Ставрополе, в отличие от кулачных боев времен Лермонтова, отличались в худшую сторону. Тому подтверждение и полицейское дело за 1895 год, обнаруженное в Ставропольском госархиве, сообщающее: «Причт Успенской кладбищенской церкви покорнейше просит Ставропольское полицейское управление провести соответствующие меры и прекратить кулачные побоища, которые происходят в послеобеденное время, по воскресным и праздничным дням у ворот святого храма. Приставленные к этим боям 3–4 полицейских не в силах разогнать чуть ли не тысячную толпу». Сам Михаил Юрьевич Лермонтов о рождении «Песни...» сообщал Краевскому: «Я писал «Песню...», чтобы развлечься во время бо-

лезни, не позволяющей выходить из комнат». Речь, видимо, идет о 1837 годе, во время его нахождения в ставропольском госпитале.

Здесь надо сказать, что о происхождении замысла «Песни...» лермонтовцами высказывались самые разные мнения. При этом, как писал ставропольский исследователь Андрей Васильевич Попов, «никто из исследователей не обратил внимания на то, что кулачные бои Лермонтов должен был наблюдать и наблюдал в 1837 году на Кавказе, в Ставрополе, где они, как об этом свидетельствуют старожилы, велись издавна...».

Но какие же причины побудили поэта написать «Песнь...»? Тот же А. В. Попов пишет: «До сих пор многочисленные исследователи «Песни про купца Калашникова» строили творческую историю этой жемчужины лермонтовской поэзии в отрыве от той конкретной обстановки, в которой находился Лермонтов в период создания поэмы...». Действительно, в тот первый приезд на Кавказ Михаил Юрьевич Лермонтов встречался со многими сосланными сюда, в том числе декабристами, которых в лермонтовское время даже не разделявшие их взглядов считали жертвами произвола. Да и сам поэт считал себя, и небезосновательно, притесненным царским двором во главе с императором.

Сегодня район Мутнянской долины с бывшей усадьбой купца Плотникова и исчезнувшим татарским «аульчиком», с позже построенным винокурненным заводом Алафузова и епархиальным свечным заводом активно застраивается особнячками горожан, над этим районом и сейчас витает романтическое сказание о пронесшемся времени, свидетелем которого был наш незабвенный поэт и непререкаемый русский гений Михаил Юрьевич Лермонтов.

Большую часть свободного времени Михаил Юрьевич Лермонтов проводил в тот период в роще при Доме командующего, которая в дальнейшем стала именоваться в честь А. А. Вельяминова Вельяминовской рощей. Это был участок старого леса, превращенного в место для отдыха и гуляний горожан. Краевед прошлого Бентковский писал: «А. А. Вельяминов особое внимание обратил на усовершенствование находящегося при его доме (дом командующего. — Г. Б.) сада, который служил тогда единственным местом для общественных гуляний».

В Вельяминовской роще, где было много вековых дубов и прочих деревьев, были устроены аллеи, разбиты многочисленные цветники, беседки, в том числе в два этажа беседка, где вверху в праздники располагался духовой оркестр, а внизу устраивались танцы. Здесь был устроен и декоративный пруд (на месте сегодняшней теннисной площадки на стадионе «Динамо») с изящными скамейками. Как вспоминала со слов матери старожил города Нина Михайловна Курицкая, семья которой проживала на бывшей Властовской (сегодня Коминтерна), на одной из лавочек у того старого пруда долго находилась прибитая медная табличка с надписью: «На этой скамейке любил отдыхать Михаил Юрьевич Лермонтов».

Находясь на излечении в госпитале, Михаил Юрьевич посещал и другие затененные лесные уголки Ставрополя, которых, слава Богу, в те времена было немало. Здесь он делал карандашные зарисовки, частично дошедшие до нас. Так, он писал из Ставрополя своему другу С. Раевскому: «...Снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посетил».

Сегодня обнаружено несколько рисунков поэта. На одном — заросшая лесными великанами долина речки Ташлы с небольшой водяной мельницей. Некогда подобные мельницы, как правило небольшие, сложенные их дубовых бревен или плах, с огромными водяными колесами, придавали неповторимый вид этому зеленому уголку Ставрополя.

На втором рисунке тушью изображен ночной пейзаж с одинокой саманной хаткой под камышовой крышей. За обнесенным плетнем двором в лунном свете поблескивает вода в речке. Под рисунком стоит подпись поэта: «21 мая, после прогулки на мельницу Волобуева».

Михаил Юрьевич делал зарисовки и из жизни города, в том числе портреты. Эти рисунки, известные под названием «Сцены из ставропольской жизни», хранятся в художественной галерее города Пензы.

Известный ставропольский краевед Леонид Николаевич Польский записал услышанную от старожилов города то ли быль, то ли легенду о том, что именно в 1837 году Лермонтов с друзьями совершал конную прогулку в районе Татарского леса, где у родника, носящего имя разбойника Смагина (в дальнейшем это Святой источник), на них напали горцы, и только благодаря хорошим коням Лермонтову с товарищами удалось спастись.

* * *

С пребыванием Михаила Юрьевича на Кавказе в 1837 году связано предположение ряда исследователей, что именно в Ставрополе родилось стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино». По этому поводу известный литературовед из Ставрополя А. Крылов в газете «Ставропольская правда» (№ 220 от 19 сентября 1974 г.) писал: «Исследователи творчества великого русского поэта М. Ю. Лермонтова расходились в мнении при определении места создания «Бородино». Одни доказывали, что эта поэма написана в Петербурге, другие более обоснованно говорили о рождении патриотического гимна русскому народу у нас, на Кавказе, а если говорить точнее, в Ставрополе, приводя в подтверждение этого предположения ряд исторических материалов. Еще автор первой заслуживающей доверия биографии поэта П. А. Висковатый очень справедливо указывал на то, что «Бородино» было написано Лермонтовым на Кавказе.

В Ставрополе Михаил Юрьевич близко познакомился с начальником Кавказской области генерал-лейтенантом А. А. Вельяминовым и проводил много времени, слушая рассказы своего родственника П. И. Петрова — начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья об Отечественной войне и Бородинском сражении. Сопоставляя даты: начало апреля 1837 года, когда поэт был в первой кавказской ссылке, и публикацию «Бородино» в «Современнике», вышедшем в конце мая того же года, можно сделать предположительный вывод, что именно здесь родилось это одно из чудеснейших произведений русской литературы».

Теме рождения стихотворения «Бородино» в Ставрополе посвятил целую главу в своей книге «Лермонтов на Кавказе» А. В. Попов. Так, он пишет: «При содействии своего «любезного дядюшки» — начальника штаба войск Кавказской линии и Черномории — Лермонтов отправил из Ставрополя «Бородино» в окончательной редакции в Петербург издателю «Современника». Приятельница Лермонтова графиня Е. П. Раstopчина рассказывала впоследствии известному французскому романисту

Александрю Дюма, что поэт, находясь на Кавказе, отправлял свои произведения правительственными курьерами (журнал «Русская старина», 1882 г., сентябрь. С. 617–618). Следовательно, П. И. Петров мог отправить и отправил это стихотворение в редакцию «Современника» с одним из фельдъегерей, следовавших в Петербург. В конце апреля «Бородино» было получено в Петербурге и в мае напечатано в VI томе «Современника» за подписью М. Ю. Лермонтова».

Здесь надо сказать, что с этой версией многие исследователи не соглашаются, но, думается, она имеет право на существование.

Между тем М. Ю. Лермонтов, пробыв в Ставрополе до начала мая 1837 года, как пишет А. В. Попов, «...узнал, что два спешенных эскадрона Нижегородского драгунского полка под начальством... полковника Безобразова выступили на Лезгинскую линию, пожелал после продолжительных задержек в Петербурге, Москве и Ставрополе как можно скорее явиться в полк и представиться командиру...».

«Я ВСТРЕТИЛ ВЕРНЕРА В СТАВРОПОЛЕ...»

В свой первый приезд в Ставрополь Михаил Юрьевич Лермонтов сдружился с доктором при командующем войсками Кавказской линии Александре Алексеевиче Вельяминове — Николаем Васильевичем Майером. Сам Лермонтов устами Печорина в «Герое нашего времени» так писал о прототипе доктора Вернера: «Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики... Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой... Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худошавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями... Я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи, разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях».

А. В. Попов дополняет образ доктора Майера: «Здесь же, в Ставрополе, поэт познакомился с доктором Николаем Васильевичем Майером, служившим при штабе командующего войсками Кавказской линии и Черноморья. По свидетельству многих старых кавказцев, современников Лермонтова, доктор Майер послужил прототипом доктора Вернера в романе «Герой нашего времени». Сам Лермонтов устами Печорина об этом знакомстве рассказывает: «Я встретил Вернера в С. (т. е. в Ставрополе) среди многочисленного и шумного круга молодежи... Мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев друг другу значительно в глаза, как делали

римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером».

Это свидетельство Лермонтова о его знакомстве с доктором Майером, который в романе «Герой нашего времени» назван Вернером, представляет большую ценность...».

Знакомство Лермонтова с Колюбякиным и Майером именно в Ставрополе подтверждается свидетельством старого кавказца А. Щербакова, мать которого в тридцатых годах XIX столетия имела в Ставрополе дом. В этом доме, по словам А. Щербакова, жили доктор Майер, Лермонтов и Колюбякин.

Н. В. Майер родился 23 сентября 1806 года в семье выходца из Вестфалии Вильгельма Майера. «Отец его, — писал Г. Филипсон, — был крайне либеральных убеждений, он был масон и член тайных обществ».

Юношей Н. В. Майер, оказавшись с отцом в Санкт-Петербурге, начал работать в канцелярии Академии наук. В 1823 году он поступил вольнослушателем в Медико-хирургическую академию, которую закончил в 1828 году. Начал службу у генерала Инзова в южных губерниях России, откуда был переведен в Ставрополь врачом особых поручений при генерале Вельяминове.



«Лермонтовский домик». Дом, где проживал барон И.А. Вревский — сослуживец М. Ю. Лермонтова. Здесь поэт останавливался во время пребывания в Ставрополе. Построен в 1830 году. Город Ставрополь, ул. Дзержинского (бывш. Лермонтовская), 181–183 (фото 2014 года).

Николай Васильевич Майер во время приезда Лермонтова в Ставрополь жил в Воробьевском предместье, которое было обжито лишь с северной стороны, где позже возникла 1-я Воробьевская улица.

В 1837 году Воробьевское предместье только обживалось. Большая часть строений сдавалась внаем под госпитальные отделения, а меньшая — состоятельным офицерам. Где-то здесь и жил Майер. Сюда приходил и М. Ю. Лермонтов, получая истинное удовольствие от общения с этим человеком. Майер был небольшого роста, худой и хромой, с большой угловатой головой, с неровным и вспылчивым

характером. «Ум и огромная начитанность вместе с каким-то аристократизмом образа мысли и манеры, — писали о нем современники, — невольно привлекали к нему внимание. Он прекрасно владел русским, французским и немецким языками и, когда был в духе, говорил остроумно, с живостью и душевной теплотою».

В Ставрополе Майер близко сдружился с А. А. Бестужевым-Марлинским, однажды выручив его от грозящей опасности. Об этом подробно писал А. В. Попов в книге «Декабристы-литераторы на Кавказе» (Ставрополь, 1963): «Когда Бестужев по состоянию здоровья вынужден был поехать на воды в Пятигорск, его сопровождал и доктор Майер. Здесь по указанию шефа жандармов графа Бенкендорфа в квартире «государственного преступника» был сделан обыск. Жандармов заинтересовали два письма Ксенофонта Полевого, в одном из которых он сообщал о высылке Бестужеву серой шляпы. Жандармы в самой шляпе увидели крамолу, так как подобные в Западной Европе носили карбонарии. Вот как описывал это событие А. В. Попов в своей книге «Декабристы-литераторы на Кавказе»: «Доктор Майер, полагая, что злополучная шляпа может навлечь на его друга серьезные неприятности, если не возвращение снова в Сибирь, заявил, что эта шляпа принадлежит ему. Бестужев тут же подтвердил это заявление, что шляпа выслана Полевым по его просьбе для до-



Майер Н. В. Автопортрет.
Бумага, акварель
(Майер Николай Васильевич
(1806–1846) — доктор
при штабе Командующего
Кавказской линией).

ктора Майера». Бестужев не пострадал, а Майер полгода просидел под арестом в Темнолесской крепости».

Майер, как и многие другие офицеры и чиновники, в летнее время проживал в Воробьевском предместье, богатым садами, с чистым, наполненным ароматом цветов воздухом. Но вот что у него был свой дом на главной улице города, где, видимо, он жил в зимнее время, никому не было известно. И нет никакого сомнения, что в 1840–1841 годах здесь неоднократно бывал Михаил Юрьевич Лермонтов.

Виктор КРАВЧЕНКО

«Мы странствовали с ним в горах Востока...»

Стояла вторая половина октября 1837 года. Невысокий, коренастый прапорщик лейб-гвардии Нижегородского драгунского полка Михаил Лермонтов в новеньком мундире выезжал из Ставрополя на почтовых от Тифлисской заставы. Путь лежал в Грузию, на зимние квартиры полка. В воздухе разливался тягучий колокольный звон Троицкой церкви. Город, залитый осенним светом, давно проснулся и ожил. Отъехав версты две, прапорщик последний раз оглянулся, окинул взглядом полюболюбившуюся местность. «Красиво», — отметил про себя.

Поблекшая, выцветшая палевая равнина, стелившаяся до горизонта, иногда сменялась лесистыми оврагами и пологими холмами, дышала покоем и тишиной, прерываемой монотонным стуком лошадиных копыт и скрипом колёс. Дорога укачивала, склоняла к задумчивости и размышлению. Вспомнилась встреча в церкви за неделю до отъезда. Придя на утреннюю литургию, он ощутил чей-то любопытный взгляд, повернулся — за ним стоял немолодой служивый в солдатской шинели. После службы на выходе, у ограды, его окликнули:

— Михаил Юрьевич, я вас сразу узнал!

Солдат шагнул навстречу, снял фуражку, протянул руку:

— Одоевский.

— Господи! Александр Иванович, откуда?

Чувство изумления мелькнуло в груди Лермонтова и тут же растворилось в тихой радости.

Струн вещей пламенные звуки...

До слуха нашего дошли,

К мечам рванулись наши руки,

Но лишь оковы обрели...

— процитировал по памяти Лермонтов.

Услышал спокойный ответ Одоевского:

Погиб Поэт! Невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой...

Они обнялись и, оживлённо беседуя, пошли вверх по главной улице.

— Нас прибыло шестеро под конвоем из Сибири: Назимов, Нарышкин, Лорер, Лихарев, Черкасов, — рассказывал Александр Иванович. — Все распределены рядовыми по разным полкам на Кавказской линии, а мне назавтра ехать в Кахетию, в Нижегородский полк.

— Вот как! — Михаил Юрьевич даже вскрикнул от удивления. — Подумать только! Так нам служить вместе.

Наутро он пришёл проводить Одоевского. Расстались друзьями, перейдя на сближающее «ты». Декабрист-поэт уехал в сопровождении казака Тобольского городского казачьего полка Тверетинова.

За Георгиевском начался неизвестный для прапорщика тракт. Молодые пронизательные глаза на большелобом лице всё чаще пристально всматривались в мерцающие на горизонте вершины. С каждой верстой снежные гиганты приближались и принимали самые причудливые очертания, удивляли многообразием красок и теней. В Екатеринограде задержались ненадолго, подспела оказия: почта, несколько бричек с солдатами ремонтной роты, повозки с казёнными вещами и провиантом до Владикавказа.

— Вы везучий, ваше благородие, — заметил возчик Афанасий, уже немолодой, с суровым обветренным лицом, коренастый мужик из линейных казаков. — Другой раз сидишь тут без дела, ждешь не дождёшься этой оказии.

Вёрст за двадцать до крепости выделилась слегка косо срезанная гора, напоминающая покрытый белой скатертью стол. У её подножия, в живописной чашеобразной долине, расположился Владикавказ, окруженный кольцом лесистых гор. Остановились и переночевали в крепостной гостинице, невдалеке от базарной площади.

Отдохнув, отправились дальше. Перебрались с правого на левый берег Терека по новому деревянному мосту на каменных опорах и повернули на юг. Дальше дорога полностью погрузилась в горы и стала труднее. Медленно карабкались по Дарьяльскому ущелью. Вёрст через двадцать от Владикавказа проехали пост Ларс. На единственной проезжей улице располагалось каменное строение почтовой станции, казармы со скрытыми узкими прорезями бойниц, где проживали и несли службу солдаты рабочей роты и команда донских линейных казаков. Выглядело все тоскливо и неудобно. Внизу, в глубине ущелья, мрачного и холодного, куда почти не проникал солнечный свет, гудел грозный Терек. Между камнями, прижатые постоянным ветром, колыхались низенькие деревья, лепились корнями к откосам и причудливым скалам. Внезапно за поворотом в расщелине под скальным навесом что-то сверкнуло серебром. Остановились. Небольшая иконка, россыпь монет, огарки свеч.

— Поминальное место, ваше благородие, — пояснил Афанасий. — Здесь вспоминают путников, которых унесла в другой мир эта ужасная дорога. Души несчастных живы, они где-то рядом. Надо постоять, послушать, помолчать.

Лермонтов подошёл к святыни поближе. Положил монетку, перекрестился. Тронулись дальше. Затяжной подъём закончился на станции Казбек. Нельзя было не залобоваться двуглавой ледяной вершиной горы Казбек и купольным хра-

мом Цминда Самеба (Святая Троица), который А.С. Пушкин видел «за облаками, как в небе реюший ковчег».

Многое из прочитанного ранее приобретало реальность, а увиденное будило воображение. Снова ночлег и дневной переезд к Коби, последней станции перед Крестовым перевалом. Терек ушел вправо, в Трусовское ущелье, а дорога, прихваченная свежим снегом, перескочив через деревянный горбатый мосток, стала крутым серпантинном забираться вверх. На седловине перевала, свободной от снега, к удивлению путников, было тепло. Из долины Арагвы прорывался южный ветер, ласково шевелил волосы. Пригревало солнце. Лермонтов остановил тележку, соскочил на землю с ловкостью военного человека, размялся, осмотрелся. Расстёгнутый ворот сюртука открыл загорелую шею. Лёгкая шаль длинных перистых облаков вихрилась над Гуд-горой, спала и растекалась, неслась дальше к соседним хребтам. Везде царствовала тишина. Иногда вспархивала случайно залетевшая птичка.

Михаил Юрьевич вынул альбом, взял карандаш, принялся на скорую руку наносить контуры пейзажа. Восхищённый взгляд тонул в богатстве красок. Потом отложил, снял фуражку, стал неторопливо, мелким шагом взбираться на Крестовую гору...

Начался длинный и крутой спуск в Кайшаурскую долину. Пришлось взять лошадей под уздцы и идти пешком. Вскоре открылась широкая лощина, усеянная огромными гранитными валунами, покрытыми зеленоватым мхом, наполовину вросшими в землю, беспорядочно набросанными друг на друга. Между ними лишь кое-где синели колокольчики.

Лермонтов засмотрелся. Афанасий, видя интерес офицера, рассказал древнюю легенду, слышанную им в этих местах.

— Давным-давно у подножия Гуд-горы в семье бедняка родилась девочка. Назвали её Нино. Она была так хороша, что люди останавливались и любовались ею. Однажды девочку увидел старый Гуд — горный дух окрестностей. Поражённый красотой, он полюбил её пылкой и нежной любовью юноши. Может быть, странным покажется, что могучий дух полюбил бедную девушку, но так было на самом деле. Пока Нино подрастала, дух незримо покровительствовал девочке, выполнял все желания, оберегал, когда она лазала по горам, помогал находить самые красивые цветы и пышные травы. Со дня рождения ребёнка Арагва уже пятнадцать раз превращалась из ручья в бешеный и мутный поток от тающих снегов. Нино из хорошенькой девочки сделалась дивной красавицей. Любовь старого Гуда с каждым днём разгоралась всё сильнее, он даже подумывал, как бы ему на время сделаться смертным человеком, а между тем сердце Нино проснулось для любви. Она засматривалась на статного, молодого, красивого Сосико, лучшего в округе стрелка, танцора и силача, сакля которого была рядом с саклей её отца. Они полюбили друг друга. Узнав об этом, старый Гуд решил погубить юношу: во время охоты он заводил его в непролазные лесные чащобы, вынуждал переплывать ледяные бурные речки, заставлял карабкаться на бесплодные скалы, застилал туманом пропасти на горных тропах или неожиданно насылал на него метель. Только отвага и ловкость спасали Сосико от губительных козней влюблённого старика. Тогда дух решил в безумной надежде поссорить молодых, и, когда ему наконец удалось это сделать, он, ликуя от радости, разразился таким страшным громовым хохотом, что целая груда камней с вершины скатилась в Чертову долину. Так и лежат те камни до сих пор, — закончил рассказ Афанасий.

Версты через три спуск закончился, и тележка покатила лёгким ходом по правому берегу реки Арагвы. Бледно-сиреневый закат уже гулял по небосводу, когда показалось селение Пасанаури. Двор заезжего дома был заполнен людьми. У входа под навесом, примыкавшим к строению, стояли брички и обоз, крытый парусиной. Рядом на лужайке переминались два чистокровных серых жеребца кабардинской породы.

Лермонтову отвели угловую комнату с низким потолком, простой мебелью, фреской на стене, изображающей сцену охоты, и балконом, оббитым плющом. Пока он переодевался, кто-то легонько постучал. Дверь скрипнула, и вошёл Одоевский.

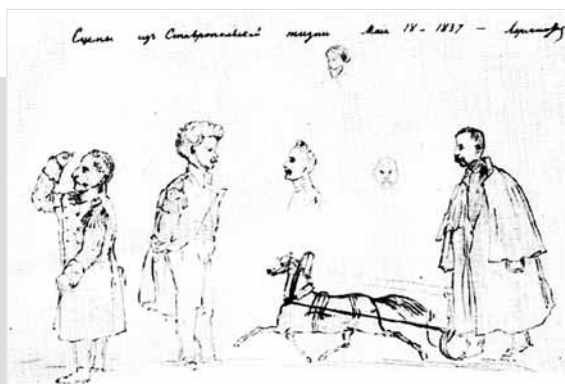
— Александр? Здесь? Вот не ожидал, — удивился Михаил Юрьевич.

— В Екатеринограде отсиживались несколько дней в ожидании оказии, — присаживаясь за стол, поведал Александр Иванович. — За Архонским укреплением стал накрапывать мелкий дождик, а к Владикавказу он стоял уже сплошной стеной. Город встретил нас множеством огоньков и лаем собак. Обогнули слободу, базар и въехали за крепостной вал. Дежурный унтер-офицер отворил ворота. Бывалые люди предложили переждать непогоду. Три дня я засыпал и просыпался под шум дождя. На четвёртый день проснулись и ахнули. В небе ни облачка. На Столовой горе — свежеевыпавший снег.

— Эта гора Прометеем зовётся, — перебил его Михаил Юрьевич.

— Да, я слышал прекрасный древнегреческий миф, — подтвердил Одоевский, — сильно она смахивает на прикованного к скале античного героя...

В день отправления из Владикавказа я посетил могилу Петра Коновницына, которую показал мне командир линейного батальона полковник Нестеров, — про-



М. Ю. Лермонтов.
Сцены
из ставропольской
жизни. 1837.
Бумага, карандаш.
20,8 × 31,9.

должил свой рассказ Александр Иванович. — Он с братом Иваном Петровичем после декабрьских событий 1825 года был переведён в Отдельный Кавказский корпус. Бесстрашно воевал с персами и турками. Дослужился до поручика, получил отпуск в Харьковскую губернию, в имение матери. В августе 1830 года возвращался в свой полк и в дороге заболел холерой. Тогда смерть косила многих. Елизавета Петровна Нарышкина, урождённая графиня Коновницына, часто рассказывала о своих братьях. Сама она поспешила в Сибирь к своему мужу, бывшему полковнику, члену «Северного общества», по приговору Верховного уголовного суда осуждённому на каторжные работы. После отбытия каторги Нарышкина перевели на поселение в город Курган. Мы с ней и супругом Михаилом Михайловичем вместе выехали из Кургана в Став-

рополь. Там расстались, он уехал на правый фланг линии, в Навагинский пехотный полк. Елизавета Петровна просила того, кто будет во Владикавказе, проведать могилу любимого Петруши. Мы узнали о кончине Коновницына в Петровском заводе, куда нас перевели из Читинского острога. Я посвятил Петру Петровичу такие строки:

На грозном приступе, в пылу кровавой битвы
 Он нежной матери нигде не забывал;
 Он имя сладкое сливал
 Со словом искренней молитвы...
 Опять увидеть взор очей,
 Услышать радостные звуки,
 Прижать к устам уста и руки
 Любимой матери своей —
 Вот были все его желанья,
 Уже минули дни страданья!
 Ее опять увидел он;
 Но дни минутные свиданья,
 Но их взаимно сладкий сон
 Едва приснился им... и снова
 Из-под семейственного крова
 Он в край восточный полетел;
 Восторгом взор еще горел;
 Еще от сладкого волненья
 Вздымалась радостная грудь;
 И, не dokonчив сновиденья,
 Уже он кончил жизни путь...
 Когда в последний час из уст теснился дух,
 Он вспомнил с горестью глубокой
 О нежной матери, об узнице далекой, —
 И с третьим именем потух.

— Утомил я тебя, Юрьевич, своим рассказом?

— Нисколько. Я ведь ничего этого не знал. Время вечернее, Александр, нам бы отужинать.

— А тут духан, трактир по-нашему, через два дома, совсем рядом, — согласился Одоевский.

Духанщик, краснощёкий, плотный, с тёмной щетиной на лице, с крепкими жилистыми руками, встретил их в дверях с полотенцем через плечо. Уважительно поклонился, приветствовал пожеланиями мира. Пригласил дружеским жестом пройти внутрь. Глиняный пол был чист. Комната, наполненная ароматом незнакомой кухни, дышала уютом. Горело несколько ламп, высвечивая вдоль стен низкие покрытые шерстяными коврами и подушками для удобств тахты, на которых в непринуждённых позах, полулёжа, вели беседу несколько человек. Сделав попытку приветствовать, они приветствовали вошедших военных.

Хозяин засуетился проворно возле пламенеющей печки, подавая на стол угощение: отварную баранину, жаркое из индейки, терпкую зелень, сыр, душистый

хлеб, полный до краев кувшин красного вина. Кушали не торопясь, молча, вслушиваясь в незнакомую мелодичную грузинскую речь.

— Надо бы взяться за этот язык, — подумал вдруг Лермонтов.

После ужина, расплатившись, друзья вместе с духанщиком вышли во двор. Жёсткие коричневые листья чинары устилали землю. Смуглая немолодая грузинка, повязанная чёрным платком, приветливо улыбнулась, продолжая размеренно бить ступкой лесные орехи, очищая и складывая ядрышки в круглый бочонок. Вокруг неё важно разгуливали куры. В глубине, под навесом, лежали уложенные стопкой колотые дрова. Двор переходил во фруктовый сад, спускался постепенно к берегу Арагвы, скрытой от глаз опущенными к воде листьями плакучих ив и густым ольшаником. В загоне, выстроенном у боковой стены духана, ревели медведица.

— Что с ней? — поинтересовался Лермонтов.

— Зубы, батона (господин — груз.). Ночь придёт — отпущу. Дам свободу, — духанщик махнул рукой в сторону леса.

— Всё просто. Снял засов — и свободен. Но человек не зверь. Мы же будем покорны судьбе, надо набраться терпения и ждать, не теряя бодрости духа. За терпенье Бог даёт спасенье, — с грустью заметил Александр Иванович.

Беседуя, друзья прошли вперёд по дороге к слиянию Белой и Чёрной Арагвы. Спустились к шумной быстрой воде. Уселись на крупный камень. Тонкий серп молодого месяца завис над селением. Деревья прислушивались к разговору, шептались между собой и, как бы озабоченные чужой судьбой, понимающе кивали верхушками.

Михаил Юрьевич уже не спал, когда утренний свет пробился сквозь узкую щель балконной двери. За стеной лениво кукарекнул петух. Сборы были недолгими. Наскоро перекусив холодной телятиной с чаем, Лермонтов и Одоевский с двумя казаками покинули Пасанаури ещё по обильной росе. Они ехали не торопясь, им хотелось продлить ощущение радостной вечерней встречи и душевного покоя. Солнце показалось из-за высоких скал и щедро одарило путников тёплыми лучами. Лента дороги, поднимаясь и опускаясь, подступала к Арагве и удалялась от реки, вилась и петляла по гористой местности. День выдался по-осеннему мягкий и тихий. Нежные, как вздох, блестящие паутинки словно шёлковые нити струились в воздухе. Непривычная для глаза россиянина кавказская природа, ещё почти не тронутая осенним увяданием, радовала друзей, а взаимная симпатия, перешедшая в дружбу, согревала сердца обоих.

За почтовой станцией Гартискар в подернутой дымкой дали, на склоне хребта, завиднелся одинокий храм. Как бы вырастая из скалы, он завершал собой её конусообразную вершину.

— Крестовый монастырь, по-грузински Джвари, — отвечая на немой вопрос Лермонтова, пояснил Афанасий и добавил: — Впереди, у слияния Арагвы и Куры, Мцхета — древняя грузинская столица.

Вскоре показались дома с плетёными изгородями. На верандах, увитых виноградной лозой, висели связки лука и чеснока, кукурузные початки, стручки красного перца. Доносилось пение низких мужских голосов.

В Мцхета друзья решили задержаться. Вначале осмотрели монастырь Самтавро, на территории которого, по преданию, был погребен первый христианский царь Мириан с женой, царицей Наной. Затем отправились к патриаршему собору Свети-Цховели (Животворящий столп).

Острове́рхий храм, построенный в честь двенадцати апостолов, немой свидетель вековых страданий героического народа, стоял в центре прямоугольной площади, погруженный в собственные неразгаданные думы. Со всех сторон его окружала высоченная защитная стена с зубцами в человеческий рост, башнями и бойницами.

Лермонтов и Одоевский с восхищением обошли два раза вокруг собора, любуясь строгостью архитектурных форм, декоративным резным орнаментом, витиеватой древнегрузинской вязью.

Молодой священник поведал поэтам легенду о хитоне Иисуса Христа, принесенном из Иерусалима в Мцхета раввином Элиозом, который присутствовал при распятии Спасителя. Сестра раввина, Сидония, выйдя навстречу к брату, взяла хитон, прижала к своей груди и, пораженная, упала замертво. Сидонию похоронили вместе с хитоном в царском саду, на том месте, где впоследствии воздвигли храм Свети-Цховели. Величественный кедр вырос над её могилой. Все те, кто прикасался к нему, получали исцеление от болезней и душевных ран. После принятия Грузией христианства кедр срубили, а на могиле установили каменный столп, который сегодня находится в центральной части храма.

У массивных церковных дверей, окованных железом, стояли несколько человек, но сам храм был наполовину заполнен верующими. Вошли внутрь, под прохладные своды. Осторожно переступили светлые могильные плиты усыпальниц, под которыми покоились останки католиков и последних грузинских царей из династии Багратионов. Приблизились к алтарю. Пахло благочестивым запахом ладана и тающего воска. Друзья отстояли службу и покинули Свети-Цховели в глубоком раздумье.

На станции Лермонтов достал тетрадь с путевыми пометками и кратко записал: «Грузия, христианство, Мцхета, поэма о монахе». Всё увиденное и услышанное в древней столице взволновало Михаила Юрьевича. В голове зародились удивительные замыслы.

Последние двадцать вёрст до Тифлиса путники проскакали быстро. Плодородная долина Куры привлекла необычной растительностью. Они любовались самшитовой порослью, испанским дроком, пшатовыми и миндальными деревьями. Военно-Грузинская дорога, вечная, романтическая, взлетающая под облака, теряющаяся в горной крутизне и плугающая меж ущелий, пленявшая своей таинственной красотой, осталась позади. Впереди друзей ждали шумный словоохотливый Тифлис, знакомство с новыми друзьями, служба в Нижегородском драгунском полку, надежда на скорую отставку...

Александр ОЧМАН

Загадки лермонтовского «Валерика»

Лермонтов во время пребывания в первой и второй ссылке на Кавказе лишь однажды принял участие в полномасштабном боевом сражении. В одной из экспедиций генерала Галафеева в Малую Чечню он проявил себя как доблестный и отважный воин в кровопролитном столкновении с горцами у реки Валерик 11 июля 1840 года. Это событие породило одно из самых замечательных поэтических лермонтовских созданий, по объему близкое к жанру поэмы, названное при первой публикации в 1843 году в альманахе «Утренняя заря» «Валериком» (в рукописном оригинале название отсутствует) и вошедшее в русскую литературу как выдающийся образец лиро-эпического письма.

До сих пор продолжают споры о времени создания «Валерика», обстоятельства же его появления не затрагиваются вовсе. Большинство исследователей склонны датировать его рождение 1840 годом, разумеется, после Валерикского боя, без более определенной конкретизации и привязки хотя бы к тому или иному месяцу. Отнесение написания произведения к 1841 году, предлагаемое Э. Г. Герштейн и С. А. Бойко, выглядит малоубедительным.

Как ни парадоксально, но вопрос о датировке «Валерика» не может быть удовлетворительно разрешен без обращения к стихотворному сочинению Николая Мартынова «Герзель-аул», найденному после смерти автора среди его бумаг и опубликованному в начале XX века.

Дело в том, что между небольшой мартыновской поэмой (именно таковы, по нашему убеждению, жанровые параметры «Герзель-аула») и лермонтовским «Валериком» обнаруживается большое количество схождений разного плана и к числу случайных совпадений многие — почти тождественные — параллели отнесены быть не могут.

Наиболее обстоятельный сопоставительный анализ лермонтовского и мартыновского текстов принадлежит М. М. Уманской, осуществленный в статье «Из истории литературных отношений Лермонтова и Мартынова («Валерик» — «Герзель-аул»)». Итог предпринятого аналитического освещения обозначенной в заголовке проблемы звучит как судебный приговор: «Результаты изучения вопроса свидетельствуют о серьезных идейных расхождениях Лермонтова и Мартынова в оценке войны русского самодержавия на Кавказе и дают основание для вывода о литературном соперничестве Мартынова с автором «Валерика». Иронический подтекст «Герзель-аула», язвительные строки о Лермонтове, заключавшие в себе скрытую цитату из «Валерика», и пародийное обыгрывание его структуры — яркое свидетельство тайного недоброжелательства и завистливой злобы Мартынова. Личная неприязнь незадачливого стихотворца к талантливому автору «Валерика», усиленная идейными, политическими разногласиями, и послужила, по-видимому, одной из причин дуэли с ее трагическим исходом».

Действительно, при художественно-эстетической несопоставимости «Герзель-аула» и «Валерика» бросается в глаза сюжетное сходство первой части мартыновской поэмы с эпическим ядром лермонтовского повествования в «Валерике». Это касается батальных эпизодов (и не только) с целым рядом совпадающих деталей...

Для нас же очевидна самостоятельность всей мартыновской поэмы. Движение сюжета в ней от начала до конца обусловлено событийной канвой июньского похода отряда Галафеева, лирический антураж попросту «выпал» из батальной картины, из задуманной и осуществленной автором в меру своих способностей повествовательной стратегии.

Наконец, если исходить из вероятия хотя бы одного гостевого наезда Лермонтова в Червлennую, то в пределах реальной допустимости не такой уж фантастический вариант: Мартынов знакомит приятеля с недавно законченным сочинением — оно-то и стало первотолчком к оформлению замысла «Валерика» с его нравственно-философской многоуровневостью и полемическим духом.

По стилиевой манере «Герзель-аул» близок к стихотворному очерку, и в этой жанровой ипостаси должно его воспринимать. Автор, увы, лишен дара художественного обобщения, он пудовыми гирями прикован к «сору мелочей» военного быта, дотошно перечисляемым по мере движения повествования. Монотонность и статика, почти полное отсутствие подтекста — зримые черты мартыновского текста.

Ценность «Герзель-аула» прикладная: это своеобразный документ эпохи, мгновенный «летописный» снимок крохотного фрагмента затяжной Кавказской войны. Не случайно поэма находится вне романтического ряда. Действительность, в ней изображенная, соотносится с принципами «физиологического реализма», минимально отрефлексированного восприятия окружающего мира.

Схожесть, совпадаемость макро- и микроэлементов мартыновского и лермонтовского текста — вне сферы сознательного заимствования. Они порождены общностью почвы, одинаковостью, повторяемостью перипетий и форм военного противостояния в одном и том же регионе Кавказа.

В претендующем на художественность эпическом сочинении, отражающем значительные в историческом контексте события, принципиальна точка зрения повествователя, его интерпретация изображаемого. И Мартынов, и Лермонтов (до них — Пушкин) сходились в исторической необходимости и перспективности присоединения Кавказа к России. Масштабная военная операция, начатая еще Александром I в осуществление задуманного геополитического замысла, представлялась им, безусловно, справедливой. Как всегда, расхождения возникали «в мелочах»: какими должны быть методы покорения горских народов, привлечения их на российскую сторону.

Гуманистическая традиция отечественной литературы в отношении к войне как неприемлемому способу разрешения политических конфликтов, сочувствие к непокорным, отчаянно боровшимся за свою независимость горцам, блестяще продемонстрированная в «Валерике», чужда автору «Герзель-аула». Он не в состоянии подняться над обыденным уровнем сознания. Для него горцы — враги, и только. В силу их злобности и коварства жалость, сочувствие к ним — категории малоподходящие к данному случаю. Безжалостное уничтожение — единственно верный путь к смирению бунтовщиков. Сожженные аулы, вытоптанные поля, изрубленные на костры фруктовые деревья, тела узденей, привязанных к лошадям, с триумфом влекомые казаками, — рядовой набор средств, сопровождающих борьбу с противниками, — в «Герзель-ауле» поданы как должное, без чего в войне нельзя обойтись.

Неуместны иронические строки о карательных мерах, применяемых в ходе боевых действий:

...Горит аул невдалеке...
 То наша конница гуляет,
 В чужих владеньях суд творит,
 Детей погреться приглашает,
 Хозяйкам кашницу варить...

Они свидетельствуют, увы, о нравственной глухоте автора, но не противоречат жестокой, неприглядной реальности военного противоборства того времени.

Пронзительно-человеческая интонация единожды прорывается-таки в повествовании о военных буднях. На глазах у повествователя в муках умирает солдат, вызывая в его душе печальные размышления о конечности земного бытия:

...И вот оно, земное счастье...
 Осталось много ль? Горсть земли!
 Я отвернулся, было больно
 На эту драму мне смотреть,
 И я спросил себя невольно:
 Ужель и мне так умереть?..

Сопоставимый по содержательной структуре эпизод в «Валерике» — кончина капитана, раненного в грудь, — тоже сопровождается авторской рефлексией:

...Его останки боевые
 Накрыли надежно плащом
 И понесли. Тоской томимый,
 Им вслед смотрел я недвижимый.
 Меж тем товарищей, друзей
 Со вздохом возле называли;
 Но не нашел в душе моей
 Я сожаленья, ни печали.

Жестокость войны, преждевременный уход из жизни близких по ратному делу и человеческим качествам сослуживцев, к чему невозможно привыкнуть, так тяжелы и горьки, что повергают поэта во временное духовное оцепенение, вызывают душевную прострацию.

Кто в большей мере реагирует на экзистенциальную ситуацию — автор «Герзель-аула» или создатель «Валерика»? Каждый из них по-разному, объединяясь в едином чувствовании: война противостоит жизни. Открытый антивоенный пафос присущ прежде всего Лермонтову. Он с пронзительной болью выражен в наиболее часто цитируемых строках «Валерика»:

И с грустью тайной и сердечной
 Я думал: «Жалкий человек.
 Чего он хочет!.. небо ясно,
 Под небом много места всем,
 Но беспрестанно и напрасно
 Один враждует он — зачем?»

Картина привала в «Герзель-ауле» включает в себя примечательную зарисовку:

Вот офицер прилег на бурке
 С ученой книгою в руках,
 А сам мечтает о мазурке,
 О Пятигорске и балах,
 Ему все грезится блондинка,
 В нее он по уши влюблен,
 Вот он героем поединка,
 Гвардеец тотчас удален;
 Мечты сменяются мечтами,
 Воображенью дан простор,
 И путь, усеянный цветами,
 Он проскакал во весь опор.
 Вот он женат, отец семейства
 И батарейный командир.
 А дальше что?.. Из казначейства
 Треть пенсионна и мундир.
 Туманный бред своих стремлений
 Исходной точкой он замкнул;

В надежде новых впечатлений
Счастливый прапорщик уснул.

Мартынова-сочинителя отличало весьма характерное свойство: те произведения, в которых отражались конкретные события, непосредственным участником коих он оказывался, всегда создавались по горячим следам, без длительного временного зазора. Как представляется, это в полной мере относится к «Герзель-аулу», сочиненному в июльские дни. Так уж получилось, что именно в это время его охватывает своего рода версификаторский зуд, результатом чего стали сразу четыре произведения, одинаково подписанные и датированные — «Червленная станица, 1840»: «Свидание», «Свобода» (фрагмент перевода стихотворения Андре Шенье), «Чеченская песня», «Герзель-аул». Никогда ни до, ни после Мартынов не трудился столь интенсивно на ниве сочинительства.



**М. Ю. Лермонтов. Эпизод сражения при Валерике 11 июля 1840 года.
1840. Бумага, акварель. 23,6 × 29,3.
(Рисунок выполнен М. Ю. Лермонтовым, раскрашен Г. Г. Гагариным).**

Стало быть, по нашим расчетам, «Герзель-аул» может быть датирован июлем 1840 года, предшествуя лермонтовскому «Валерику». И теперь вплотную мы сталкиваемся с проблемой времени появления на свет лермонтовского создания. М. М. Уманская от прямого указания даты рождения «Валерика», как было сказано, уходит, ограничиваясь туманным — «лето 1840 года». Гипотеза подобного рода легко опровергается фактами.

Как установлено Д.А. Алексеевым, сразу после памятных валерикских событий Лермонтов включен в экспедиционный отряд все того же генерала Галафеева, предпринявшего с 17 июля по 28 августа поход в Северный Дагестан, сначала до крепости Темир-Хан-Шура, а затем в Герзель-аул для достройки укрепления. С 1 августа Лермонтов уезжает из Темир-Хан-Шуры с прикомандированными к отряду гвардейскими офицерами, среди которых адъютант военного министра граф Э.К. Стакельберг, граф К.К. Ламберт, князь А.Н. Долгорукий, Евреинов, на отдых в Пятигорск, где пробудет (с выездами в Кисловодск) почти до конца сентября. Казалось бы, судьба благосклонна к нему как поэту, самое время заняться творчеством. И не созданы ли в этих благоприятных условиях «Валерик»? Увы, этого не случилось по причинам труднообъяснимого свойства. В качестве доказательства сошлемся на письмо поэта из Пятигорска от 12 сентября близкому другу Алексею Лопухину, включающему краткий рассказ о кровавой схватке на реке Валерик — без сообщения географических координат боя из-за цензурного запрета: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 50 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте — кажется, хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные...».

Фактические данные о Валерикской бойне, приводимые в письме без сколько-нибудь рефлексивного обрамления, склоняют нас к предположительному умозаключению: двухмесячной давности жестокая стычка с горцами еще не осмыслена поэтом как бытийное явление, пока она только деталь его личной биографии. Требуется еще некоторое время для духовно-творческой переплавки экстраординарного реального события в поэтическую форму.

В письме к тому же Лопухину, написанному в двадцатых числах октября из крепости Грозной, речь снова заходит о битве с горцами при Валерике: «Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят, как я покорен законам. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем».

Обращение памятью к Валерикскому сражению — свидетельство того, насколько глубоко оно проникло в сознание поэта, как цепко и властно держит оно в своих объятиях все его существо. Будь к этой поре реализован «Валерик», Лермонтов не преминул бы сообщить об этом чрезвычайно важном для него творческом свершении «милому Алеше».

Когда же все-таки Лермонтов приступил к созданию «Валерика»?

Как уже было упомянуто, Лермонтов и Мартынов с 27 сентября по 17 октября, в очередной раз прикомандированные к галафеевскому экспедиционному отряду, продвигавшемуся по Большой Чечне, без сомнения, находили место для обоюдных контактов, а в дни нахождения в крепости Грозной по приглашению Мартынова могли нанести визит в станицу Червлённая, находившуюся всего в 20 километрах, — место постоянного мартыновского проживания. Мартынов, который наверняка признавал поэтический авторитет Лермонтова, осмелился продемонстрировать ему свои стихотворные сочинения на предмет определения их реального уровня, и, думается, оценка «Герзель-аула» была особенно важной для него. Не при-

ходится сомневаться, что Лермонтов весьма скептически отнесся к стихотворным эзерсисам приятеля, в дружеской форме дав понять, что поэзии в них не сыскать. Однако «Герзель-аул», видимо, «зацепил» его. Так, талантливый, зрелый художник, увидев подмалевок неискусного дилетанта, прозревает в нем контуры иной, художественно совершенной, гармоничной и целостной картины. То, что дремало где-то глубоко внутри в качестве смутного, неоформившегося замысла, получило необходимый толчок для его окончательного вызревания. После завершения военных предприятий Лермонтов в ноябре оказывается в Ставрополе по пути к месту дислокации Тенгинского пехотного полка, к которому приписан, в то же время ожидая ответ на прошение о предоставлении отставки. Как раз в Ставрополе рождается, по-видимому, черновой вариант «Валерика».

Ситуационная близость обоих произведений с совпадением большого количества деталей порождена, как мы говорили ранее, общностью исходного материала — военных будней с экстремальными всплесками, существования человека в обстановке постоянной смертельной опасности, вовлеченности воинов



М. Ю. Лермонтов. «При Валерике. 12 июля». 1840. Бумага, акварель. 18 × 25. Лист из походного альбома М. Ю. Лермонтова, находившегося при нем во время боевых действий в Малой Чечне в 1840 году. Рисунок наименован и датирован автором.

в общий ход повторяющихся событий с непредсказуемым исходом. Лермонтов, конечно же, вправе пользоваться той первичной жизненной фактурой, к которой прибегал Мартынов, едва ли не фотографически копируя её. У Лермонтова же вместо унылого мартыновского военного бытописательства возникает преобразованное прикосновением выдающегося поэтического таланта эстетически весомое многомерное батальное повествование, органично встроенное в рамки проникновенного лирического высказывания.

Почему же именно в Ставрополе настал момент обращения к «Валерику»? Лермонтову, которому надобно было явиться к месту прикомандирования — в Тен-

гинский пехотный полк, — нельзя было миновать Ставрополя: в штабе Кавказской линии он должен был получить необходимые сопроводительные документы. Таким образом, завершилась полоса его непосредственного участия в военных экспедициях в Малой и Большой Чечне. Намечался достаточно решительный поворот в его судьбе, связанный с ожиданием ответа на просьбу об отставке, которая, как мы знаем, через некоторое время обернется дозволением убыть в двухмесячный отпуск. Так что поэт не мог не думать о грядущей «перемене участи». «Боевые» периоды (особенно Валерикское сражение), рельефно отложившиеся в памяти, невольно подвергаются им анализу, как то, что уже никогда не повторится. Ведь в случае положительного ответа из Петербурга предполагалось прощание с армейской службой.

Передышка, случившаяся в Ставрополе, приятное времяпрепровождение в дружеском кругу (К. К. Ламберт, Столыпин-Монго, Сергей Трубецкой, Лев Пушкин, Д. С. Бибиков и др.) создали ту отменно благоприятную атмосферу, которая располагала к творчеству, к реализации окрепнувшего в сознании замысла о Валерикском сражении.

Учитывая, что батальный рассказ заключен Лермонтовым в рамки доверительного, едва ли не интимного лирического послания, мы вправе предположить, что непосредственным импульсом, подвигнувшим поэта взяться за перо, явилось неизвестное нам событие в личной жизни автора — письмо ли, встреча, упоминание ли в разговоре, связанное с драматической любовной коллизией минувшего времени, всколыхнувшей, казалось бы, угасшие чувства, перипетии горького и сладостного романа.

Практически все лермонтоведы, касавшиеся вопроса относительно адресата «Валерика», называют в этом качестве Варвару Александровну Лопухину, чему противится фактологическое содержание поэтического обращения. Во-первых, оно окрашено нескрываемой чувственностью и лишено возвышенно-романтического колорита, который соответствовал бы идеально-платоническим отношениям Лермонтова с Варенькой. Та же, о ком через много лет вспомнил поэт, погружена в «забавы света», что для несчастливой в замужестве, чуждой светских развлечений, весьма болезненной Варваре Александровне абсолютно не свойственно.

Наряду с этим в послании-воспоминании фигурируют «дни блаженства» — своего рода деликатно-эвфемистическое словосочетание, подразумевающее, конечно же, физическую близость. Как можно судить, в упоминаемом нешуточном любовном увлечении доминировало телесно-физиологическое начало («Душою мы друг другу чужды»), да и скептически настроенный поэт сомневается в существовании «родства душ», когда мужчина и женщина оказываются в тенетах любовной страсти. Он не обманывается относительно духовных свойств и качеств объекта былого вожделения: «На вашем молодом лице / Следов заботы и печали / Не отыскать...». Подобная душевная «разнополюсность» влюбленных тем не менее не стала препятствием для кратковременного бурного романа («В наш век все чувства лишь на срок...»), завершившегося неизбежным разрывом.

Интенсивная автобиографичность лермонтовских созданий подталкивает нас к мысли о реальном прототипе, не названном по имени, без примет внятной конкретизации одной из многочисленных возлюбленных поэта. Наталью Иванову, Екатерину Сушкову, Варвару Лопухину, Марию Щербатову, Александру Смирнову-Россет, то есть всех тех, о ком мы знаем, кто тем или иным образом с женской сторо-

ны соприкасался с Лермонтовым в качестве предмета притяжения, из списка вероятных фигурантов «Валерика» следует исключить в силу несовпадения сообщаемых в тексте сведений с реальными фактами их контактов с поэтом.

У пылкого, страстного, всегда готового безоглядно броситься в очередной раз в чувственный омут Лермонтова несть числа любовным приключениям и авантюрам, о которых мы не подозреваем...

Похоже, в момент создания «Валерика» автор адресует как к потенциальному слушателю к некой конкретной личности. По мере же реализации послания происходит «поэтическое наращение» реального характера, его обобщение, превращение в художественный артефакт на биографической основе.

При неопределимой важности лирического потенциала «Валерика» доминантная значимость батально-эпического ядра не подлежит сомнению. Именно вокруг него концентрируется художественная энергия автора в ставропольские ноябрьские дни 1840 года после «галафеевских» походов, стычек и сражений с горцами и знакомства с мартыновским «Герзель-аулом», побудившим поэта взяться за перо. Появляется первый черновой автограф стихотворения, который вряд ли удовлетворил



**Неизвестный художник.
Портрет барона
И. А. Вревского.
Литография
сер. XIX века.
Вревский
Ипполит
Александрович
(1814–1858) — товарищ
по школе юнкеров
и сослуживец
М. Ю. Лермонтова,
участник сражения при
Валерике. В его доме в
Ставрополе останавли-
вался поэт
в 1839–1841 гг.**

Лермонтова и работу над которым он, видимо, намеревался продолжить. Вариант этот он захватил в Петербург, где по каким-то причинам обратиться к нему не смог, и по возвращении из отпуска, не оставляя мысли об окончательной доработке текста уже на Кавказе, среди прочего взял с собой не обработанный набело материал. Что-то все-таки помешало довести задуманное до конца, и, как известно, всем ныне знакомый в каноническом виде «Валерик» воспроизведен с чернового автографа, принадлежавшего литератору И. Е. Бецкому. Его рукою на нем оставлена надпись: «Лермонтова. Подарено мне Л. Арнольди, он же получил от Столыпина с Кавказа».

Автограф испещрен авторской правкой, свидетельствовавшей о тщательной работе над произведением. П. А. Ефремов по подлиннику зафиксировал и воспроизвел в своей публикации «Валерика» 57 поправок.

Характерно исключение автором из первичного текста большого фрагмента, по стилю своему — перечислительно-фактографическому — напоминающему «Герзель-аул», т. е. очевидно стремление к концентрации художественного письма.

Чечня восстала вся кругом:
У нас двух тысяч под ружьем
Не набралось бы. Слава богу,
Выходит из кустов обоз,
В цепи стрельба; но началось
И в арьергарде понемногу;
Вот жарче, жарче...

Согласимся, стилистически несовершенна строка: «Чечня восстала вся кругом...». «Хромает» в том же стилистическом плане предложение «выходит из кустов обоз». Избыточно употребление частицы «вот» и наречия «уж» (увы, и в основном тексте восемь раз употребляется «вот» и шесть раз «уж» и «уже»). Для версификатора Мартынова такое простительно, для обладающего виртуозной поэтической техникой Лермонтова выглядит досадным недостатком. Вероятно, обстоятельства воспрепятствовали возвращению поэта к начерно запечатленному посланию-рассказу и не позволили превратить его в безупречный стихотворный шедевр.

Ты многих мне и ближе, и дороже,
С тобою мы ровесники давно:
И я рождён в четырнадцатом тоже,
Но позже на столетие одно.

Веленьем высочайшего указа,
Опальный друг, из северных сторон
Ты сослан был в ущелия Кавказа,
Ты к пуле горской был приговорён.

Но раздавались выстрелы в ауле,
А горец из укрытья своего
Кричал тебе:
— Не опасайся пули,
Кавказцы знают, целиться в кого!

Моя сестра до солнышка вставала,
Тебе лепёшки белые пекла.
Когда с коня ты спрыгивал, бывало,
Держал я стремя твоего седла.

И благодарен собственной судьбе я
За то, что там, где высятся снега,
Тебе рассказы Исмаила-бея
Переводил, присев у очага.

Просил тебя:
— Побудь ещё немного.
Но верной бурки чёрное крыло
Ты, весело откинув, у порога
Садился в кабардинское седло.

Ты скачешь по горам не иноверцем,
И, как мюриды, издавна верны —
Тебя я слева прикрываю сердцем,
Кайсын Кулиев — с правой стороны.

Вершины гор задумчивы и строги,
Звезда с звездой над ними говорит.
И молод ты, и нет конца дороге,
И пыль веков летит из-под копыт.

АЛИМ КЕШОКОВ
ЛЕРМОНТОВУ

*Перевод с кабардинского
Я. Козловского*

Андрей ГУБИН

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадет
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;

Тогда мы видим, что пуста
Была золотая чаша,
Что в ней напиток был — мечта
И что она — не наша!

М. Ю. Лермонтов.

Таинственный Клинок

«Собакам — львиные почести!» — желчно думал Лермонтов, пуская коня рысью по белым ромашкам склона.

Высочайшим повелением поручику Голштейну, барону, была пожалована сабля с андреевским крестом на рукояти. А между тем не только офицеры, но и солдаты отлично понимали, что поручик угробил в деле пол-отряда ради жалких трофеев — четырех сожженных саклей и одного пленного подростка. Понимали и то, что Голштейн племянник флигель-адъютанта.

Вчера в собрании нашампанившийся поручик постоянно касался рукой сверкающей сабли. И простые, с костяными ручками кинжалы прославленных офицеров многим показались убогими. Маменьки дочерей на выданье благосклонно кивали герою вечера.

Лермонтов понимал всю глупость и суетную мишуру одеяний, чинов и наград. Но душу он поверял бумаге, а на людях выставлял напоказ детскую вспылчивость и молодечество. Быть первым, хоть умереть, но лишь бы зрителями смерти были толпы людей — самое горячее желание юности. Оно заставляло писать, заимствовать, подражать — любой ценой выбиться в первые.

Очень скоро он понял, как трудно зажечь звезду во лбу, а потом напишет о претендентах на корону Наполеона, кончающих чиновниками 14-го класса. И все-таки желание быть выше останется в груди, в которой мировая скорбь была любовью к миру.

Однажды на бал он явился в диковинном наряде астролога, расписанном магическими пентаграммами. Пошла мода на черные кавказские бурки — он временами появлялся в белой, как снег. Шеголял прекрасными пистолетами. Безжалостно острил над показными храбрцами и часто поражал товарищей безумной, ненужной смелостью под пулями. Иногда ходил в дело только с холодным оружием, давая смерти фору.

Быть лучшим — качество поэта. Лермонтову оно было присуще особо. Не будучи красавцем, он дорисовывал себя в автопортретах. Но это делали многие великие живописцы, рисуя скорее не себя, а свой идеал... Кое-кто уже знал Лермонтова как поэта первой звездной величины. Но большинство окружающих даже не подозревали, что он пишет. Для них он обычный мальчишка, смертный офицерик. Отсюда его розыски древнего шотландского предка — мол, не чета вам; злые и оригинальные шутки, несносные выходки — хоть так привлечь внимание. Знает: особо свирепо пожирают звездоносцев, но не страшится этого — страшнее прозябать в безвестности, прожить, как червяк, тля, капустный лист.

Величайший критик того времени с горечью напишет: Лермонтов рвался на нож. Как это трагично, видно из того, что Пушкин никогда не рвался на нож, а был убит. Следовательно, звезда Лермонтова уже с юности была в траурном нимбе, и рано, двадцати шести лет с небольшим, закатилась.

Нынче он ехал из станицы Кисловодской в Богунтинский редут, что за Ессентучком. По слухам, один богунтинский молодец добыл в стычке шашку редкой стали. Такую шашку купить нелегко — казаки знают цену оружию, и он прихватил побольше червонцев. Эффектнее добыть ее в бою, как этот молодец, но как встретить владельца чудесного клинка?

Дорога то высоко взбегала в горы, то петляла в густых ивах у самой реки. Здесь может пропеть пуля, пролететь, словно черная змея, аркан. Но бег коня упоителен, и влиты бледные пальцы в чинаровое ложе винтовки.

Промелькнула плетеная вышка пикета возле одноарочного каменного моста, сооруженного солдатами графа Воронцова-Дашкова за одну ночь для переправы горной артиллерии. Из-под копыт метнулась краснобокая лисица.

Свищет ветер в развалинах древней часовни. Над горами, облаками и долинами несет стражу задумавшийся в полдневный час Эльбрус.

Далеко в разрывах тумана синее Бештау.

Открылась ковыльная степь. Снова прохлада рощи и звонкой речки. И вот блеснул крест на колокольне Богунтинского редута.

За каменными стенами с бойницами деревянная церковь, длинный сарай — арсенал, казачьи землянки и хаты. Уже и по эту сторону стен лепились мазанки, образуя станицу, заросшую камышом и барбарисом.

Лермонтов спешился. Залаяли собаки. Привязать коня не успел. Подбежали бойкие казачата, отогнали собак и смело взяли тисненный повод. Никакой платы казачатам не надо — они ее уже получают, дыша с конем одним ветром. Стоять рядом с конем для казачонка — все равно что для правоверного видеть тень пророка.

Он вошел в хату, сложенную из синего слоистого камня. Перекрестился на суровые старообрядческие иконы. Осмотрелся в дыму.

По глиняному полу бродили прирученные фазаны и волчата. С ними пытался бодаться козленок. В бочках зерно и соленое сало. У пылающего жерла русской печи гремела чугунами нарядная молодайка. С высокой лежанки немигающе сверлили гостя глаза старухи. Молодайка поклонилась молодому офицеру, предварительно глянула на старуху и нарочито бойко поднесла Лермонтову полный чихирный ковшик. Офицер выпил, обтер губы и спросил, отчего не видно казаков.

— Отважничают — кабанов бьют да оленей.

— А старики?

— За пасекой греются.

— Принеси нам туда чихирю.

Положил хозяйке монету и пошел по бурьянам над шумной и чистой, как слеза, Богунтой к пасеке.

Ульи, сплетенные из ивняка сапетки, стоят пирамидками в горячей укромной балочке, заросшей медоносными травами. На яркой соломе сидят старики. Поглаживают на плечах мохнатые овчины, прикрывают глаза высохшими ладонями, неспешно ведут пир-беседу. Молодость с выстрелами, казенным спиртом и поцелуями в зарослях хмеля и медуницы позади. Какой-нибудь сорвиголова только и видит в жизни, что серебро, стычки, скотину. А старики уже ценят солнце, шум травы, облака — мало им осталось.

Лермонтов по-казачьи поклонился собранию. Деда, завидя эполеты, молодецкато вытянулись во фронт и сели. Кинули гостю бурку на солому и предложили рамку печатного меда с родниковой водой.

— Чихирь идет, — ответил гость и прилег на бурку, повернув на поясе кинжал с позолоченной костью рукояти.

Молодайка принесла оранжевую флягу — тыкву, заткнутую кукурузным кочаном, ошелушенным от зерен. Дедам дала один ковшик, гостю другой, из которого он уже пил.

— Хватит одного, — сказал офицер.

— Не обессудь, ваше благородие, — прямо сказал один седобородый, — мы истиноверы, ковшик опосля тебя в огонь кинем. Не нами начато — не нами кончится. Ты ведь поди и дым из трубы глотаешь на потеху беса?

— Балуюсь только, а сейчас и трубку с табаком забыл. А что, у вас никто не курит?

— Есть подлецы, услаждаются, — сплюнул старик с тусклой медалью на латаной рубахе. — А то еще чай пьют, тьфу, прости, господи! Не хочешь, а согрешишь словом!

— Словесный грех невелик, — говорит другой.

— Во словах весь блуд и есть, — отплеивается герой с медалью. — Сатана и правит словом, прелести в слове много. По слову в огонь идут. Потому и была главная казнь — языки резать, а не блуди! Письмена же, которые возмущают, в огонь!

Слово — Бог, но это в старых книгах. В древности, когда святые народы играли на гуслях и свирелях, они словом служили вершинам, холмам и астартам, потому и возгневался господь и сказал страшно: и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу — вытрут и опрокинут.

Лермонтов светло похолодел от надзвездной силы гигантского образа, коих мирская поэзия никогда не достигала.

Предосенний денек хорош. Пчела вяло облепила сладкие ульи, наработавшись за лето. Юркие зеленые ящерицы выглядывают из травы на людей, поднимаясь на лапках. В прибрежных кустах свищут пеночки, иволги, считают года предназначенной жизни кукушки. В голове приятно зашумело от вина и разговора.

Осторожно повел гость беседу о гирле — правда ли их станичник добыл шашку секретной стали?

— Кто бы это? — гадали и кумекали старики. — Должно, Павло Татаринов, жадный, везущий казак!

— А может, Митька Усик — тоже из Чечни недавно табун пригнал...

— Да вот он, Митька!

К пасеке подходил молодой черноусый казак. Ловко надвинута на глаза баранья шапка. Поверх рваного бешмета на крупной медной цепи круглая иконка — ангел-хранитель, талисман. За широкими плечами длинный ствол турецкого ружья, стянутого проволокой. На обрывке Митька вел большого пса, высунувшего розовый язык до земли, — набегался. Еще издали снял казак шапку, поклонился собранию и с места стал рассказывать про удачную охоту в кизилевых лесах, где лакомились дикие свиньи. Ни меду, ни чихирю ему не предлагали — молод. Пей, но только в своем месте.

На вопрос о шашке Митька загадочно изрек: «Было дело, скажи-ка, дядя...». И дальше уперся, как норовистый конь. Солнце зашло за волнистую гряду гор. В чистейшем, светлом над горами небе мерцает одинокая звезда. Горы потемнели. За бесчисленными складками, словно вырастая из преисподней, высится седая обрывистая синева снежного гиганта о двух головах, недоступного, непонятного стража горских селений, притаившихся в скалах без огонька.

Мимо проехали на сытых конях дозорные казаки — на пикеты. Поклонились гостю и старикам.

Показалась толпа отваг, охотников, окруживших медленную арбу, запряженную черными рогатыми быками. На кровавом сене серые туши клыкастых вепрей. В щетинистой шее одного торчит широкий, как секира, нож.

Митька наконец признался, что клинка с таинственным закалом у него нет, но уезжать из станицы господину офицеру не следует. Гостя пригласили на охотничью пирушку, послав в чихирню за бочонком.

Над быстрой речкой развели костер и жарили молоденького кабанчика на дубовых колах. В сторонке бабы, пришедшие из лесу с охотниками, варили в медных казанах терн и кизил. Старики и атаман, в красной черкеске, с серебряными серьгами, пекли на углях походный чурек. В ворота редута вошло стадо, поднимая багряную от заката пыль. «Малька! Зорька! Ланка!» — раздались призывные крики казачек, и вскоре редут наполнился звоном молочных струй, бьющих в ведра.

Несколько подростков гордо сидели на конях — повезут в баклагах парного молока братьям-пикетчикам. Долго ж тянется караульная ночь. Звезды осыпаются

в снежные космы двуглавого исполина. Наползают туманы. С опаской выглядывает из-за утеса луна. Враждебно плещут волны. Вскрикнет лунь. Что-то побежит-зашуршит по кустам... До редута верст пять. Вся надежда на жену-винтовочку, на сестрицу-пашку да на родимого братца-коня.

В станице давно помолились богу и собрались у костров. В ночную синь вместе с искрами полетели казачьи песни.

Поэт легко запоминал строчки, повторял ассонансы и аллитерации, дивился безграничным возможностям ямба. Под хмельком сторяча даже придумал план: выйти из службы и пуститься странничать по терским городкам и станицам, записывая песни, чтобы потом роскошно издать их, бесценные сокровища...

Его червонцы теснили ему бок. Казаки все при пашках, но это простые железные клинки с деревянными ручками. Худой, небритый, в мятой фуражке, Лермонтов подсел к Павлу Татаринову, помощнику атамана, и спросил о гирле.

Павло, высокий, узкоплечий, рябовато-бледный казак с бегающими разбойными глазками, услужливо подал гостю подрумяненное ребро, отхватив его от туши острым татарским ножиком. Незаметно скрылся и через минуту принес замотанную в масляное сукно пашку.

Лермонтов сразу узнал ее по клейму и отрицательно махнул головой — не эта.

— Гурда и есть! С хана снятая! Истинный бог! — врал напропалую Павло, почуяв наживу. В медной бороде его таился злой блеск ранней седины.

— Ты бога не поминай, Пашка! — осуждающе сказал атаман.

Лермонтов смеялся.

Как мухи на мед, липли молодые казаки к офицерскому коню, подкидывая ему свежей отавы.

Хмель ударил в голову поэта:

— Коня отдам и десять червонцев!

Павло икнул от волнения и трусливо побежал в темноту.

Принес великолепную дагестанскую пашку. По черной стали серебрились стихи Корана.

Казак обиженно выпучил глаза — гость снова отрицал булат, послушав долгий звон и полюбовавшись письменами. Старики уважительно смотрели на юного офицера и подливали ему в ковшик.

— Больше нету! — признался Павло, хищно поглядывая на тонконового коня и замшевое седло в богатом уборе.

— Жаль. Придется пустым ворочаться. Только коня прогонял даром.

— Эх, господин офицер, душа у вас чудная, вижу! — выдохнул Митька Усик. — Брешет он — есть, сохраняет!

Павло с ненавистью глянул на Митьку, прохрипел

— Ладно, губите меня, губите! Вот она!

Выватил из деревянных ножен, стянутых сыромятиной, чудесный клинок без всякой оправы, с залапанной тисовой рукоятью — так по замыслу мастера скрывалась знатность пашки.

Свет костра вспыхнул на узкой, будто извивающейся желтой змеей, пламенной ленте (он любил сравнение клинка и змеи). Павло отбежал от костра в тьму. Его не стало видно. Вдруг там, где он должен был стоять, вспыхнули небесные звезды, пойманные зеркальной сталью.

— Пятнадцать червонных и коня с седлом и уздечкой! — вернулся и заплакал Павло.

Станица помертвела. Огромный барыш возьмет Павло, а все жаль отдавать такую красавицу в чужие руки. «Лучше икону из храма продать за такую цену», — подумал красивый казак-поп, тоже опоясанный кинжалом.

Павло положил клинок на спину жареного зверя и легко потянул на себя — лезвие тонуло и тонуло в мясе, перерезая кости хребта. Казак взмахнул шашкой, поискал глазами и рубанул кусок окаменевшего туфа — зазубрины не осталось. Заголив рукав, провел жалом шашки по заросшей руке — и медные волоски рассыпались по сияющей стали.

Бросил гирлу под ноги офицеру — как сорок струн зазвенела она печалью для хозяина. Выпил ковшик и сел на землю, обхватив голову руками, словно накануне казни.

Тихо лилась казачья песня.

Что не пыль да кура
 В чистом поле подымалася —
 Ой да подымались гуси белые.
 Гуси белые, утки серые.
 Как один-от из них лебедь белый
 Чижол-стар он стал — не подыметсЯ,
 Подломилсь его быстры ноженьки,
 Опустились резвы крылышки.
 По зорям-от он не воскрикивал.
 Все кричал к себе лебедь белую,
 Лебедь белую, утку серую...

Не поднял поэт шашку. Смотрел на зеленый ковш Большой Медведицы. Будто проснулся в незнакомом месте. Кавказский пленник с колодками на ногах, в темной яме. Он отрезан от всех. На пожизненной каторге. Никогда не обнимет возлюбленную. Навсегда лишен сыновнего счастья обнять мать и отца.

Влюблялся он много и часто, ревновал, молился, создал непревзойденные стихи. Его любили тоже. Но или слишком практической любовью — вне поэзии, а вне поэзии что в нем ценного? — или любовью неземной, издали, на коленях, как любят бога — отдавая ему душу печальную, страстную и никогда не соединяясь с ним.

Только боги муз не отвернулись от него. В тяжкий день благостно поглядят они его лоб вдохновением, в мгновенье ока унесут за грань веков и народов, а в минуту смертельной опасности — в бою или на дуэли — скроют волшебными облаками своих плащей.

Это его единственная надежда в стране рабства, где и господа рабы, царь раб, где поэт — какая тщета! — даже внешне не хочет уступить поручику с андреевским крестиком!

Его поразило отсутствие украшений и золота на клинке. А казачья песня уже струнула лавины строк в душе. Он глянул па пламень гирлы и словно прочитал на стали новые стихи:

В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным...

Тогда серым волком скакал бы он стремя в стремя с князем Игорем, плыл бы на красных судах с рыжими предками-шотландцами, первым встречал бы на льдине медведя, не заботясь о богатой резьбе своего копыя.

Казаки подняли гирлу и наслаждались ее звездным холодом. Митька Усик отцепил у дяди Павла ножны. «С хана снятая!»

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина.
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина...

Налетел ветер. Как граждане на новгородском вече, буйствуют окрестные дубы и вербы.

Гудит набатный колокол...

Пыль и ржавчина покрывают клинок — безвредную игрушку на стене. Не-
нужный жар. Бесполезная острота.

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?

О, эта ночь мудренее утра! Как он додумался — «Мальчишка! Юнкер!» — пере-
щеголять барона Голштейна оружием? Разве его разящий поэтический меч, неистреби-
мый, как дух, как Демон, как вечность, сравнится с побрякушками салонных бойцов?..

Вдруг раздалась близкие выстрелы, загудел и впрямь набат. Мигом опустели
костры. Стар и млад вскочили на коней и помчались на блеск и дым в камышах. Лер-
монтов тоже вскочил на своего коня и помчался в дело с пламенеющим клинком в
руках. Павло Татаринов пытался остановить поэта, переживая за коня, но не успел.

Стычка оказалась пустяковая, будничная. Пострадал один Митька Усик.

Несколько дней назад станичные подростки подкрались к горскому стаду в
балке и незаметно перемазали рога животных свиным салом. Бедные горцы с гневом
изгнали оскверненных коров и быков — и подростки пригнали их домой. Теперь горцы
в отместку налетели на казачий табун в ночном, со стрельбой и визгом утоня коней.

Погоня вернулась ни с чем. Рухнуло состояние Митьки — утнали его двадцать
лошадей. Осиротел казак, хоть в петлю лезь. Сел у потухающего костра, закручинился.

Возбужденные бородачи прикатили от шинкарки еще бочоночек и ярко ра-
зукрашивали ночное дело, радуясь, что их беда миновала. А Митька что ж, парень
молодой, еще наживет добра.

— Где тонко, там и рвется, — жалел парня в разговоре с Лермонтовым Павло Та-
таринов, заботливо охлопывая шерстяной варежкой вспотевшего коня. — В прошлом
году отец его закунался в Подкумке, на Троицу сестру украли татары, потом невесту его
выдали за гребенского есаула — ох и богат есаул! — а теперь всей жизни лишился — ко-
ней потерял. Уж вы бы ему, ваше благородие, подарили на коня монету али две.

— Ты меня не жалеяй, дядя Павло, — встал Митька и лихо выпил большой
ковш. — Господа старики, прошу по бедности моей и чтя отца моего заслуги, спра-

вить мне коня и отпустить на разбой. Я коней добуду. И двадцать магометов привезу в мешке, как тыквы, а может, и есаула этого приторочу к седлу. Не жить мне без Аксиньи, с детства метили мы соединиться...

У него — Аксинья... А у поэта — Варенька...

Зимний вальс. В зале, озаренном тысячами свечей, пленительны плечи Лопухиной. Порхают юбки, летают гвардейские ментики, кружится веселый и ужасный хоровод, оглушающий себя музыкой и вином. Из полутемного угла в нелепой маске фавна ловит он глазами кроткие и бесстыдные плечи Вареньки в чужих руках. Судорожно сжимает эфес гусарской сабли, которую он не снял. И тут же поэт учтиво кланяется важной даме — маскарад продолжается! И он понимает всю безнадежность мира, безмерное свое одиночество. И улыбается сардонически. И байроническим огнем убийственных шуток отгораживает от себя друзей, рождает врагов.

А тяжело не только ему. Вот и Митька, ставший вдруг родным, вытянул нелегкий жребий. Ведь такие же Митьки живут в аулах, которые он нынче едет грабить и жечь.

В глубоких балках еще сладко зорюет ночь, а снежные вершины уже розовеют. В поля потянулись арбы собирать кукурузу. Дозорные казаки возвращаются в рудут. У околицы их с нетерпением ждут матери и жены. С пикетов приходилось привозить раненого или убитого товарища, а то приводили только его коня или приносили одну шапку. Иногда волокли по земле на аркане бритую голову горца с коротким обрубком шеи в кровавой грязи.

Белый Эльбрус — уже не гневный мусульманский бог, а задумчивый печальный старец, пасущий стада гор.

Миром собирали Митьке на коня. Тем временем Лермонтов выкупил, и недешево, своего у Павла. Помощник атамана, не в пример другим казакам, золоту радовался больше, чем коням и шапкам.

Мать Митьки, дебелая черноглазая женщина, вшивала в рубаху сына молитву, исписанный лоскуток.

Дед — философ с медалью — заварил в котле кулеш. Поспел вкусный на бараньем жиру чурек. Первую пышку гостю. Жена Павла, молодайка, угостившая Лермонтова чихирем, с поклоном подала офицеру полный ковшик.

В рудуте зазвонили к заутрене, и казаки стали креститься. Лермонтов тоже снял фуражку и отер холодную от рассвета щеку. Обнажил гирлу, полюбовался клинком в солнечных брызгах. Представил Москву, сонную тишину роскошного кабинета, пыльную гирлу на текинском ковре...

Казачата подвели коня — водили поить на речку. Безлошадный Митька слушал на нем пылинки — хоть чужим счастьем утешиться.

Жуя чурек, поэт подошел к Митьке и повесил на широкое казачье плечо драгоценную шапку.

— Держи на здоровье. Поминай Михаила Юрьева.

Митька только рот раскрыл.

— Премного благодарны, ваше благородие, — загудели старики. — За что ему такая милость?

Павло икал от волнения, примериваясь взглядом к Митьке.

— Потом... потом скажу! Спасибо, братцы, за хлеб-соль и спасибо за песни!..

Стихотворение было готово целиком — осталось записать...

Всадник мчался по горной долине против пустынного ветра, покачиваясь в упоительном беге.

Краснели кусты на меловых склонах — первый багрянец осени. Вороны, как мельницы, махали крыльями над старинными могильниками. И потягивались на солнце рыжие львы пустынных скал.

Новые бугры, перелески и родники вставали на пути, как новые города, страны, моря, над которыми проносит его бессмертная богиня Мудрости в сверкающем шлеме.

Казаки долго смотрели вслед и еще не знали, какой чудесный клинок увозил их гость из станицы.

Потом их детей матери будут баюкать под «Казачью колыбельную». Когда дети, и дети детей, и детей дети вырастут, то на всю жизнь заучат «Бородино» и станут изустно передавать своим детям стихотворение «Поэт», долго понимая его буквально как о казацком кинжале.

Отделкой золотой блистает мой кинжал,
Клинок надежный, без порока.
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока...

И через сто лет не рассеялся дым пистолетного выстрела, ставший вечным трауром над вечной прелестью Кавказа. Навсегда остался поэт на высокой земле, кровью заплатив налог за постоянное местожительство. Сидит на гранитной глыбе с изображением его бессмертного оружия — лиры. Смотрит главный дозорный офицер на грани Большого Кавказа. Все видно ему — от Кинжала до Казбека, от травинки до звезды.

Дорогой гость. Славный земляк казаков. Постепенно он поселился в каждом доме — в простом наряде книжных обложек, хранящих секретную сталь кованых строк.

Секрет утерянный булата!

Летом первый луч золотит бронзовые кудри поэта. Зимой на бронзовом сюртуке гения снежные эпoletы главнокомандующего войсками русской поэзии.

Нет, скорее казаки у него в гостях, а не он у них.

Кайсын КУЛИЕВ

Тучка Лермонтова

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана.

М. Ю. Лермонтов

Ты над утёсом, тучка, накренилась,
Задев его нечаянно крылом.
И ты, как я, немного приподнилась
И не смогла вернуться в отчий дом.

Ты заблудилась. И тебе обидно —
Маячит ночи темень впереди.
Ты заночуешь, милая, как видно,
Опять на великановой груди.

И снова в путь, когда лучи рассвета
Омоют мир. Пока же слёз не лей!
Припомни просьбу ссыльного поэта —
Не плачь же, облачко земли моей.

И без твоей печали горя много,
Слезами сердце мне не разрывай.
Достаточно, что я не видел долго
Тебя, родная, и любимый край.

Куда спешишь уйти нетерпеливо!
Я не хочу остаться без тебя.
Для горца ты — взволнованное диво,
И пасть дождём на снег — твоя судьба.

Ты — волшебство, воспетое поэтом,
Ты — радость гор, ты — счастья забытьё.
Встречайся чаще мне зимой и летом
И радуй сердце грустное моё.

По гребням гор взлетаешь к солнцу смело,
В небесный путь усталого маня...
И в чёрный день ты оставайся белой,
О тучка Лермонтова — песнь моя!

Перевод А. Парпара

* * *

Шел Лермонтов на гибель и глядел,
Как над Бештау небосвод блестел.

Он вишни ел спокойно, а вдали
Белел Эльбрус и тучи залегли.

Скал белизна и зелени простор.
Непрочность жизни.
Прочность древних гор.

Зарделись вишни, как закат, горят.
Как пролитая кровь, горит закат.

Покой и разум. Скорбь и толчея.
Отрада и отрава бытия.

Раздался выстрел. Лермонтов упал.
Нет для него ни неба и ни скал.

Перевод С. Литкина

часть II.

«Как сладкую песню Отчизны моей,
люблю я Кавказ»



«Ищу
СПОКОЙСТВИЯ
напрасно...»



Виктор БОКОВ

— Гений ты! — Это с кем согласовано?
— Да ни с кем! Так я думаю сам!
Все-то гении расфасованы
По отделам и по векам.

Пушкин, Байрон, а также Тютчев,
Маяковский и Пастернак —
Никогда не валю их в кучу,
Не стоняю в один овраг.

Это личности! Да, какие!
Их могущество землю трясёт.
В каждом названном бьёт стихия,
Каждый держит свой небосвод.

Говорю тебе, мой поклонник,
Не оценивай всё на скаку!
Даже Лермонтов не полковник,
Он поручик в Тенгинском полку!

Куприн — татарин,
Лермонтов — шотландец,
А Пушкин — негр,
Любивший скрип саней.
Как широко великие шатались
И не боялись западных корней.

Жуковский — турок,
Тютчев — итальянец,
О, боже! Даже страшно
 сосчитать!
Приезжих наши предки
 не боялись,
Теперь нам их
 приходится читать!

**Владимир
СОКОЛОВ-ЛЕРМОНТОВ**

ИЗ РОДА ЛЕРМОНТОВЫХ

В преддверии наступающего 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова острее чувствуется потребность в приближении к его творчеству — такому знакомому и так мало изученному, к его почти непонятой личности, ко всему, что связано с поэтом. На этом пути важны каждая тропинка, каждый капиллярный ход, ведущие нас к постижению лермонтовского мира.

Раскрыть культурный код наследия поэта и войти таким образом в пространство нашей культуры мы можем через людей, которым выпало стать ключами, открывающими нам входы, звеньями, восстанавливающими разорванную связь времен, скрепляющими в единое целое прошлое, настоящее и будущее нашей культуры.



14 мая 2012 года окончила свой земной путь одна из старейших жительниц города Ставрополя Ирина Владимировна Лермонтова — внучатая племянница М. Ю. Лермонтова и самая старшая из потомков лермонтовского рода. Уникальность ее личности и пройденного ею жизненного пути определялась не только ее принадлежностью к роду поэта. Вся ее жизнь была примером преодоления переживаемого нами сегодня трагического разлома — духовного, культурного, государственного, исторического. По своему рождению она принадлежала к родам, давшим России и Европе выдающихся правителей, великих государственных деятелей, философов, воинов, поэтов, ученых — тех, чьи имена сегодня составляют славу нашего Отечества.

Поэтому наш рассказ о ней — это рассказ о роде поэта и одновременно об истории России, о судьбах русской и мировой культуры, о тысячах нитей, идущих из глубины столетий в наше время и соединившихся в ее судьбе.

Начало рода Лермонтовых уходит во времена, не отмеченные календарными датами. Не пресекаясь, род этот проходит через всю историю древней и средневековой Европы, участвуя наряду с другими в формировании будущих культур Франции, Англии, Шотландии, Испании, других европейских стран.

В начале XVII века род Лермонтовых расцветает в России. Здесь своими трудами, потом и кровью, терпением и мужеством вместе с другими родами созидает наше государство — великую Российскую империю.

Волею судьбы лоза лермонтовского рода привилась на русском Северном Кавказе — прародине таинственных древних кельтов, которые в незапамятные времена вышли из этих мест и, пройдя через Европу, достигли Шотландии — далекого края горных хребтов под шапками снега, фиолетовых вересковых пустошей, водопадов и спящих озер.

Непостижимыми судьбами истории в XIX веке Кавказ посетил их русский потомок — поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь его душа ощутила прикосновение к истокам своего рода, здесь его пролитая кровь напитала древнюю Кавказскую землю, снова и теперь уже навсегда соединив собой древность и современность, Средние века и Новое время, древнюю Шотландию и Россию XIX века, страну эльфов и Северный Кавказ.

В координатах традиционной культуры земля, пропитанная кровью павших героев, земля, в которую они ложатся, становится священной для всех, кто связан с ними кровными и духовными узами. Лермонтов, погибший на Кавказе и погребенный, подобно героям древности, в недрах горы, словно в огромном кургане, таинственно освятил эту землю своей кровью и своим пребыванием в ее глубинах. Этим словно замкнулся некий сделанный историей символический круг, заключивший в себе тысячелетние пути многих народов и огромные пространства.

Столь же символическим кажется возвращение на эту землю потомков рода Лермонтовых. Через столетие после гибели поэта, в 40-е годы XX века, его ближайший потомок Владимир Михайлович Лермонтов поселился с семьей в таком же маленьком пятигорском домике и спустя недолгое время лег в ту же землю, в недра горы Машук, рядом с местом первого упокоения своего великого предка...

* * *

Ирина Владимировна Лермонтова родилась в городе Ростове-на-Дону 6 марта 1921 года в семье Владимира Михайловича и Марии Владимировны Лермонтовых. Судьба этой семьи, как и судьбы других семейств России, которым выпало жить в эту эпоху, могла бы стать предметом отдельного повествования. Владимир Михайлович (1874–1954) — кадровый офицер Императорской армии, всю свою жизнь посвятил воинскому служению. Как известно, это было традицией лермонтовского рода.

В своих воспоминаниях В.М. Лермонтов пишет: «Происхожу я из рода Лермонтовых, которые ведут свое начало от шотландца Георга Лермонта, поступившего в 1613 году на русскую службу и в чине ротмистра обучавшего детей боярских «рейтарскому строю» [6, с. 11]. В древних актах эпохи правления первого Государя из Дома Романовых Михаила Федоровича сохранились упоминания об этом человеке, военачальнике и крупном военном специалисте, который участвовал в создании регулярной Русской армии.

Потомок древних шотландских рыцарей Георг Лермонт (1590–1634 гг.), или, в соответствии с русскими документами, Юрий Андреевич Лермонт, погиб в бою под Смоленском, защищая Русскую землю от нашествия иноплеменников. Он является родоначальником Лермонтовых в России, и от его прямого потомства произошли все русские Лермонтовы.

Древность этой фамилии и уважение, которым она пользовалась не только в Шотландии, но и в Европе, а также материальное благополучие Лермонтов опровергают предположения некоторых авторов о том, что Георг Лермонт был обычным ландскнехтом, то есть наемником, «солдатом удачи». Мотивы его поступления на русскую службу находились, скорее всего, в координатах того притяжения, которое испытывали к России представители европейской культуры. В глубокой древности возникло и отчасти сохранилось до сих пор уникальное русское явление, когда лучшие из иностранных родов входили в русскую культурную традицию и становились ее неотъемлемой частью.

Сегодня благодаря трудам исследователей из Англии и США Т. Молчановой и Р. Лермонта появилась возможность проследить родословную Георга Лермонта, а значит, и одного из его потомков, Михаила Юрьевича Лермонтова, до XI века.

«Рыцарь с именем, похожим по звучанию на «Лермонт» или впоследствии преобразованным в такое звучание, прибыл на Британские острова до их завоевания Вильгельмом Завоевателем в 1066 году с территории современной Франции. Об этом сообщают источники и документы по истории шотландских фамилий. Он мог прибыть в Англию в 1040 году с эскортом Эдуарда Исповедника, который провел 27 лет в изгнании при Руанском дворе в Нормандии и отправился в Англию, чтобы стать ее королем, в 1042–1066 гг.», — пишут указанные авторы в книге «Лермонты — Лермонтовы» [8, с. 10]. Среди свиты короля Эдуарда был рыцарь, принадлежавший к бургундскому рыцарскому роду Лере или Люре. В источниках встречаются разные написания этой фамилии: Lurieux, Luurieux, Luurieux, Luirieux. Исследователи отмечают сходство герба рыцарей из рода Лере (Люре) с гербом рода русских Лермонтовых.

Не менее интересен предлагаемый современными авторами лингвистический анализ фамилии Лермонт. Так, по мнению О. Горчакова, фамилия связана с городом Эрмонт во французской Нормандии, а «Le» — это французский артикль. Одновременно с этим Горчаков предлагает еще одну версию, по которой слово

«mont» (по-французски month) — значит «гора», а «Ler» или «Lar» — это так называемые «лары» — древнеримские божества, духи предков, покровители домашнего очага [2, с. 9]. Таким образом, по О. Горчакову, Лермонты — это те, кто живет у горы предков. Эти взаимоисключающие гипотезы, скорее всего, не соответствуют действительности, так как предложены без учета законов лингвистики.

Между тем корневая основа Leir (Leur, Leyre, Leire, Loire и т. п.) является одной из древнейших в Европе, восходит еще к докельтским временам, и ее возраст насчитывает не менее 5 тысяч лет. Авторы книги «Лермонты — Лермонтовы» указывают на огромное количество географических наименований на территории Европы, в которых присутствует этот корень. Он встречается в Норвегии, Исландии, Великобритании, Португалии. На территории Франции более 300 географических названий имеют указанную корневую основу. Самое известное из них — река Луара, а также небольшая деревушка Лирей недалеко от города Труа в Шампани, в храме которой в середине XIV века находилась знаменитая Туринская плащаница. У кельтов этот корень связан с древним божеством Лиром. Корень этот обозначает чистую, незамутненную бегущую, падающую, струящуюся воду, «которая сверкает и переливается на солнце, дарит свет и вдохновение каждому, обратившему взор на ее красоту и привлекательность» [8, с. 10]. Возможно, поэтому данная корневая основа часто встречается в названиях многих водных источников на территории Европы [8, с. 9]. Добавим, что древность этого корня подтверждается и присутствием его в славянских языках (ср. русские: лить, ливень, литье и т. п.). В противовес стереотипному толкованию второй части слова «month» — «гора», авторы связывают его значение с понятием «устье», «слияние». Таким образом, значение фамилии Лермонт может быть интерпретировано как «устье большой воды» [8, с. 10]. Добавим, что, по нашему убеждению, это понятие должно восприниматься не в географическом, а в сугубо символическом плане.

Лермонты были связаны родственными узами с королевскими и владельческими домами Шотландии, Англии и Европы. В их родословной — имена шотландских королей Роберта Брюса (1306–1329), Джеймса II (1430–1460), Джеймса III (1451–1488), Джеймса IV (1473–1515), Джеймса V (1512–1542), Джеймса VI (1567–1625), королевы Марии Стюарт (1542–1587). Однако самым славным и самым таинственным представителем рода был шотландский рыцарь Томас Лермонт (Томас из Эрсильдауна / Эрсильдона) (1220–1299). Он владел землей в городе Эрсильдон (ныне — Эрлстон), который находился в нескольких милях от населенного пункта Лермонт в Шотландии. До сих пор сохранились руины его замка, в том числе и так называемая Башня Томаса.

История Томаса Лермонта вызывает в памяти героев произведений Дж. Р. Толкиена. Попав в страну эльфов, он получил от дочери эльфийского короля пророческий дар и, вернувшись в мир людей, в течение семи лет нес свое служение, слагая песни и баллады, в которых в поэтической форме открывал людям высшую правду, за что был прозван Честным Томасом.

Так, исторически засвидетельствовано, что Томас Лермонт предсказал трагическую гибель короля Александра III в 1286 году, победу шотландцев над англичанами в битве при Стерлинге в 1297 году и многое другое. По преданию, Томас был возвращен в страну эльфов, а его потомство до сих пор покоится у стен приходской церкви города Эрлстона, где сохранилась плита с древней надписью об этом.

В XIX веке история Томаса Лермонта вдохновила другого знаменитого шотландца — сэра Вальтера Скотта на создание баллады «Томас Стихотворец».

Изучение древностей лермонтовского рода позволяет осмыслить и многое понять в его современных судьбах. П. А. Флоренский писал: «Род есть единый организм и имеет единый целостный образ... У него есть свои расцветы и упадки. Каждое время его жизни ценно по-своему, однако род стремится к некоторому определенному, особенно полному выражению своей идеи, пред ним встает заданная ему историческая задача, которую он призван решить. Эта задача должна быть окончательно выполнена особыми органами рода, можно сказать, энтелехией рода, и породить их — ближайшая цель всего рода... Жизненная задача всякого познать строение и форму своего рода, его задачу, закон его роста, критические точки, соотношение отдельных ветвей и их частные задачи, а на фоне всего этого — познать собственное свое место в роде и собственную свою задачу, не индивидуальную свою, поставленную в себе, а свою — как члена рода, как органа высшего целого. Только при этом родовом самопознании возможно сознательное отношение к жизни своего народа и к истории человечества» [12, с. 166].

Если следовать указанным принципам, можно в целом определить направленность развития лермонтовского рода, понять ту идею, в которой содержится смысл его существования на земле. Смысл бытия этого рода может быть выражен в государственном и общественном служении, а также в служении творческом и пророческом. При этом нетрудно при внимательном рассмотрении увидеть существующую между этими понятиями теснейшую связь.

Древняя и новая история рода показывает, что большинство Лермонтовых обязательно стремились посвятить себя службе Отечеству, отдавая предпочтение воинскому служению, и одновременно обладали творческими способностями. Замечено, что многие среди них — художники и поэты, а также люди, обладающие особой духовной чуткостью.

Кроме Михаила Юрьевича, соединившего в себе все эти качества в некоей исключительной, можно сказать, предельной форме, и другие представители рода проявили в себе подобные черты и имели сходный склад. Среди них: троюродный брат М. Ю. Лермонтова, герой Отечественной войны 1812 года, адмирал и поэт Михаил Николаевич Лермонтов (1792–1866), дед упомянутого нами Владимира Михайловича Лермонтова — Владимир Матвеевич Лермонтов (1807–1874), который был офицером лейб-гвардии Кирасирского полка, автором научных трудов и талантливым художником, сыновья Владимира Михайловича Лермонтова — Михаил (1898–1942) и Владимир (1899–1974), оба выпускники Императорского пажеского корпуса, белые офицеры, оба участники Великой Отечественной войны (1941–1945), оба художники и поэты. Михаил героически погиб на Карельском фронте — был заживо сожжен фашистами в 1942 году. Владимир после войны полностью посвятил себя художественному творчеству, стал автором многочисленных живописных и графических работ, членом Союза художников Северной Осетии.

Участником Великой Отечественной войны была и упоминаемая нами младшая дочь Владимира Михайловича Ирина Владимировна Лермонтова — человек, соединивший в своей натуре дух жертвенного служения Отечеству с ярко выраженным творческим началом. Она была обладателем безупречного художественного

вкуса, автором своеобразных поэтических произведений, глубоким и искренним ценителем искусств, знатоком русской литературы, книжного искусства. Одновременно с этим Ирина Владимировна владела тончайшим чутьем врача человеческих душ, безотказного помощника людям в их бедах и скорбных обстоятельствах.

Сам Владимир Михайлович Лермонтов в «Записках кавалериста» пишет о своей детской мечте стать воином, служить России, чтобы продолжить семейную традицию, о желании стать таким, какими были его отец, дед, прадед и чтимый им Михаил Юрьевич Лермонтов.

Вся жизнь Владимира Михайловича была стремлением жить в соответствии с этими принципами. Двадцатипятилетняя служба в славном своими трехвековыми традициями Ахтырском гусарском полку, помнящем геройские подвиги Дениса Давыдова, затем участие в войне 1914 года (которую современники называли Второй Отечественной), участие в крупнейших сражениях на Юго-Западном фронте, три боевых ранения, ордена святых Анны, Станислава, Владимира, Георгия...

Представление о том, как воевал Владимир Михайлович, можно составить на основании Высочайшего приказа о награждении его георгиевским оружием: «...12-го Ахтырского гусарского, генерала Дениса Давыдова, ныне Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полка: Владимиру Лермонтову, за то, что в деле 29 августа 1914 года, когда наша пехота, находящаяся у дер. Линденфельд, что западнее Демниа, стала поспешно отходить под давлением значительных и неразстроенных сил противника, сопровождаемых ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, ПОВЕЛ вверенный ему эскадрон в атаку и личным примером довел его до удара холодным оружием, несмотря на встреченные окопы и убийственный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника».

Потом были тяжелые затяжные бои в Карпатах зимой 1914–1915 годов, начало Брусиловского прорыва весной 1916-го и огромная надежда на победоносное завершение войны. Этой надеждой жила русская армия в конце 1916 – начале 1917 года. Однако день победы не наступил. Вместо него пришел клятвопреступный бунт февраля – октября 1917 года, предательство высших сановников, генералитета, духовенства. Потом — пленение и убийство Верховного Главнокомандующего Императора Николая Второго и, как следствие, разрушение тысячелетней Русской государственности.

В некоторых источниках есть упоминания о том, что Владимир Михайлович в 1918 году «перешел на сторону революции», поступил в Красную армию и воевал «за власть Советов» на фронтах Гражданской войны. Сегодня на основании документов, хранящихся в архивах Российской Федерации, в частности в Центральном архиве ФСБ, опубликованных воспоминаний современников, а также материалов, связанных с судьбой императора Николая II и его семьи установлено, что Владимир Михайлович не принимал участия ни в февральском, ни в октябрьском бунте, считая их клятвопреступными, ни в Гражданской войне. Он был одним из участников группы офицеров, безуспешно пытавшихся спасти императора Николая II из рук большевиков весной и летом 1918 года. Одновременно с этим он осознавал темную роль вождей Белого движения, нарушивших присягу и предавших своего императора и Россию (что, конечно, не исключало высоких чувств и личного героизма офицеров, солдат и всех рядовых участников Белого движения). Именно поэтому он не считал для себя возможным участвовать в Гражданской войне ни на «красной», ни на «бе-

лой» стороне, воспринимая происходящее как национальную катастрофу. Владимир Михайлович был одним из немногих, кто в те годы осознавал, что победителей в гражданской войне нет и быть не может.

Это был не нейтралитет, не равнодушие к судьбам Отечества, но осознанное продолжение своего служения России. Это служение после революции 1917 года изменило для Владимира Михайловича свою форму, но не изменило сути, которая для него заключалась в том, чтобы быть с Россией во всех ее судьбах. По этой причине он считал, что покинуть свою Родину, бросить ее в такое время — это предательство. Он хорошо понимал, какое будущее может ждать офицера Императорской армии в новой реальности, сконструированной по антирусским лекалам. Зная о судьбе царской семьи, видя, как на его глазах уходит в небытие старая Россия, как исчезает из жизни целое поколение таких же, как и он, людей, Владимир Михайлович понимал, что это может стать и его судьбой. Мужественный воин, человек чести и долга, он не был наивным мечтателем, надеявшимся устроиться при новом режиме, служить большевикам за кусок хлеба и возможность какое-то время жить дальше. В эти судьбоносные дни он не думал о себе. Он думал о России как о матери, которую нельзя бросить ни при каких обстоятельствах. И если России суждено погибнуть — быть готовым погибнуть вместе с нею.

Но судьба распорядилась иначе. Владимиру Михайловичу выпало пройти через многие испытания. С твердой душой и стойкостью настоящего воина он принял все, что было ему послано жизнью — аресты, тюрьмы, ссылку, потери близких, родных, друзей.

В первой половине 1920-х годов он стал организатором десятков конных заводов на Дону и Кубани, в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, был трижды ранен и чуть не погиб в боях на Карельском фронте в 1942 году. А после войны поселился в маленьком домике на окраине города Пятигорска, девять лет прожил у тех мест, с которыми было связано дорогое для него имя М. Ю. Лермонтова, и был похоронен рядом с местом первоначального упокоения поэта.

Тогда мало кто знал, что Владимир Михайлович был одним из крупнейших знатоков истории лермонтовского рода, семейных преданий, восходящих еще к раннему Средневековью, хранителем лермонтовских фамильных реликвий. Особое внимание он уделял всему, что было связано с поэтом, его жизнью, творчеством и обстоятельствами его неслучайной гибели. Владимиру Михайловичу посчастливилось видеть и беседовать с теми, кто знал поэта, общался с ним, хранил о нем память. В первую очередь это были сослуживцы его деда Владимира Матвеевича Лермонтова. Владимир Матвеевич служил в лейб-гвардии Кирасирском полку, встречался с поэтом в Царском Селе и на правах родственника жилал с ним под одной крышей.

Военная аккуратность, точность и скрупулезность позволили Владимиру Михайловичу создать весьма значительное архивное собрание, куда входили наряду с древними родовыми грамотами материалы, связанные с поэтом, в том числе и редчайшие артефакты — собрание принадлежавших Михаилу Юрьевичу предметов (курительная трубка, старинное саше, нож из слоновой кости для разрезания бумаги, печатка с фамильным гербом, шкатулка из дерева и т. п.). Особую ценность Владимир Михайлович придавал живописным произведениям, написанным самим поэтом, которые также находились в его собрании.

Лермонтовское собрание Владимира Михайловича получило пополнение после его женитбы на Марии Владимировне, урожденной фон-дер Лауниц (1886–1959). Этот брак судьбоносным образом породнил с родом Лермонтовых семью, связанную с поэтом особыми узами. Мария Владимировна происходила из древнего прибалтийского славянского рода, который в литературе иногда ошибочно называют немецким. В действительности же фамилия фон-дер Лауниц происходит из Северной Европы, которая когда-то была славянской и где большинство географических названий имеют славянское происхождение. Предки этого рода связаны со славянскими племенами острова Рюген. В России эта фамилия впервые упоминается в связи с прибытием в Москву наследницы византийского императорского престола Софии Палеолог (ок. 1455–1503), в свите которой находился рыцарь с фамилией фон-дер Лауниц. Среди потомков этого рода в России — воины, поэты и художники. Среди них — Эдуард фон-дер Лауниц (1797–1869), известный скульптор, наставник Великого Князя Александра Николаевича, будущего Императора Александра II (1818–1881).

Дед Марии Владимировны — Федор Федорович фон-дер Лауниц (1811–1886) был другом и одноклассником М. Ю. Лермонтова по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в С.-Петербурге [9, с. 264]. В этой же школе вместе с ними учился юнкер Евграф Карачинский, родным которого принадлежала усадьба в селе Каргашине Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне — село Каргашино находится на территории Сасовского района Рязанской губернии). В роде Лермонтовых хранится предание о посещении поэтом этого места по приглашению Карачинских, хотя в лермонтоведении этот факт не упоминается.

Михаил Юрьевич посетил Каргашино вместе с Ф. Ф. фон-дер Лауницем, который впоследствии женился на кузине Евграфа Софии Карачинской. В жизни Ф. Ф. фон-дер Лауница общение с поэтом оставило глубокий след. После окончания школы он служил в том же Гродненском гусарском полку, что и поэт, и принадлежал к числу тех полковых офицеров, которые хранили о нем добрую память. Недруги же Лермонтова и после его гибели еще долго изливали свой яд на тех, кого считали близким к поэту [9, с. 264].

После свадьбы Федор Федорович и София Николаевна поселились в Каргашине (руины этой усадьбы, построенной, по преданию, знаменитым архитектором В. И. Баженовым, сохранились до сих пор). Ф. Ф. фон-дер Лауниц всю жизнь посвятил воинской службе, участвовал в Русско-турецкой войне, в польской кампании и вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. Всю жизнь он свято хранил память о Лермонтове. Каргашинский усадебный дом, редкой красоты парк с аллеями вековых лип стали для владельцев местом, которое они стремились сохранить неизменным не только как родовое гнездо, но и как память о поэте.

В этой атмосфере родился и вырос сын Федора Федоровича и Софии Николаевны Владимир Федорович фон-дер Лауниц, о чем трогательно рассказывает его биограф священник Константин Богоявленский, написавший книгу «Борец-мученик за Святую Русь в смутную годину В. Ф. фон-дер Лауниц» (Тамбов, 1912 год).

Имя В. Ф. фон-дер Лауница (1655–1906) сравнительно недавно вернулось в исследования по истории России начала XX века. Ученым еще предстоит предпринять немало усилий, чтобы восстановить правду об этом неизученном и оболганном периоде русской истории. Тогда будут оценены масштабы вклада Владимира Федоровича в укрепление русской государственности, в дело борьбы

с внутренними и внешними врагами России. Как и отец, он начал свою службу в Гродненском гусарском полку, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, по окончании которой был призван на государственную службу по ведомству министерства внутренних дел, занимая посты Архангелогородского и Тамбовского губернаторов. В период революционных брожений начала XX века император назначил В. Ф. фон-дер Лауница градоначальником столицы Российской империи. За его разумными и строгими мерами по наведению порядка стояло глубокое понимание сложнейших процессов, происходящих в России и мире, осознание того, что экономический рынок, сделанный страной в конце XIX — начале XX века, должен быть обязательно подкреплён духовным ростом, глубокой укорененностью в своей исторической традиции. В противном случае Россию может ждать либо превращение в некоего мирового экономического и военного монстра, подобного нынешним Соединённым Штатам Америки, либо кровавые события революционного переворота.

Время показало правильность исторических предвидений и предостережений Владимира Федоровича. И сам он засвидетельствовал верность России своей смертью — погиб от руки убийцы в храме во время богослужения в день церемонии открытия одного из петербургских лазаретов.

Его супругой была Мария Александровна фон-дер Лауниц (1863–1924), урожденная княжна Трубецкая, по предкам которой можно изучать всю русскую историю: князь Рюрик, святой князь Владимир — Креститель Руси, князя Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Владимир Мономах, Александр Невский, Даниил Московский, Дмитрий Донской, строитель Москвы Великий Князь Иван III, боярин Д. Т. Трубецкой (1550–1625) — предводитель ополчения, освобождавшего Москву от поляков и глава первого земского правительства, Н. П. Трубецкой (1828–1900) — основатель Московской консерватории, фельдмаршал П. Х. Витгенштейн (1768–1843) — герой Отечественной войны 1812 года и другие.

В этой семье и появилась на свет Мария Владимировна, ставшая супругой Владимира Михайловича Лермонтова. Им, как и многим другим русским семьям, выпало пройти большой и трудный жизненный путь, на этом пути их ждали великие испытания и потери. Но перед их духовным взором всегда присутствовал образ страдающей Родины, перед которым их собственные страдания и потери казались незначительными.

В начале 1920-х годов Владимир Михайлович работал в управлении коннозаводства и коневодства в г. Ростове-на-Дону, а Мария Владимировна занималась домашним хозяйством. 6 марта 1921 года у них родилась дочь Ирина. В 1931 году Владимир Михайлович был по ложному обвинению арестован, незаконно осужден и сослан на Беломорско-Балтийский канал. Следом за мужем отправляется в ту же ссылку и его супруга с двумя детьми — десятилетней Ириной и трехлетним Юрием. Они поселились в городе Повенце и жили у зоны, изредка имея возможность видеть любимого отца и мужа, работавшего на стройке канала. Бедствуя, терпя нужду в самом простом и необходимом, были рады тому, что имели. Ирина Владимировна вспоминала, что в семье всегда царил дух взаимной любви и необремененности житейским. Никогда из уст отца или матери не вырвалось ни слова ропота, жалоб на судьбу или тем более проклятий. Они никогда не лили слез о прошлом, хотя именно там осталась вся светлая и безоблачная часть их жизни. Они воспринимали все про-

исходящее с ними как призыв к подвигу терпения и любви, как испытание и проверку их душ. В этой среде прошло детство и отрочество Ирины Владимировны. По окончании Повенецкой средней школы она поступила на филологический факультет педагогического института им. Герцена в Петербурге-Ленинграде — городе, где когда-то, в какой-то иной русской жизни, были молоды и счастливы ее родители: отец — полковник гусарского полка и мать — фрейлина императрицы.

Здесь Ирина Владимировна встретила начало Великой Отечественной войны. Великие и трагические события ленинградской блокады пробудили в душе юной девушки тот древний лермонтовский дух, который на протяжении многих веков поднимал и вел в бой за Отечество, за родную землю многие поколения ее предков.

Не бросая учебы, она участвует в строительстве оборонительных сооружений на территории Ленинградской области. Двадцатилетние студентки, будущие школьные учительницы русского языка и литературы под налетами немецкой авиации строят доты, дзоты, противотанковые рвы, окопы полного профиля под Волосово, Кингисеппом и на ближайших подступах к городу. Когда вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады, стало не до занятий. Город стал фронтом, а Ирина Лермонтова — воином-добровольцем. Поступает работать на оборонное предприятие, выпускающее артиллерийские снаряды. Одновременно работает санитаркой в военном госпитале, ухаживая за тяжелоранеными. Во время авианалетов в составе отрядов ПВО несла дежурство на кровлях ленинградских зданий, тушила зажигательные бомбы.

От природы наделенная доверчивой и благородной душой, готовая поделиться последним куском хлеба, сама неоднократно оказывалась на грани гибели от голода из-за похищенных карточек. Поведение Ирины Владимировны в такой ситуации описывает современный петербургский исследователь С. Яров в своей новой книге «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.».

Он приводит свидетельство хорошо ее знавшей Т. Д. Ригиной о том, что Ирина Лермонтова, несмотря на предельное истощение и отсутствие источника, откуда она могла бы получить хоть немного пищи (т.к. карточки на продукты были украдены), «категорически отказывалась от помощи..., предпочитала голодать, чем обременять других...» [13, с. 360].

Потом была эвакуация по льду Ладожского озера, открытый всем ветрам кузов полуторки, где сидели такие же, как она, блокадные мученики, гул самолетов, низко летящих над тонкой ниточкой ледяной дороги, бомбы, пробивающие темный подтаявший лед, крики, мелькнувшее сквозь стекло лицо старика шофера и живые люди, уходящие на дно...

После окончания войны семья Лермонтовых по решению правительства получила жилье в Пятигорске. Там, где погиб их предок, окончились дни земной жизни супругов Лермонтовых. На старинном Лазаревском кладбище, у подножия Машука, рядом с местом первоначального упокоения поэта, спит вечным сном его достойный потомок Владимир Михайлович Лермонтов — человек, всю свою жизнь отдавший службе Отечеству и бесконечно много сделавший для сохранения памяти о поэте. В его дневниковых записях есть такие слова: «Я счастлив, что имел возможность принести пользу нашей любимой Родине и честно выполнять возлагаемые на меня работы и задания», которые лучше всего характеризуют его честную и мужественную душу.

В 1950 году Ирина Владимировна вышла замуж за капитана-десантника, командира танковой роты Николая Соколова, фронтовика, участника Великой Отечественной и японской войн. Новая семья стала жить в Ставрополе. Сначала снимали квартиру в частном доме по пр. Сталина (ныне К. Маркса), 24. Позднее получили коммунальное жилье по ул. Дзержинского, 134. Волею судьбы оказалось, что совсем рядом, на противоположной стороне улицы, находится дом, в котором неоднократно останавливался М. Ю. Лермонтов (бывшая ул. Лермонтовская, ныне ул. Дзержинского, 181–183).

Так Соколовы-Лермонтовы стали «соседями» поэта по Воробьевке. Михаил Юрьевич продолжал незримо присутствовать в жизни семьи. Он жил в хранимых Ириной Владимировной документах семейного архива, в предметах, которых когда-то касались его руки.

Исполняя завещанное отцом, она стала хранительницей истории лермонтовского рода. Серьезно и глубоко изучала биографию поэта, его творчество, поддерживала научные связи с учеными Москвы, С.-Петербурга, Самары, Пензы, Тархан, участвовала в научных конференциях, посвященных поэту, работала в архивах. Большая совместная деятельность по изучению жизни и творчества поэта связывала Ирину Владимировну с сотрудниками Института русской литературы Академии наук (Пушкинского Дома) и Ленинградского-Петербургского Государственного университета. Ее вклад в работу по подготовке издания «Лермонтовской энциклопедии» получил высокую оценку ученых.

До последних дней своей жизни Ирина Владимировна вела большую общественную деятельность, имела огромный круг общения. Она была человеком поразительно доброго сердца, готового откликнуться на боль и горе любого, даже незнакомого человека. Дверь в небольшую квартиру на улице Морозова в городе Ставрополе была открыта для всех, кто нуждался в помощи, поддержке и утешении. Она часто говорила, что видит в этом основное предназначение своей жизни. До самых последних минут своей жизни она сохраняла мирное расположение духа, ясность ума, светлое и доброжелательное настроение. Когда настало время перехода в вечность, сотни людей пришли проводить ее в последний путь, а скорбели о ней в России и в разных странах мира, без преувеличения, тысячи. Люди, собравшиеся в храме св. Александра Невского для участия в проходах, обращали внимание на молодой, почти девический облик Ирины Владимировны, которой и при жизни никогда не давали ее весьма преклонных лет, на легкую улыбку, словно навсегда задержавшуюся на ее устах. Все собравшиеся отмечали, что, несмотря на испытываемую скорбь, их души были пронизаны каким-то неизъяснимым чувством родственной близости к почившей.

По ходатайствам государственных, научных, музейных учреждений и общественных организаций России Ставропольская городская Дума на заседании 26 апреля 2013 года приняла решение об увековечении памяти И. В. Лермонтовой — открытии в ее честь мемориальной доски на доме, где она жила. Церемония открытия состоялась 11 октября 2013 года, накануне дня рождения М. Ю. Лермонтова. Поле доски, изготовленной из светло-зеленого змеевика, украшают два медальона с профилями Михаила Юрьевича и Ирины Владимировны Лермонтовых.

Примечательно, что в дни, предшествовавшие этому событию, исполнилось 400 лет роду Лермонтовых в России. Ровно четыре столетия прошло с того дня,

когда их предок Георг Лермонг стал подданным русского царя Михаила Федоровича Романова. Основав новый русский род, он посеял доброе семя в русскую землю. Сражаясь за то, чтобы вовеки стояла и цвела русская земля, он щедро полил ее своею кровью и героически погиб при обороне Смоленска зимой 1633–1634 гг. Из этого семени выросло большое дерево лермонтовского рода, давшее России тех, о ком мы кратко рассказали в этом очерке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия // Федеральное архивное агентство. Именные списки 1769–1920. Библиографический справочник. — М., 2004.
2. Воронцов И. В. Поколенная роспись рода Лермонтовых. — М., 2004.
3. Даминиди М. Ф. В. М. Лермонтов — представитель рода великого поэта // Лермонтовский сборник. Материалы Всероссийской научной Лермонтовской конференции «М. Ю. Лермонтов в русской и зарубежной науке и культуре». — Пятигорск, 2009.
4. Загорулько В. И. Лермонтовы. Очерки о поэте и его родственниках. — СПб.: Просвещение, 1998.
5. Загорулько В. И. Петербургское притяжение // Нева. — № 2. — 2004.
6. Лермонтов В. М. Записки кавалериста. — М.: Общество сохранения литературного наследия, 2011.
7. Лермонтовская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
8. Молчанова Т., Лермонг Р. Лермонты — Лермонтовы. К 950-летию юбилею фамилии. — М.: Логос, 2008.
9. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1989.
10. Набокова В. Участник войны И. В. Лермонтова // Внуки о дедах-героях. — Ставрополь: СевКавГТУ, 2010.
11. Откуда берется мужество. — Петрозаводск, 2005.
12. Флоренский П. А. Генеалогические исследования // Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Из соловецких писем. Завещание. — М.: Московский рабочий, 1992.
13. Яров С. Блокадная этика. Представление о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. — М.; СПб., 2012.



Алла МЕЛЬНИК

ЛЕРМОНТОВУ

Лёгкий ветер пробежал по струнам,
Тронул их, чуть слышно задевая.
Вечно быть вам, мой поручик, юным,
Ярким, словно песня заревая.
Вечно восхищать сердца людские
Ясной речью, что светлей лазури,
Быть всегда сокровищем России,
Легендарным отголоском бури.
Птицы пели громко в день дуэли,
Предвещая гибель и бессмертье.
Облака, что быстро потемнели,
Долго плакали в тот день, поверьте.
Ваши поэтические строки
Совершенны (каждая страница!).
Вы любимы, вы не одиноки,
Вы парите в небе, словно птица
Самая свободная на свете.
В небе без конца и без начала
Тихо пробежал по струнам ветер,
И струна чуть слышно зазвучала.

ЛЕРМОНТОВЫМ
(к 950-летию рода)

Девять веков с половиной
Славен ваш доблестный род.
Годы промчались лавиной,
Память о роде — живёт.
Память о тех, кто сражался,
Жизни своей не щадя,
Память о тех, кто остался
Песнею в шуме дождя.
Кто-то её запекает...
Это же Томас Рифмач!*

Сердце поэта пылает —
Молод, талантлив, горяч!
Так на холмах Эрсильдона
Рыцарь таинственно пел.
Дерева старого крона
Слушала, ветер шумел.
И предсказания эти
Ветер преданий пронёс
Сквозь многословье столетий
В земли, где крепкий мороз.
В русских бескрайних просторах
Песни шотландских холмов
Ожили — светом во взорах,
Тайной провидческих слов.
Судьбы нередко жестоки.
Вмиг обрывается нить...
Только бессмертные строки
Бережно надо хранить,
Чтобы поэзии сила
Выжить душе помогла,
Главное людям открыла,
В русском народе жила.

СТАРИННАЯ ФОТОГРАФИЯ

*Памяти
Ирины Лермонтовой*

Горели в канделябре свечи,
В очах застыл немой вопрос.
Каскад струящихся волос
Так мягко падал вам на плечи,
На платье цвета чайных роз.
Так с фотографии старинной,
Легка по-детски и светла,
Полина душевного тепла,
Смотрела дева, что Ириной,
Ирушей матушка звала.
Тот мир ушёл. Иные нравы,
Иные ритмы на земле,
Всё растворяется во зле.
И наши времена лукавы,
И будущее — всё во мгле.
Но сердце просит вдохновенья,
Покоя суете взамен
Среди уютно-тихих стен,
Где нет коварства и забвенья,
Где прошлого так сладок плен.

* * *

Быстрый росчерк пера —
И окончено дело.
Он писал до утра,
И свеча догорела.
Пряным запахом трав
Лето в дом проникало.
Он, возможно, неправ...
Жаль, что времени мало.
На Кавказской войне
Размышляешь о многом.
Он скакал на коне
По военным дорогам.

* Томас Лермонт, или Томас Рифмач, — один из предков М. Ю. Лермонтова, рыцарь, живший в XIII веке в Шотландии. На холмах Эрсильдона он нередко выступал с пеннием своих стихов-предсказаний.

И чужой Валерик
Русской кровью багрился.
Боли сдавленный крик
Эхом горестным длился.
Сколько было смертей,
И не где-то, а рядом!
Неизбежных путей
Не минуешь. Наградам,
Славе время придёт...
Только песнь недопета.
Ярких звёзд хоровод
Кружит имя поэта.

СТРАННИК

Как одинокий странник, по земле
Прошёл поэт с печальными глазами.
Высокая звезда в туманной мгле
Одна вела его между мирами.

Он яркой вспышкой был, сгорел дотла,
Но осветил собою пол-Вселенной,
И жизнь его пророческой была,
Таинственной и необыкновенной.

Его создал особенным Творец,
Он не вмещался в рамки грубых правил.
Он принял свой страдальческий венец
И нам соцветья строк навек оставил.

Галина ШЕВЧЕНКО

О потаённой глубине поэтической души М. Ю. Лермонтова

По преданию, в 1389 году знатный татарин из Золотой Орды по имени Ослан-мурза прибыл ко двору великого князя Дмитрия Донского, пожелал принять святое крещение и стал православным христианином Прокопием. От его брака с дочерью стольника Зотика Житова Марией родилось пятеро сыновей, от которых пошло несколько известных в России дворянских фамилий. Родоначальником рода Арсеньевых стал их старший сын Арсений Прокопьевич.

Волею судьбы Михаил Юрьевич Лермонтов по материнской линии причастен к старинным родам Арсеньевых, Толстых, Стольпиных, Романовых. Все представители этих родов были умны, образованны, отличались независимым характером и прямой суждений. Дружеские отношения одного из них, богатого пензенского помещика, губернского предводителя дворянства Алексея Емельяновича Стольпина, с фаворитом Екатерины II графом Алексеем Орловым способствовали возвышению его рода при царском дворе. Унаследовав от родителей большое состояние, Алексей Емельянович значительно увеличил его доходами с винных откупов. Однако гордился он тем, что был владельцем замечательного крепостного театра с обширным классическим репертуаром. У него было пятеро детей: сыновья Аркадий, Дмитрий, Афанасий и две дочери. Младшая дочь, Екатерина, в замужестве Хастатова, была кавказской помещицей — владелицей большого, богатого и красивого имения Шелковское на границе терских казачьих земель с Чечнёй и собственных домов с хозяйственными постройками на Горячих Водах и в Кисловодске.

В десяти верстах от Георгиевска было имение Стольпиных. Старшая дочь, Елизавета Алексеевна Стольпина, в 1794 году вышла замуж по любви за поручика Михаила Васильевича Арсеньева, которого ожидало большое наследство. Но чрезвычайно самостоятельная, независимая и решительная новобрачная не пожелала жить в семье своего супруга. Она чрезвычайно умело распорядилась деньгами, полученными в приданое от отца, купив на своё имя всего за 58 тысяч рублей безлохотное имение у Нарышкиных. Старинное русское село, основанное в начале XVII

века, за время своего существования сменило несколько названий — Яковлевское, Долгоруково, Никольское, снова Яковлевское, а с начала XIX века получило название Тарханы.

Став владелицей 4081 десятина земли и свыше 400 крепостных мужского пола, молодая Елизавета Арсеньева сразу проявила себя энергичной и дальновидной помещицей: перевела крестьян с оброка на барщину, устроила в селе базар и затеяла большое строительство, позаимствовав деньги у родных. Барскую усадьбу разбили в отдалении от крестьянских изб. Земляной вал определил границы барской усадьбы, разделённой почтой посередине рекой Марарайкой (Милорайкой). Построили типичный российский помещичий дом с мезонином, одноэтажные хозяйственные службы и конюшни. От барского дома до реки разбили большой фруктовый сад, на западе раскинулась дубовая роща. Реку перегородили плотиной, образовав Большой, Средний и Малый пруды. Окружённый прудами барский дом имел парк и средний сад.

Михаил Васильевич Арсеньев в хозяйственные дела жены не вникал, любил театр, пользовался большим уважением соседей, избирался предводителем дворянства Чамбарского уезда, выступал третейским судьёй в расприх между помещиками, через многочисленную влиятельную родню жены был хорошо осведомлён обо всём, что происходило в России.

У супругов была единственная дочь. Машенька была слаба здоровьем и увлекалась чтением сентиментальных романов, характером она пошла в отца. В его имении в селе Васильевском Тульской губернии познакомилась она с красивым владельцем соседнего небольшого поместья Кропотово, капитаном в отставке Юрием Петровичем Лермонтовым. Он владел небольшим имением вместе с матерью и сестрой. Молодые люди полюбили друг друга и, вопреки воле Елизаветы Алексеевны, были помолвлены. После свадьбы молодые поселились в Тарханах. На время беременности Марии Михайловны молодожёны уехали в Москву и возвратились в усадьбу Арсеньевой в феврале 1815 года.

Бабушка окружила внука заботой и любовью. В детской пол покрыли сукном, чтобы малыш под присмотром няни мог ползать и играть. Он любил чертить мелом на стенах и на полу, и таким образом ему позволяли развивать задатки художника. Иногда Мария Михайловна сажала сына на колени, подолгу играла для него на фортепиано и пела грустные песни. В 1830 году Михаил Лермонтов писал: «Когда я был трёх лет, то была песня, от которой я плакал: её не смогу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услышал её, она бы произвела прежнее действие. Её пела мне покойная мать». (А. Висковатый. «М. Ю. Лермонтов»). 24 февраля 1817 года чахотка свела Марию Михайловну в могилу. Трёхлетний ребёнок, лишившийся матери, был лишён властной бабушкой Елизаветой Алексеевной возможности общаться с любимым отцом. Основным аргументом в споре была бедность Юрия Петровича Лермонтова. Елизавета Алексеевна после смерти дочери составила духовное завещание, объявив единственным своим наследником Михаила Лермонтова. При этом она высказала намерение «воспитывать внука при себе и приготовить на службу его императорского величества», «сохранить должную честь, свойственную званию дворянства» при условии, что зять тому препятствовать не будет, иначе всё перейдёт Стольпинным. Ради обеспечения будущего сына безутешный вдовец вынужден был уступить её притязаниям. Известно, какие тяжёлые душевные травмы наносят подобные драмы детям. Безмерная любовь бабушки, ласки крепостных девушек и за-

ботливых нянек не могли ему заменить ту единственную в мире женщину, с которой он был «связан пуповиной», чью колыбельную песню помнил всю жизнь. Не в тех ли неясных воспоминаниях о матери истоки его «Колыбельной» и «Ангела»?

Впоследствии даже эти детские наблюдения и переживания нашли отражение в его творчестве. Автобиографические драмы «Люди и страсти», «Станный человек» свидетельствуют о том, как остро реагировал Лермонтов на конфликт между двумя любимыми им людьми — бабушкой и своим отцом. Психологически точно показал Михаил Юрьевич историю становления характера Саши Арбенина, героя автобиографичного отрывка «Я хочу рассказать вам»:

«Саша был избалованный, пресвоевольный ребёнок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нём необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки... Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь, болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжёлый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если бы он не получил от природы железного телосложения, то, верно бы, отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и важное влияние на ум и характер Саши. Он выучился думать. Лишённый возможности развлекаться с обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнём играть не должно. Но, увы! Никто и не подозревал в Саше этого скрытного огня, а между тем он обхватил всё существо бедного ребёнка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грёзами души».

Не тогда ли Глас Божий коснулся слуха Михаила Юрьевича?

...Душа моя
С душой вселенной, как эфир с эфиром,
Сольются и развеются над миром.

«Сашка».

Неизвестная нам тяжёлая болезнь надолго вырвала Мишу Лермонтова из круга общения со сверстниками. Он рано научился самостоятельно думать и мечтать. С шести лет с восхищением смотрел он из окна детской на розовеющие при закатном солнце облака, на ущербную и полную луну, на мигающие звёзды и бегущие тучи. Сила фантазии и широта мысли ребёнка уже устремлялись к явлениям природы. Уже тогда он представлял их столь явственно, что ни одной фальшивой ноты не прозвучало в его пейзажной лирике. Этому нельзя научить. Поэту это нужно самому прочувствовать до глубины сердца.

Воспитывался Мишель в подмосковном имении своей бабушки Средниково вместе с детьми её родных братьев. (Впоследствии это имение унаследовал Арка-

дий Дмитриевич Столыпин). За невыносимый характер родные не любили Михаила Лермонтова, хотя в семье Столыпиных сохранилось много воспоминаний о нём. Кроме обычного курса наук для ребёнка его возраста Мишеля обучали французскому и немецкому, латинскому и греческому языкам. Для развития эстетического вкуса его знакомили с классической литературой и драматургией, ставили домашние кукольные спектакли, сюжеты для которых мальчик охотно сочинял сам. Под руководством учителя Мишель рисовал декорации, недурно лепил головки актёров-кукол, слонов, коней и колесницы.

Для поправления здоровья бабушка возила внука на Кавказские Минеральные Воды. Жили они у её сестры Екатерины Хастатовой в доме между Михайловским отрогом и Горячей горой — в Горячеводской долине. Бабушка старалась создать интересный круг общения для себя и внука. Здесь любознательный мальчик находил нескончаемый материал для размышления и яркие впечатления для вдохновения, постепенно накапливая духовный и чувственный багаж для будущих поэтических творений.

Незабываемые впечатления оставили в его душе поездки на Кавказ в 1815, 1820 и 1825 годах. Впечатлительный мальчик наблюдал, размышлял, влюблялся, общался с родственниками и знакомыми. В опубликованных в 1885 году в «Отечественных записках» списках посетителей Вод под № 54-61 значатся: «Столыпины: Мария, Агафья и Варвара Александровна, коллежского асессора Столыпина дочери, из Пензы; Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова, поручица, из Пензы, при ней внук Михайло Лермонтов, родственник её Михаил Пожогин, доктор Ансельм Левиз, учитель Иван Капа, гувернёрка Христина Ремер». (Михаил Пожогин-Отрашкевич был двоюродным братом Лермонтова, сыном А. П. Отрашкевич, сестры его отца). Величественная природа Пятигорья, пёстрая многонациональная толпа, слухи о набегах горцев, казачьи посты на отрогах Машука, песни, легенды, нравы, обычаи, обряды и зажигательные лезгинки, увиденные на празднике Байрам в ауле 15 июля, так взволновали Лермонтова, что по возвращении в Тарханы он самозабвенно рисует горные пейзажи и горцев.

В том же году семья Марии Акимовны Шан-Гирей, любимой племянницы бабушки, дочери Екатерины Алексеевны Хастатовой, купила сельцо Апалиху в трёх верстах от Тархан. С тех пор сын их, Аким Шан-Гирей, стал верным другом Миши на всю жизнь. Для дальнейших учебных занятий внука бабушка оборудовала специальную классную комнату и пригласила гувернёров. Чтобы внук не скучал на занятиях в одиночестве и охотнее учился, она взяла на воспитание его сверстников — детей своих родственников и друзей: двух братьев Юрьевых, двух Максютювых, сына помещицы села Пачелмы Николая Давыдова, племянника Николая Пожогина-Отрашкевича. Их заметки об этом периоде жизни можно прочитать в книге «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников» (М., «Художественная литература», 1964). Лермонтов чувствовал своё особое положение, потому проявлял излишнюю настойчивость, требовательность, раздражительность. Любимым гувернёром Мишеля был эльзасец Жан Капэ, бывший сержант наполеоновской гвардии, пленённый во время войны 1812 года и оставшийся в России после освобождения. Лермонтов внимательно слушал его рассказы, и многие сюжеты впоследствии нашли место в его произведениях. Именно воспитатель Капэ пробудил и развил в душе мальчика любовь к французской литературе и жажду военных подвигов.

Когда Лермонтову пошёл четырнадцатый год, для продолжения воспитания бабушка повезла его в Москву. В Благородном университетском пансионе мальчик много читал. Полюбив поэзию очень рано, он только в пансионе предпринял первые серьёзные самостоятельные опыты в написании стихов, правда, под руководством опытного наставника. В свои тетрадки-дневники он вносил размышления над прочитанным, собственные наблюдения, размышления, чувства, стихи. Он ещё подражал европейским классикам (Байрону, Шиллеру, Шекспиру, Гёте) и русским — Пушкину и Жуковскому. И это естественно: подражание лучшим образцам прививает хороший вкус и побуждает к самосовершенствованию. Его «Черкесы» — подражание «Кавказскому пленнику» Пушкина. Но уже в этой поэме четырнадцатилетнего подростка проявляются его мироощущение и индивидуальность. Поэму «Корсар» Мишель пишет под влиянием «Шильонского узника» Василия Андреевича Жуковского. Однако воспринимает он только то, что близко ему самому. Влияние поэзии английского романтика Джорджа Байрона осталось у Лермонтова навсегда. В шестнадцать лет он пытается писать драмы и комедии, но понимает, что для этого ему ещё не хватает знаний и понимания жизни, нравов, истории и этнографии. Он увлечённо и глубоко изучает эпоху, фантазирует и пишет драму «Испанцы», делает первые наброски «Демона». Форму, а иногда и целые стихи он заимствует у Байрона и других известных поэтов. Но всё это переплавляется в его душе и становится уже его творением. Первый биограф поэта П. А. Висковатый писал: *«Он не был слепым подражателем, не чужая форма и образы руководили им, как это бывает обыкновенно в отзывчивых молодых душах в юные годы, воображающих себя поэтами, — нет, он брал только то, что по духу считал своим. Великие поэты служили ему образцами»*. Молодой Лермонтов уже тогда вполне осознавал свои поэтические возможности и творческие силы, мощное литературное дарование и великий талант импровизатора:

Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник.

И при этом он много и упорно работал: читал, переводил, размышлял, выработывал тот безукоризненный поэтический язык, которым до сих пор восхищаются литераторы, лингвисты, языковеды.

Под руководством молодых профессоров и адъюнктов первокурсники упражнялись в древних и новых языках. Русскую словесность по архаическим учебникам словесности преподавал цензор профессор Пётр Васильевич Победоносцев (1771—1843). На словесное отделение Лермонтов перешёл с этико-политического с начала нового учебного года. Естественно, оно более соответствовало его литературным устремлениям.

То ли самонадеянно решив, что он действительно знает значительно больше своих преподавателей, то ли поняв, что они его «завалят» на публичных экзаменах, Лермонтов весной 1832 года на экзамены не явился и покинул Московский университет, в котором пробыл два с половиной года. Обо всех профессорах он отозвался как о людях отсталых, глупых, бездарных, а университетскую администрацию назвал нелепой. Бывший студент словесного факультета Головачёв в воспоминаниях к 100-летию Московского университета писал, что *«исчезновение Лермонтова...»*

не обратило на себя особого внимания. Припоминали только, что он изредка показывался на лекциях, да и то почти всегда читал какую-нибудь книгу, не слушая профессора» («День». № 42/1863).

Лермонтов сделал попытку перевестись в Императорский Санкт-Петербургский университет. Принять его согласились только на первый курс, поскольку публичные экзамены в Московском университете он не сдавал. Начинать всё сначала не хотелось. Лермонтов принял неожиданное решение — поступил в юнкерскую школу гвардейских подпрапорщиков. Возможно, хотелось ему скорее ощутить себя самостоятельным? Его приняли в школу с 14 ноября 1832 года и зачислили вольноопределяющимся офицером в лейб-гвардии гусарский полк. Вскоре он повредил ногу во время занятий верховой ездой и проболел почти весь первый учебный год, за исключением двух месяцев. Всё свободное время, как и в последующие годы учёбы, Лермонтов до поздней ночи предавался литературному творчеству в отдалённых пустующих классах. Товарищи признавали его превосходство в остроумии, опасались его едких пародий и насмешек, не сторонились, но и не любили его.

За время учёбы в школе девятнадцатилетний Лермонтов создал и опубликовал в журнале «Библиотека для чтения» только одно серьёзное произведение — «Хаджи-абрек», используя отдельные строфы из своих прежних поэм. В 1832–1834 гг. его рисунками-воспоминаниями была заполнена «юнкерская тетрадь», в которой Лермонтов изображал себя в форменной шинели и в дороге. Обучение шло к концу. В ноябре 1834 года корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов приступил к службе. Мало кто знал, что одновременно он много и напряжённо работал над своими произведениями, отшлифовывая каждую строчку. Он только очень близких людей допускал в свою творческую лабораторию. В 1835 г. он закончил драму «Маскарад». В отпуск в Тарханы он приехал уже вполне сложившимся поэтом — автором нескольких сот стихотворений, более десятка поэм, четырёх драматических произведений и одного неоконченного романа. Настоящее литературное творчество уже не было забавой для него. Своя воля страшней неволи. Громкую славу он обрёл два года спустя, написав стихотворение «На смерть поэта», за которое в 1837 году был сослан на Кавказ в Нижегородский драгунский полк...

Удивительная одарённость Михаила Юрьевича проявлялась и в живописи, и в рисунках. В 1937 он рисует акварелью «Пейзаж с озером» Лысогорским близ Пятигорска, а позже пишет маслом «Вид Пятигорска» и «Воспоминания о Кавказе». В 1840-е — рисунки «Пятигорский бульвар», «Военный верхом и амазонка» и акварель «Эпизод из сражения при Валерике».

Он много работал над поэмами «Мцыри» и «Демон» и закончил обе в 1839 году. Написание «Демона» поэт замыслил в пятнадцатилетнем возрасте и все последующие годы кропотливо отделявал этот образ. Фантастическую концепцию осмысления его автор вложил в уста своего героя. Русский судебный деятель, писатель и лирик Сергей Аркадьевич Андриевский (1847–1918) считал: «Строго говоря, «Демон» — не падший ангел; причина его падения осталась в тумане; он скорее — ангел, упавший с неба на землю, которому досталась жалкая участь «ничтожной властвовать землёй». Короче, это сам поэт». Действительно, оба, поэт и его герой, строптивы, ироничны, преисполнены громадной внутренней энергией и огненной чувственностью, глубоким знанием человеческих слабостей и тайных страстей. Все перипетии дразнящих страдающее сердце устремлений, безысходность и

ожидание счастья, всепоглощающая сила и нежность чувств в поэме, как и в жизни поэта, заканчиваются разочарованием:

Один, как прежде, во вселенной,
Без упования и любви.

В ту весну Лермонтов последний раз в жизни встретился с Варенькой Лопухиной, уже Бахметьевой, когда они с мужем уезжали за границу и останавливались в Санкт-Петербурге. А вскоре в журнале «Отечественный записки» (1839, т. 2 № 3; т. 6 № 11; т. 8 № 2) был опубликован его роман «Герой нашего времени». Белинский восхищался «роскошным талантом» Лермонтова и писал: «На Руси появилось новое могучее дарование»...

Главным материалом для рассуждений о поэте и писателе могут служить исключительно его произведения. Но каждый читающий воспринимает их по-своему, пропуская слова через своё сердце, мозг и душу. Лермонтов предельно откровенен: *«Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я научился ненавидеть»*. В 1840 году роман «Герой нашего времени» впервые был издан. Вскоре последовали его новые издания. Им зачитывались, восхищались, предсказывали автору блестящее будущее. Николай Васильевич Гоголь справедливо заметил в оценке Лермонтова: *«В нём слышатся признаки таланта первостепенного, вопреки великое может ожидать его... В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто ещё не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно большие углубления в действительность жизни — готовится будущий великий живописец русского быта»*. Белинский подтверждал: *«...Уже недалеко то время, когда имя его в литературе делается народным именем и гармонические звуки его поэзии будут слышимы в повседневном разговоре толпы, между толками её о житейских заботах»*. Иван Гончаров считал, что Лермонтов *«опередил Пушкина глубиной мысли, смелостью и новизной идей и полёта»*. А позже Антон Павлович Чехов признал с удивлением: *«Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова... Я бы так сделал: взял бы его рассказ и разбираю бы, как разбирают в школе, — по предложениям, по частям предложения... Так бы я учился писать... Не могу понять, как мог он, будучи мальчиком, сделать это!»*.

В Москве и Петербурге книги и стихи Лермонтова нарасхват, круг литературных знакомств расширяется. Он открыто появляется в столичном обществе, в салонах и на балах. На балу у графини А. К. Воронцовой-Дашковой высочайшие особы сочли непозволительно дерзким поведение опального офицера, и 11 апреля Лермонтов получил предписание в течение 48 часов покинуть Санкт-Петербург. Смелое, усвоенное Лермонтовым с детства ощущение родства с небом давало ему ключ к собственному пониманию своей жизни и значимости своего творчества. Никогда не покидала его мысли грустная, мучительная, но мужественная — при слишком большой его пронизательности — смелость высказывать свои мысли без пощадки и без прикрас. В этом были его сила и слабость, его несчастье и совершенно потрясающая энергетика его удивительной поэзии. Ему обидна кажущаяся строгость. Поэт чувствует себя униженным. Согласно строжайшему предписанию прямо из Петербурга он должен без задержек следовать прямо в свой полк! Тоска, раздра-

жение, горечь, отчаяние невыносимы! Тут мне кажутся уместными слова Николая Платоновича Огарёва: «Любил ли он, или желал, Иль ненавидел — он страдал. Сюда судьба! Ко мне на суд! Зачем всю жизнь одно мученье Поэты тягостно несут?». Затем, что настоящие поэты — существа без кожи, с оголёнными нервами, распахнутыми сердцами. С дороги Лермонтов пишет С. Н. Карамзиной: «Пожелайте мне счастья и лёгкого ранения, это самое лучшее, что можно мне пожелать... Я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться»...

Я не склонна писать о фатальной неотвратимости судьбы и нежелании Лермонтова противиться ей. Скорее всего, он был уверен в благоприятном исходе дуэли с Мартыновым. Их общие друзья тоже не ожидали трагической развязки и даже закупили шампанское, чтобы отметить примирение дуэлянтов. Но случилось то, что случилось. Лермонтов погиб у подножия Машука, не успев выстрелить из своего пистолета. Тело его привезли на квартиру только в 10 часов вечера. Официальное сообщение гласило: «15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией, в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лежавший в Пятигорске М. Ю. Лермонтов». В рукописном отделе Института русской литературы (СПб, «Пушкинский дом») хранится «Дело о произошедшем поединке, на котором отставной майор Мартынов убил из пистолета Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова». Документ датирован 16 июля 1841 года, подписали его следователи: плац-майор подполковник Унтилов, Пятигорского земского суда заседатель Черепанов, квартальный надзиратель Марушевский, исправлявший должность стряпчего Ольшанский 2-й и находящийся при следствии корпуса жандармов подполковник Кувшинников. Место поединка осматривали в присутствии секундантов — корнета Глебова и титулярного советника князя Васильчикова.

Виссарион Белинский откликнулся на смерть Лермонтова проникновенной статьёй: *«Давно ли приветствовали мы первое издание «Героя нашего времени», указывали нашей публике на Лермонтова как на великого поэта в будущем. Смотрели на него как на преемника Пушкина в настоящем!.. И вот проходит не более года — и мы встречаем новое издание «Героя нашего времени» горькими слезами о невозвратимой утрате, которую понесла осиротевшая русская литература в лице Лермонтова».*

Прав поэт Александр Блок: *«Наследие Лермонтова вошло в плоть и кровь русской литературы».* Критики много пишут о богатом и чистом языке его произведений, ритме стиха и оригинальных эпитетах, яркой индивидуальности и о той потаённой глубине его души, «где горел его священный огонь», освещающий нам путь и сегодня. Поэты прославляют Лермонтова, «не созданного для мира» и высоко парящего «над грешной землёй», потому что его громадный талант современен во веки веков, а его безукоризненный язык — азбука для любого литератора. Что такому титану мирское бытие? Русский писатель и религиозный философ Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) по своему разумению пытался объяснить феномен поэта-сверхчеловека: *«Почему приблизился к нам Лермонтов? Почему вдруг захотелось о нём говорить? Рассказывают, будто у Лермонтова был такой «тяжёлый взгляд», что на кого он смотрел пристально, тот невольно оборачивался. Не так ли мы сейчас к нему обернулись невольно? Стихи его для нас — как звучащие с детства молитвы. Мы до того к ним привыкли, что уже почти не понимаем. Слова действуют помимо смысла».*

Имя «Михаил» в переводе с древнееврейского — «Кто как Бог», а девиз рода Лермонтовых — SORS MEA JESUS — «Жребий мой — Иисус». Думаю, глубоко пережив, перечувствовав и переосмыслив всё это, Лермонтов и смог гениально передать душевные ощущения в своих великих творениях. *«Внутренняя, духовная жизнь эпохи может отразиться только в художественном произведении. На этом основании некоторые подобные произведения стоят наряду с драгоценными историческими памятниками»*, — писал в 1859 году в журнале «Русское слово» публицист и литературный критик Дмитрий Иванович Писарев. В числе пяти таких выдающихся произведений он не случайно назвал роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

После смерти внука Елизавета Алексеевна переписала завещание, поделив своё имущество между двумя любимыми людьми — братом Афанасием и племянницей Марией Акимовной Шан-Гирей, и перезахоронила тело Лермонтова в Тарханы. Но до сих пор почитаемо место его первого захоронения в Пятигорске. После смерти Марии Акимовны Елизавета Алексеевна снова переписала завещание и 16 ноября скончалась. Афанасий Столыпин закрыл глаза своей многострадальной сестре. В декабре 1974 г. в Тарханах между церковью и часовней появилась ещё одна могила, в которую из села Шипова Липецкой области перенесли прах отца поэта Юрия Петровича Лермонтова.

А Пятигорск живёт под сенью гения любимого поэта: в день его памяти мы возлагаем цветы к памятнику на месте его первого захоронения, в день рождения читаем стихи в сквере им. Лермонтова напротив Спасского собора и в музее-заповеднике «Домик Лермонтова» Уверена, что в объявленный ЮНЕСКО Международный год культуры 200-летие Михаила Юрьевича по всей России будет отмечено достойно. Мы помним, любим и чтим его! «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся», но любой писатель ощущает ни с чем не сравнимое послевкусие радости в результате добросовестно выполненной работы в преддверии его юбилея, а это дорогого стоит.

Станислав
ПОДОЛЬСКИЙ

М. Ю. Лермонтову ...и всем остальным

Убит ли, пал...
И что за дело
нам до его
страстей и бед?!...

Но отчего я жадно верил
в его заплёванный портрет?
Но отчего на нарах грубых,
где жил я из последних сил,
его Кавказ
студил мне губы
снежинками своих вершин?
Не оттого ли, что в метельный
век муки, крови, пепла, зла
он — одинокий и дуэльный,
с глазами круглыми орла,
у всех барьеров лихоletья
расстрелянный, —
не прятал лиц,
суровых, смёрзшихся,
что метил
лбы ухмылявшихся убийц
(высоко, не достать их мезью,
отметить хоть червонным — смертью!).
Не оттого ль среди живущих
ослепше — словно в штыковой —
я прихожу к Вам, мой Поручик,
мой Генерал, мой Рядовой?
Не потому ль?..
Не знаю.

Рвано —
среди моих смердящих ран —
рань ваша —
честностью таранит,
и жжет,
и свежей болью грядет —
и совести, и словаря!

Письмена

Уходят цветы — остаются духи.
Уходят друзья, оставляя стихи.
Уходит Поэт, оставляя Ответ,
как жить после жизни,
как время и свет...

Певучая женщина, Вам не везло.
Печаль Ваша вещая, Ваше тепло
пронзили столетья как зов и завет...
Заветный явился, а Радостной нет.

Мой милый, мой странный
Певец — за предел —
от звезд до ромашек
о Милой скорбел.
На Голос явилась —
как Смысл и Ответ...
Сто лет как Певучего Странника нет.

Мой Друг, мой Мучитель,
мой Брат и Пастух,
свирелью пречистой
избравший мой слух,
как Бог для Адама сработавший
Свет...

Я в мир постучал — а Учителя нет.
Из грязи и Грезы мой миг сотворил —
и канул навеки, исполненный сил.
Остался лишь запахом
в вешнем цветке.
Остался прохладой в нагорной реке.
Душа — сотворилась,
а Автора — нет...

Летят письма,
словно Время и Свет.

**Александр
ОЧМАН**

О возникновении замысла «Бэлы» М. Ю. Лермонтова

Версия

Сюжет о любви русского офицера и черкешки впервые появляется в творчестве Лермонтова в «Кавказском пленнике» (1828), написанном под воздействием одноименной пушкинской поэмы, будучи обработанным и воплощенным в романтическом ключе. Так что в период первой ссылки в 1837 году, когда Лермонтовым, должно быть, уже задумывался ряд повествований о пребывании Печорина на Кавказе, некогда запечатленная в поэтическом слове любовная история гнездилась в его художественном сознании, подпитываемая, без сомнения, неоднократно слышанными рассказами того же рода, чтобы затем воплотиться в реалистическом измерении в «Бэле», появившейся в мартовском номере «Отечественных записок» за 1839 год.

Первым о конкретном источнике лермонтовской повести высказался М. Лонгинов. «Основанием рассказа «Бэла», — писал он, — было истинное происшествие, конечно, опозитизированное и дополненное вымышленными подробностями, случившимися с

родственником поэта Е. Е. Хастатовым». Со ссылкой на него то же самое утверждал П. А. Висковатый. Другие исследователи склонялись к тому, что прототипом лермонтовской героини послужила вторая жена подполковника Нижегородского драгунского полка Григория Ивановича Нечволодова, по происхождению черкешенка из племени абадзехов.

Не оспаривая того и другого, заметим, что для Лермонтова необходим был определенный толчок, который послужил бы для окончательной кристаллизации замысла «Бэлы». Таковым мог оказаться, как мы предполагаем, рассказ, возможно, слышанный поэтом от Николая Мартынова и Столыпина-Монго в Ольгинском укреплении в сентябре 1837 года о судьбе их общего приятеля, рано погибшего князя Николая Долгорукого.

Впрочем, обо всем по порядку.

О том, что Николай Мартынов писал стихи и прозу, стало известно только после его смерти. Среди бумаг отца сын, С. Н. Мартынов, обнаружил незаконченное прозаическое сочинение «Гуаша», опубликованное А. Н. Нарцовым в 1904 году и не столь давно вновь воспроизведенное в составе книги В. Захарова «Загадка последней дуэли».

Поскольку в «Гуаше» являющийся ее центральным персонажем князь Долгорукий не назван по имени, первый публикатор оказался не в состоянии определить, о ком же из многочисленных в русской армии Долгоруких конкретно шла речь. Более того, известнейший лермонтовед В. А. Мануйлов видел в мартыновском герое члена «кружка шестнадцати» Александра Николаевича Долгорукого, с кем Лермонтов сражался против горцев в 1840 году, в пору второй ссылки.

Теперь, опираясь на документальные свидетельства, можно со всей определенностью утверждать, что Мартынов ведет рассказ о корнете лейб-гвардейского



Шегедин В. А.
(род. 1924).
Песни гор.
1999.
Холст, масло,
110 × 150.

конного полка князе Николае Николаевиче Долгоруком, участвовавшем в походе генерала Вельяминова в 1837 году. Вот фрагмент извлеченного В. А. Захаровым из архивов рапорта, адресованного начальнику штаба войск на Кавказской линии и в Черномории генерал-майору П. И. Петрову от 10 апреля 1837 года: «По отношению

Вашего Превосходительства от 5 сего апреля за № 1684 и 1686 подлежащие прибывшими в г. Ставрополь и отсель отправляющиеся для участия в экспедиции против горцев корнетам полков Лейб-гвардии Конного князю Долгорукову и Гусарского Столыпину прогонные деньги по всему времени каждому на три лошади от города Ставрополя до Екатеринодара за 269 верст по 40 р. 35 к. восемьдесят семь рублей семьдесят копеек ассигнациями с распискою им в отпуск назначень». Речь в этом документе идет о Николае Долгоруком, ибо его младший брат Александр появится на Кавказе двумя годами позже.

22 апреля Долгорукий и Столыпин-Монго после остановки в Екатеринодаре прибывают в Ольгинское укрепление. Со следующего дня начинаются скоротечные события, связанные с любовью 20-летнего князя Долгорукого к одиннадцатилетней красавице-черкешенке Гуаше, описанные Мартыновым в одноименном прозаическом фрагменте уже после трагической гибели однополчанина.

Долгорукий, Столыпин-Монго и Мартынов были прикомандированы к Тенгинскому пехотному полку, который вместе с другими войсковыми подразделениями с 9 мая по 29 сентября 1837 года принимал участие в экспедиции генерала А. А. Вельяминова к Черноморскому побережью с целью усмирения горских племен по пути следования и строительства укреплений, долженствовавших стать опорой русских по всей береговой линии.

Остановимся детальнее на мартыновской «Гуаше», где представлена развернутая характеристика Долгорукого.

Долгорукий «был хорошо воспитан, имел веселый нрав и неисчерпаемое добродушие, при том никогда ни об ком дурно не отзывался и никому не завидовал, два качества, весьма редкие между людьми. Не быв особенно красивым, он нравился многим женщинам симпатичным выражением лица, живостью характера и какой-то ребяческой откровенностью». Привлекательны в молодом офицере отсутствие «гордости и высокомерия», заносчивости, нередко обнаруживаемых гвардейцами на Кавказе, благодаря чему его «любили все кавказцы, начиная от старших <...> и кончая последним юнкером или разжалованным в отряде».

Чистому сердцем и душой, открытому по характеру, именно Долгорукому выпало — вопреки всему — потянуться и испытать непреодолимую тягу к юному созданию из совсем иного, вовсе незнакомого мира. В нем вспыхнуло чувство произвольное, прежде неведомое, природно-подсознательное, властное: «С первого дня как увидел Долгорукий Гуашу (так называли молодую черкешенку), он почувствовал к ней влечение непреодолимое; но что всего страннее: и она, со своей стороны, тотчас же его полюбила... Бывало, подойдет к нему, возьмет его за руку и долго, долго смотрит ему в глаза; потом вздохнет и сядет возле него. Случалось, напротив, что в порывах шумной веселости она забежит к нему сзади, схватит его неожиданно за голову и, крепко поцеловав, залется громким смехом. И все это происходило на глазах у всех; она не выказывала при том ни детской робости, ни женской стыдливости, не стесняясь даже нисколько присутствием своих домашних».

Каким же нерачительным оказался Мартынов, не сумев достойно распорядиться выпавшим ему шансом создать недюжинный прозаический рассказ — «кавказскую бьль», незаурядную во всех отношениях.

Ян БЕРНАРД**«БЭЛА!..»**

Почудилось: скала гремела,
И беркута срывался крик.
Ущелья повторяли: «Бэла!..»,
И молния нарисовала лик.

И в небе — на мгновенье — светлом
Заколебался горный пик,
И вспыхнуло угёса тело,
И заискрился Верхний Клык.

Ты ощутил всю свежесть ночи,
Всю душу зелени лесной,
И Бэлы сумрачные очи,
Чуть увлажнённые грозой.
И ливня радостные строчки
С небесной, теплой чистотой.

Ни предательству лжедрузей,
Ни безмерной злобе врагов
Не отнять вдохновенных дней
И твоих не замедлить шагов.
А поэт — всегда Прометей,
Освещающий даль веков.



Вера СЫТНИК

ОЧАРОВАНИЕ И СИЛА СЛОВА

Проходит время, а то действие, которое оказало на меня в детстве стихотворение Михаила Лермонтова «Нищий», по-прежнему остаётся самым сильным впечатлением, полученным когда-либо от соприкосновения с литературным произведением. Это был шестой класс, я пребывала в возрасте, когда окружающий мир воспринимался особенно остро, особенно равнодушно, когда каждая его вновь обнаруженная шероховатость принимала едва ли не космический масштаб. Личный опыт, приобретённый к двенадцати годам, подсказывал, что окружающая меня реальность несовершенна, что в ней рядом с высокими идеалами соседствуют такие понятия, как ложь, предательство. Несмотря на это, заключённая в стихотворении история и вызванные ею чувства застали меня врасплох. Меня как будто подкинуло. Я оказалась на таких высотах, о существовании которых не подозревала.

На несколько секунд многоликий внешний мир перестал существовать, сойдясь в одной точке, «у врат обители святой», куда меня перенесло пылкое воображение и где я стала свидетельницей небольшого эпизода, затмившего собой всё виденное ранее, — вместо подаяния иссохшему от голода бедняку в его протянутую руку положили камень. Я физически испытала тяжесть того камня,

он словно ударил меня в самую глубину распахнутой навстречу свету души, вызвав дрожь в теле. Жестокосердный поступок человека и сравниваемая с этим поступком бессердечность девушки, обманувшей надежды юноши, поразили меня, испугав расчетливым хладнокровием. Краткий эпизод «у врат обители», вобравший в себя пороки человечества, превратился в порог, шагнув за который, я уже никогда не вернулась назад, к прежним своим представлениям о мире. Моё взрослеющее сознание получило порцию пищи. Сердце моё сжалось от глубинной тоски, от сладостного чувства одиночества в тот миг — и слёзы брызнули из глаз. Сердце пронзила боль за всех страждущих и обделённых, за всех обиженных и оскорблённых, за всех тех, кто слаб. Среди них была и я, ибо чувствовала себя так, как будто меня обманули, — прежде я не догадывалась, что душевная чёрствость может принимать такие чудовищные формы.

С той поры минули годы. Не преувеличу, если скажу, что никогда не забывала о минуте, открывшей передо мной изъяны человеческих душ, в то же время заморожившей ощущением пленительной дивной тайны. Тайны, заключающейся в невозможности проникнуть в секрет поэтических слов, таких простых и обыкновенных, если произносить их по отдельности, вразброс, вне рамок стихотворения, и становящихся чарующе волшебными в сочетании друг с другом, приобретающих возвышенное звучание в неспешной череде коротких стройных предложений. Вопрос, как, каким образом знакомые, привычные слова рождают художественный образ, способный перевернуть душу, остался для меня открытым. Знание теории стихосложения ничуть не приближает меня к пониманию тайны. Напротив, с годами я всё больше наполняюсь благоговейным удивлением перед силой поэтического слова, перед его чарующим воздействием на меня. Иногда я проделываю опыт: предлагаю находящемуся в данный момент рядом со мной человеку: «Послушай! — и начинаю читать: «У врат обители святой...». Видя, как меняется лицо собеседника, слыша, как у него на мгновение перехватывает дыхание, я внутренне торжествую. Вот она, внутренняя сила стиха! Действует! Никого не оставляет равнодушным картина попрания основ добра — того, на чём держится мир.

Я так же, как и в детстве, пытаюсь докопаться до начала тайны, ища её в смысле каждого отдельно произнесённого слова или в их поэтическом единстве. Я читаю вслух стихотворение, делая большие паузы между словами, вслушиваясь в них: «У врат. Обители. Святой. Стоял. Просящий. Подаянья. Бедняк. Иссохший. Чуть живой. От глада. Жажды. И страданья», — и нахожу, что здесь нет ничего непостижимого, ничего такого, что не поддавалось бы объяснению. Но почему же при складывании этих слов в предложение возникает ощущение, будто задела кровоточащую рану? Почему воображение отзывается картиной, вид которой сжимает сердце и увлажняет глаза слезами? Резкий перепад настроения во втором четверостишии от взволнованно-приподнятого к состоянию полнейшей обречённости равнозначен взрыву, который разрушает всякие надежды на то, что акт милосердия будет свершён. Чем достигается подобный эффект? Только ли отказом от «высокой» лексики («взор», «являл»)? Или присутствием здесь нечто такого, что способна уловить только душа, а не наш разум? «Куска лишь хлеба он просил. И взор являл живую муку. И кто-то камень положил в его протянутую руку».

Мне кажется, тут всё дело в том, что, использовав рассказ слепого нищего о положенных кем-то камешках в кружку для сбора копеек как сравнение с жестокос-

тью девушки, дарившей надежду на любовь и обманувшей поэта, Лермонтов невольно копнул в самую глубину веры, задев тему добра — основополагающую для христианства. Параллель с Нагорной проповедью Христа («Евангелие» от Матфея), с той её частью, где Христос учит людей, говоря о необходимости милосердия, — «всякий просящий получает», напрашивается сама собой. Чуткая душа поэта была потрясена жизненной «иллюстрацией», противоположной тому, о чём проповедовал Мессия: «Есть ли между вами человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень?». Лермонтова ужаснула не знающая пределов духовная чёрствость человека. Бросить вместо куска хлеба камень — это означает нарушить основы мироздания, основы людской общности. Любовь юного поэта к Е. Сушковой была высока и возвышенно прекрасна, а его мольбы искренни, поэтому он был вправе рассчитывать если не на ответное чувство, то хотя бы на понимание, на сострадание как высшее проявление человеческой природы, но этого не произошло.

Затронув тему милосердия, тему протянутой за подаванием руки, Лермонтов подхватил и удержал духовную нить, начало которой прослеживается в веках, — например, в псалмах Ветхого завета. В одном из них говорится: «Яко же щедрит отец сыны, ущедрит Господь боящихся его». Как отец «ущедряет» сыновей, заботясь об их благополучии, так и Господь никогда не оставит своими щедротами тех, для кого «совесть» и «Бог» — неразделимые понятия. Удивительно, но глубину и исключительную важность момента, описанного в стихотворении «Нищий», его возвышенность и общечеловеческую значимость чувствует любой читатель, не только знакомый с Библией и Ветхим заветом, человек практически любого возраста. На мой взгляд, это означает одно: испытав потрясение от рассказа нищего, Михаил Лермонтов возвышенный порыв своих чувств переводит в слова, написав стихотворение, которое под влиянием величия минуты наполняется такой силой воздействия на людей, что при всей непохожести на молитву начинает звучать как мольба. Мольба о милости духовной. Мольба о том, чтобы такие эпизоды никогда не повторялись.

**Олег
ФЕДОТОВ**

ЛИРИЧЕСКИЙ ЛАД БАЛЛАД

Значительная часть лирической картины мира в поэзии предстает, как и подobaет искусству слова, в действии, в динамике развертывающегося событийного плана, т. е. в известной мере сближаясь с эпосом. Сюда можно отнести стихотворения балладного типа, такие, например, как «Песнь барда», 1830, «Тростник», 1832, «Русалка», 1832, близкая ей баллада «Морская царевна», 1841, а также такие классические баллады, как «Три пальмы» с характерным подзаголовком «Восточное сказание», 1839, «Спор», 1840, и «Тамара», 1841. Голос лирического героя как такового в них обыкновенно не звучит, но это вовсе не означает, что объективное по преимуществу отражение жизни остается без субъективного авторского к нему отношения.

В той же «Песне барда», едва ли не первом опыте обращения к балладному сюжету, автор-повествователь отождествляет себя с главным действующим лицом — «друзин Днепра седым певцом», долгое время томившимся в изгнании, «в стране чужой», который, вернувшись на родину и убедившись в том, что в условиях ханской деспотии песни его бессмысленны и бесполезны, бросает на землю свои гусли, чтобы «молча раздавить их ногой» (1, 64).

В другой балладе голосом главной героини «заговорил» тростник, стоило «веселому рыбаку» изготовить из него дудочку. Таким образом трагическая история, изложенная от первого лица, сохранила пронзительный лиризм невинной жертвы нераскрытого преступления:

...И над моей могилой
 Взошел тростник большой,
 И в нем живут печали
 Души моей молодой.
 Рыбак, рыбак прекрасный,
 Оставь же свой тростник.
 Ты мне помочь не в силах,
 А плакать не привык. [1, 145]

Тот же прием использован и в явно циклизующейся с «Тростником» «Русалке». Показательно, что именно с нее Белинский начинает «ряд чисто художественных произведений Лермонтова, в которых личность поэта исчезает за роскошными видениями явлений жизни. Эта пьеса покрыта фантастическим колоритом и по роскоши картин, богатству поэтических образов, художественности отделки составляет собою один из драгоценнейших перлов русской поэзии» (Ш, 266). Вряд ли, однако, одно (объект) следует противопоставлять другому (субъекту). Объективный рассказ о пленительно плывущей по «реке голубой» русалке, озаряемой «полной луной», в первых двух и заключительном, 7-м, катренах обрамляет ее субъективный рассказ об «ином», подводном мире, в котором обитает она сама и покоится утонувший «витязь чужой стороны», никак не откликающийся на ее ласки:

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
 Остается он хладен и нем;
 Он спит, — и, склонившись на перси ко мне,
 Он не дышит, не шепчет во сне!..».

Недоуменное «не знаю зачем» совокупно выражает лирическую рефлексию как традиционного для романтической поэзии мифического существа, так и переселившегося в него авторского сознания.

Вернувшись к «русалочьей» теме в зрелый период своего творчества, Лермонтов несколько модифицирует ее в «Морской царевне», 1841, отказавшись от маркированной партии обособленного от действующих лиц повествователя и развернув событийный план в выраженный балладный сюжет. Впрочем, сначала искusstельный призыв царевны, обращенный к царевичу:

Слышит царевич: «Я царская дочь!
 Хочешь провести ты с царевною ночь?»

А затем похвальба царевича, обращенная к товарищам:

Эй, вы! сходитесь, лихие друзья!
 Гляньте, как бьется добыча моя...
 Что ж вы стоите смущенной толпой?
 Али красы не видали такой?

встроенные в отстраненное повествование, косвенно поддерживают лирическую рефлексии вещи в целом, напоминая о заинтересованном авторском присутствии.

Моральная оценка, которую в конце концов выносит описанному происшествию неперсонифицированный повествователь, обнажается в иронической интонации финального пуанта:

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь! [1, 224]

Аналогичный прием таким же образом использовал Лермонтов в лирической поэме «Мцыри»: в 23-й главке Мцыри повествует о своем «предсмертном бреде».

Казалось бы, абсолютно объективное повествование представлено в «Трех пальмах», которые, по утверждению Белинского, «дышат знойною природою Востока, переносят нас на песчаные пустыни знойной Аравии, на ее цветущие оазисы. Мысль поэта ярко выдается, — и он поступил с нею как истинный поэт, не заключив своей пьесы нравственною сентенциею. Самая эта мысль могла быть опоэтизирована только своим восточным колоритом и оправдана названием — «Восточное сказание»; иначе она была бы детскою мыслию. Пластичизм и рельефность образов, выпуклость форм и яркий блеск восточных красок — сливают в этой пьесе поэзию с живописью: это картина Брюллова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее» (III, 266).

Синтез живописи с поэзией на территории последней реализуется в синтезе эпического и лирического начал. С первой строфы до последней выдержаны интонации «восточного сказания», притчи, с характерно обобщенными, подчеркнuto не индивидуализированными эпитетами и сравнениями: «В *песчаных* степях *аравийской* земли/ Три *гордые* пальмы высоко росли./ Родник между ними из почвы *бесплодной*,/ Журча, пробивался волною *холодной*,/ *Хранимый под сенью зеленых листьев*/ От *знойных* лучей и *летучих* песков»; «И шел колыхаясь, *как в море челнок*,/ Верблюд за верблюдом, взрывая песок»; «И конь на дыбы подымался порой,/ И прыгал, *как барс*, пораженный стрелой» (1, 178).

Лишь в одной из десяти, а именно третьей по счету строфе, прорывается голос, обладающий определенными лирическими потенциями; его подают аллегорические пальмы, ропщущие на свою, как им кажется, несчастную судьбу. Стилистика здесь явно иная, настоящая на романтических возвышенных штампах:

И стали три пальмы *на бога роптать*:
«*На то ль* мы родились, *чтоб здесь увядать?*
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колелемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор! [1, 178].

Что это, как не завязка конфликта? Речь, конечно, идет не столько о судьбе трех заносчивых в своей гордыне пальм, сколько о недалёковидности человека, недовольного отпущенной ему долей, так сказать, не выдержавшего испытаний ветхозаветного Иова.

Отголоски заявленного в роптании трех пальм лиризма можно, однако, уловить в двух заключительных строфах, в которых, как в эпилоге, подводятся итог отщумевших событий. В голосе рассказчика, констатирующего недавнее разорение

некогда цветущего в пустыне оазиса и полное его исчезновение спустя некоторое время, прорывается сдержанная, не противоречащая драматической развязке ирония: «Когда же на запад умчался туман,/ Урочный свой путь продолжал караван;/ И следом печальным на почве бесплодной// Виднелся лишь пепел седой и холодный;/ И солнце сухие остатки дожгло,/ А ветром их в степи потом разнесло.// И ныне все дико и пусто кругом —/ Не шепчутся листья с гремучим ключом;/ Напрасно пророка о тени он просит —/ Его лишь песок раскаленный заносит...» (1, 179).

Ощутимые лирические коннотации несет с собой многозначительный повтор рифмы из первой строфы («бесплодной — холодной»), в которой второй член контрастно обслуживает совершенно несопоставимые реалии: живительную, мажорно звучащую в специфических условиях пустыни «волну родника» и мертвый «пепел седой и холодный» — все, что осталось от «гордых пальм». Примечателен также изобличающий опять-таки индивидуальное авторское видение нестандартный образ пернатого хищника в двух финальных стихах: «Да коршун *хохлатый, степной нелюдим*,/ Добычу терзает и щиплет над ним».

Таким образом, напрашивающейся нравственной сентенции как таковой в финале нет, но лирическое отношение к мастерски воссозданной предельно объективной событийно развернутой «живописной» картине прорывается даже в, казалось бы, предельно объективированном авторском повествовании.

Схожую стратегию наблюдаем в развивающей отчасти тот же мотив нарушения природной гармонии деятельностью человека балладе «Спор», 1841. Действие как таковое в стихотворении не просматривается, поскольку сюжетную коллизию определяет умозрительный диалог между двумя кавказскими вершинами — Эльбрусом, фигурирующим под экзотическим наименованием Шат-горы, и Казбеком.

В экспозиции и завязке речь изначально идет о губительном наступлении на природу цивилизации вообще, затем в конфликтном столкновении оказываются «дряхлый Восток» и преисполненный воинственной энергией «темный Север». Хронотоп баллады, объективируясь через восприятие двух аллегорических персонажей, отличается исключительно масштабной панорамностью. Восток в ответной реплике Казбека необъятно широк; он включает в себя и Грузию, где «в тени чинары/ Пену сладких вин / На узорные шальвары / Сонный льет грузин», и Персию, в лоне которой «склонясь в дыму кальяна / На цветной диван, / У жемчужного фонтана / Дремлет Тегеран», и «мертвую страну» Иудею, «безглагольную и недвижимую» «у ног Ерусалима», некогда «сожженную Богом», и Египет, где «вечно чуждый тени, / Моет желтый Нил/ Раскаленные ступени/ Царственных могил», и Аравийские земли, обитатель которых «бедуин забыл наезды / Для цветных шатров / И поет, считая звезды, / Про дела отцов». Вывод кавказского исполина логичен: «Все, что здесь доступно оку,/ Спит, покой цена... / Нет! не дряхлому Востоку / Покорить меня!» (1, 215).

Во второй части баллады взоры гор-собеседников обращаются на север, панорамное описание которого отмечено видимой динамикой («Видит странное движение») и слышимыми звуковыми эффектами («Слышит звон и шум»). И на этот раз угол обзора столь же широк — едва ли не вся Восточная Европа: «От Урала до Дуная, / До большой реки, / Кольхаясь и сверкая, / Двигутся полки...» (1, 216). Описание приближающейся армии, понятное дело, российской, под предводительством генерала Ермолова стилистически перекликается с батальными сценами «Бородина» и предвосхищает концовку первой главки поэмы «Мцыри»: «И божья благодать со-

шла / На Грузию! Она цвела / С тех пор в тени своих садов / Не опасая врагов, / За гранью дружеских штыков» (1, 595), хотя, разумеется, Казбек взирал на нашествие русских войск совсем с другим настроением: «И, томим зловещей думой, / Полный черных снов, / Стал считать Казбек угрюмый — / И не счел врагов. / Грустным взором он окинул / Племя гор своих, / Шапку на брови надвинул — / И навек затих» (1, 216).

Вмешался ли каким-либо образом голос лирического героя в той или иной ипостаси обобщенного «лермонтовского человека» (Д.Е. Максимов) в спор соплеменных кавказских вершин? Корректно ответить на этот вопрос может помочь анализ стилистики, блистательно осуществленный в свое время Л.Г. Пумпянским:

«Каждая страна зрительно представлена одной краской: для Грузии — яркая, пестрая разноцветность (чинара зеленая, вина красные, шальвары узорные), для Персии — жемчужная краска, для Палестины — мертвая бесцветность, для Египта — желтизна, для Аравии — темная голубизна звездного неба. Благодаря плакатной отчетливости красок и резкому их отличию каждая страна имеет свой точный цветовой определитель. Этой расточительности красок Востока противопоставлен отрицательный цветовой определитель русской армии; здесь тоже есть плакатные краски (султаны белые, уланы пестрые, фитили горят), но они скромны, едва намечены и явно подчинены образу трезвой военно-государственной деловитости русского наступления, не допускающей колористической яркости и находящей свое выражение в преобладании не эпитета, а глаголов, и притом глаголов движения и действия (барабаны бьют, батареи скачут и гремят, генерал ведет и т. д.). Уже одними чисто стилистическими средствами разрешен вопрос, за кем превосходство: за одряхлевшими цивилизациями — болезненное богатство красок («роскошь», как тонко заметил <...> Белинский), за живой исторической силой — трезвость действия и пренебрежение к колористическому наряду».

Точность стиля позднего Лермонтова Пумпянский возводит к точности «народно-повествовательного и народно-живописного стиля», впервые обозначившегося в «Песне про купца Калашникова» и «Бородине» и получившем гениальное развитие в реалистическом повествовании «Валерика» и в прозе «Героя нашего времени». Лишним подтверждением справедливости этого предположения может служить четверостишие, негативно оцененное Пумпянским: «Идут все полки могучи, / Шумны, как поток, / Страшно-медленны, как тучи, / Прямо на восток» (1, 216). Исследователь предлагает «отбросить» «явно неудачную строфу», находя в ней «насильственное ударение «идут», ненужное усечение «могучи», несовместимое сравнение с потоком, предполагающее стремительную быстроту движения — соседнему сравнению со «страшно-медленными» тучами». «Это неудачный отзвук первого стиля Лермонтова, — констатирует он и предполагает, что «именно эту строфу имел в виду Белинский, когда писал, что в «Споре» «стиха четыре плохих».

Однако, скорее всего, здесь мы имеем просто издержки стилистической переориентации поэта, ступившего народно-поэтическую стилистику до предела. Все сошлось у него одно к одному: и действительно песенно-простонародная переакцентуация в глаголе «идут» (ср.: «идут белые снега, / Как по нитке скользя. / Жить и жить бы на свете, / Да, наверно, нельзя...» Е. Евтушенко), и усеченные прилагатель-

ные того же происхождения: «могучи», «шумны» и «страшно-медленны, как тучи», ползущие по небу «прямо на восток» в составе сравнения для «странного движенья» идущих в походном порядке войск. Это, иными словами, не ошибка, не художественный просчет, а переход от субъектной медитации к объективному повествованию либо отстраненным разговорам природных стихий, означающий не отказ от лиризма как такового, а его коренное преобразование: в широком спектре лермонтовского лирического героя на первый план выступает предвосхищающая простонародных персонажей некрасовской лирики демократическая ипостась.

Заключает цикл кавказских баллад Лермонтова написанная в 1841 году «Тамара». В заглавной ее героине предстает демонический образ легендарной грузинской царицы, которая, подобно пушкинской Клеопатре из «Египетских ночей», продавала свою любовь по баснословно высокой цене — ночь любви ее любовники оплачивали жизнью. Звучное имя Тамара она получила, будучи на самом деле княжной Дарьей, скорее всего потому, что Лермонтов принял версию французского шевалье Шардена, сконтаминировавшего в своем «Путешествии» обеих героинь, надо полагать, ради занимательности.

Событийный план легендарной love story демонстративно лишен конкретики. Повествуется о регулярно повторяющемся обыкновении, о некоем ритуале демонического удовлетворения ненасытной, неугасающей страсти. У этой истории нет ни начала, ни конца. Временные промежутки, как и действия ее персонажей, повторяются циклически. Рассказ внешним образом претендует на почти абсолютную эпическую объективность, напоминая в этом отношении непререкаемый пафос легенды. Но известный и достаточно ощутимый налет лиризма все-таки остается. Причем единственной сферой его проявления оказывается нарративный дискурс: выбор предмета повествования и его стилистические приемы.

Лермонтов, перешедший уже на реалистическую стратегию творчества, сознательно эксплуатирует расхожие клише романтической баллады, то утрируя их, то разбавляя приметам совершенно иной эстетической ориентации. В двух первых экспозиционных катренах обе тенденции причудливо переплетаются: «В глубокой | теснине | Дарьяла,/ Где роет | ся Терек | во мгле,/ Старинна | я башня | стояла,/ Черная | на черной | скале.// В той башне | высокой | и тесной/ Царица | Тамара | жила:/ Прекрасна, | как ангел | небесный,/ Как демон, | коварна | и зла» [1, 217–218].

Трехстопный амфибрахий в чистом виде или чередующийся с 4-стопным имеет устойчивую репутацию балладного размера. В данном случае он вдобавок органично передает интонацию неспешного изложения экзотической туземной легенды, чему в немалой степени способствует совпадение стопо- и словоразделов.

В отличие от «Спора» с его необъятно распахантым хронотопом, соответствующим панорамному видению высочайших кавказских вершин, здесь подчеркивается *теснота*, оттеняемая *глубиной* по отношению к Тереку и *высотой* по отношению к башне. Экспрессия отдельных образов и развертывающихся на их основе картин порождается индивидуально-авторскими приемами, позволяющими увидеть в повествователе, замещающем лирического героя, и поэта, и живописца в одном лице.

Бросается в глаза отсутствие прямых характеристик темпорального свойства, которое компенсируется тщательным моделированием художественного пространства. Лишь временные формы глаголов указывают на то, что описываемые события происходили в прошлом, да блистающий «сквозь туман полуночи» «золотой

огонек» в зачине третьего катрена наглядно подтверждает, что описываемые события происходили отнюдь не при свете дня, по ночам. Отсюда повышенное внимание деталям, воспринимаемым акустически. Взять хотя бы неожиданный, фантастически выразительный глагол «роется» по отношению к протекающему «в глубокой теснине Дарьяла» Терек. Слышно, как «во мгле» невидимая река неумолчно катит свои стремительные волны по каменистому руслу. Не видна, а лишь угадывается «старинная башня», стоящая «чернея на черной скале». Тавтология, как и в случае соседства «*теснины* Дарьяла» и «башни высокой и *тесной*», выполняет здесь функцию гиперболы. Атмосфера тотального ноктюрна настолько сильна, что опровергает даже естественную смену времен суток: «Но только что утра сиянье / Кидало свой луч по горам, / Мгновенно и мрак и молчанье / Опять воцарялися там».

В первом же представлении заглавной героини рассказчик дает ей недвусмысленную, построенную по всем правилам романтической антитезы амбивалентную оценку: «Прекрасна, как ангел небесный, / Как демон, коварна и зла». В дальнейшем, вплоть до прощального проблеска «чего-то белого» в окне башни, мы царичу не видим, а только слышим и доверяемся предположениям рассказчика о драматических сценах, разыгрывающихся в ее покоях. Слышим пленительный «голос Тамары: / Он весь был желанье и страсть, / В нем были всеильные чары, / Была непонятная власть», узнаем о том, как «на голос невидимой пери», словно мотыльки на свет, устремляются и воин, и купец, и пастух, догадываемся о любовных утехах, опираясь опять-таки на слуховые впечатления: «Сплетались горячие руки, / Уста приникали к устам, / И странные, дикие звуки / Всю ночь раздавалися там». Для усиления художественного эффекта автор-повествователь вновь прибегает к романтическому гиперболическому сравнению и мрачной — в составе его — антитезе: «Как будто в ту башню пустую // Сто юношей пылких и жен / Сошлись на свадьбу ночную, / На тризну больших похорон».

Каждый раз регулярно повторяющиеся перипетии завершаются однотипной развязкой: Терек в Дарьяльской теснине «*время* нарушал тишину», привычно гнал свои волны, которые «с *плачем*» уносили очередное, заметим, «*безгласное* тело», а из окна башни звучало отчаянное «прости». В заключительном катрене в голосе повествователя можно различить реакцию на трагическое несоответствие ангельского и демонического начал, которые противоестественно сошлись в воспетой им героине:

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал [1, 218–219].

Эта реакция интертекстуально сродни доминирующему отношению лирического субъекта в поэзии юного Лермонтова к предмету преследующих его любовных разочарований.

**Елена
ИВАНОВА**

**СУДЬБЫ
ПОЭТА
ЧАША
РОКОВАЯ**

ЛЕРМОНТОВ

I. Жизнь

«Я сын страдания...»

Лишь мудрый сердцем — не годами
Так мог сказать во цвете лет
Сам о себе: «Я сын страдания...»
Он с детства был душою сед.

Не знал он матери родимой,
Да и отца недолго знал он.
Не знал, не видел херувима,
Что прилетал порою в залу,

Незримо вился над лампадой
И с тихим ужасом следил
За неребяческим тем взглядом,
Который ход следил светил

За штору, в окне широком...
Как будто бы кометы век
Назначен в жизни одинокой
Ему. Престранный человек...

И, рано разминувшись с теми,
Кого всем сердцем бы любить
Хотел, он стал меж них как демон.
Событий развивалась нить

Стремительно за тем клубочком,
Что прямо к цели вёл такой,
Когда свинец поставил точку
На жизни, горько изжитой.

Он в двадцать шесть глядел устало,
Как будто вечность прожита.
Что было мёдом, ядом стало,
И вот — подведена черта...

2. Любовь

«Мне любить до могилы творцом суждено...»

Обычный смертный с виду, а не бог,
Не светский лев — ему претило это,
Он никого очаровать не мог,
Как не чарует, но страшит — комета!

Какой вослед подняться должен вихрь.
Дабы, порядок заданный нарушив,
Ему в объятьях принести своих
Земную жертву — трепетную душу!

Ну, а закон царящий между тем
Цепи железной крепко держит звенья.
Как евнух, стерегущий свой гарем,
Бесстрастен он, и груб, и чужд сомненья.

Какая страсть всеильная нужна,
Чтоб одолеть земное притяженье!
Ему равновеликая жена
Не стала грозной той кометы тенью.

И были те, которых мелкий бес
Подталкивал вояж свершить полночный.
Но пламень, польхающий с небес,
Их возвращал назад, земле порочной.

Комета одинокая летит
И рассыпает свой огонь искристый.
И всё звезда с звездой говорит,
И всё блестит в тумане путь кремнистый.

3. Смерть

«Кто близ небес, тот не сражён земным...»

На свете нет печальнее сюжета...
Звучало бы неискренне «прости...»
Сам рок назначил палача для жертвы,
Сгодился, кто у чести не в чести.

И, чтобы завершить сюжет тот странный,
Явив к сражённому свою любовь,
Склонясь, его омыло небо раны,
И хищная земля впитала кровь.

Бурлил Машук, ручьи вскипали пенно,
Небесный бушевал, ярясь, простор,
Как будто пляской молний вдохновенной
Угасший оживить пытался взор,

Чтоб оставался всё поэт меж теми,
Кем пренебрёт, и стал бы им как друг.
И луч блеснул меж туч! И гордый демон
Добычу свою выронил из рук —

Мятежный дух умолкшего поэта.
И тут же непорочный херувим
(Всё в довершенье странного сюжета)
Воскликнул: «Мой! Он будет мной храним».

Судьбы испита чаша роковая,
И кухенройгера водою залит ствол.
...Гроза стихала, в даях открывая
Кавказских гор божественный престол.

Теперь, поэт, живи, на рок не сетуй:
Земли ты выше, выше облаков.
Душа твоя свои порвала сети,
И нет предела ей, как нет оков.

4. Эпилог

*«...Всё, что любит меня, то погибнуть должно
Иль, как я же, страдать до конца».*

Несчастен тот, кто был рождён
Во лбу с отметиной пророка.
Как громом, знаньем поражён,
Душой он старится до срока.

Он, кто тоскою занемог,
Как будто чуждый между всеми.
Поцеловал его, как Бог,
В кругое темя гордый Демон.

И Ангел мечется над ним,
Гонимым, страждущим Поэтом,
Пытаясь тщетно его дни
Наполнить радостью и светом.

Порой прорвётся светлый луч
В его смятенный мир — и что же?
Тотчас же стая мрачных туч
Над ним смыкается тревожно.

И кто делить бы захотел
Его удел — делить не может:
Не для земного тот удел —
Его раздавит, уничтожит.

Со смертью словно бы шутя,
Стоял под дулом пистолета
Он как безвинное дитя
С тоской в груди: за что мне это?!

И было даже не дано
Ему в конце кровавой драмы
Вспомнить бывшее давно
И напоследок крикнуть:
— Мама!..

И вот сражён... Лежит в крови,
И гнев небес ярится, страшен!..
Так страстно жаждавший любви
И ненависть врагов стяжавший,

Зачем он жил? Зачем страдал?
О небеса, хоть нам ответьте!
Ведь он бы с радостью отдал
За миг того, что не познал,
Ему ненужное бессмертье.

**Владимир
БУТЕНКО**

**ПОБЕДА
СЕРДЦА**

...Ах, Мишель, Мишель, надлежит ли поручику, бывшему гусару, командиру лихой сотни, принимать так близко к сердцу вошедшую в силу весну, томный запах перволистья и мимолетную пресную свежесть талой воды, доносимую ветерком из подворотен и дворцовых палисадов? Что за бабская слезливость при виде звездного узора, выложившего широкую полосу неба вдоль Невского проспекта, по которому мчалась карета в дом Карамзиных? Впрочем, здесь, на севере, и Венера, и другие светила казались ближе и родней. А на Кавказе, куда по воле службы он должен отбыть, ночи были неприветливы — не обычная темнота, а тьма-тьмущая ложилась на горы и ущелья, зачастую окутанные туманной дымкой. И когда среди вершин всё же открывалось небо причудливыми косяками и по-южному ярко и яростно вспыхивали звезды, его преследовало ощущение таинственной торжественности и незримого присутствия высших сил, сверху глядящих на Землю и как будто проникающих исподволь в душу, наполняя ее и восторгом, и мятежной тревогой, и предчувствием кончины...

Лермонтов ехал на прощальный ужин, по обыкновению размышляя, иронизируя и рассеянно поглядывая на фасады зданий и встречные экипажи. Мягко ступались апрельские сиреневые сумерки. В памяти всплывали строки Додо Ростопчиной, посвященные ему. Как всё же талантлива милая княгинюшка, столь неожиданно ставшая другом за время его отпуска! Поэтическое напутствие Евдокии Петровны (она позволяла называть себя Додо только близким) было ответом на его стихотворение, написанное в альбоме. Оба они были известны публике как писатели. Но княгиня, не переставая хвалить лермонтовские стихи, как бы подтверждала его неоспоримое лидерство в русской поэзии.

Одобрительные отзывы в этот свой приезд в столицу слышал он повсюду и от других, даже

от собратьев-писателей. Известность, пришедшая со дней написания «На смерть поэта», ширилась. Переписанное, разошедшееся в рукописях, это стихотворение принесло ему, однако, не упоение славой, а осуждение самодержца и арест, первую ссылку на Кавказ. «Отправлен по следам Пушкина», — с горечью думал он тогда о себе. И эти негаданные испытания, постигшие его, как бы навек связали с любимым поэтом. Мучительной ценой и страданиями окупил он каждое написанное им слово! И странно, только в последнее время, после выхода книг и журнальных публикаций, он стал осознавать, что *его творчество может влиять на настроение людей и ход мыслей*. Иные не стесняются твердить ему в глаза: «первостепенный поэт», «продолжатель Пушкина», «надежда отечественной словесности», что неизменно вызывало в душе и протест и... отзвук обволакивающего елеем, манящего, где-то глубоко спрятанного тщеславия. И, ловя в себе это смешанное чувство, досадуя на себя за слабость и зависимость от чьих-то снисходительных слов, вместо улыбки благодарности Лермонтов отвечал довольно сдержанно, иногда двусмысленно и едко, ставя читателей в тупик.

Демон просыпался в душе его, гневил, требовал покуролесить. Он едва удерживался, чтобы не объявить с вызовом, что пишет не ради того, чтобы одаривали любезностями и называли *поэтом!* Но желание это, к счастью, так же быстро угасало... Он ведь и сам не мог решительно понять, откуда дар сочинительства. Знал лишь одно, что волен в собственных желаниях, что пишет о том, что тревожит, что подсказывает разум и требует сердце! И это до мук болезненное творческое его своеволие не ведает границ, ничто не могло и не может поколебать его. «Вдохновение» — понятие индивидуально означенное. Каждый из сочинителей определит его по-своему. Для него же прежде всего это явившийся вдруг божественный зов. Как его объяснить? Будто бы наполняет душу властный неведомый гул, обретающий исподволь различные звуки, которым сопутствует порыв чувств, возносящий в чудное, непостижимо-сладостное забытьё...

Лермонтов с необоримой тревогой вспомнил о приближающемся отъезде, на память повторил строки Додо:

Ему — поклоннику живому
И богомольцу красоты —
Там нет кумира для мечты
В отраду сердцу молодому!

Да уж, какие там, на военных перепутьях, кумиры! Снова экспедиции в глубь чуждого далекого края, в аулы, ожесточенные схватки с горцами, кровь, убитые и раненые... А всё-таки чеченцы — славные ребята, храбрые воины. Умирают с высоко поднятой головой, бьются изо всех сил и до последнего патрона. Да и не было, по словам сослуживцев, среди них примеров предательства. А сколько раз в жизни светской, в офицерском круту стерегла его клевета, ложь, измена! И чаще всего не открыто, а тайно, подленько...

Весь сегодняшний день он не находил покоя, расстроенный неожиданным приказом Клейнмихеля, дежурного генерала генштаба (хотя до этого дана была отсрочка), прервать отпуск и в течение 48 часов выехать в свой полк. Стало быть, недавнее предсказание гадалки, воспринятое им тогда с пренебрежением, не пустые слова!

Ничто не помогало ему вернуть обычную твердость духа, даже чтение романа Купера. Он пробовал сочинять, но мысли рвались и казались мелкими. И снова на миг усомнился он в своем поэтическом назначении, как было давеча на балу у графа Воронцова-Дашкова, когда спросил у писателя Сологуба, верит ли тот в его талант. Беллетрист, неизменно держащийся с дворянской надменностью, разразился панегириком, а в глазах таилась что-то нехорошее, скользкое, недружелюбное...

Тот бал дорого стоил ему за бездумную оплошку, за желание привлечь к себе дам, пофорсить: он надел армейский сюртук с укороченными фалдами. Великий князь Михаил Павлович заметил это и помрачнел. Выходка только что приехавшего с Кавказа поручика, непочтение к форме в присутствии царственной особы грозили неприятностями, вплоть до ареста. И если бы не хозяйка бала, великодушная и мудрая графиня, которая поторопилась вывести гостя-своевольца через черный ход, а затем уговорила великого князя снизить к молодости Лермонтова, то гроза наверняка бы грянула...

Повеселел и отвлекся он лишь под вечер, просматривая две свои, скромного вида, недавно вышедшие книжки: «Герой нашего времени» и «Стихотворения». Обе были тиражом в тысячу экземпляров, обе пестрили корректорскими ошибками и цензурными исправлениями. И всё же эти напечатанные по настоянию его друзей, как бы материализованные части его творчества — роман, двадцать шесть стихотворений и две поэмы — были теперь для него самым дорогим богатством. Книги, как бы отделившись от него, жили теперь собственной жизнью, они, по уверению приятелей, перехватывались из рук в руки, вызвали споры. И всё же как это мало, ничтожно мало! Он представлялся, особенно при встречах с литераторами, не стихотворцем, а любителем, сродни музыкальному дилетанту. И при этом ощущал в душе досаду от несправедливости, преследующей его. Он мечтал издавать свой журнал, сочинять романы, жить в столице, вращаться в кругу родных по духу людей, которые ему всегда рады в доме Карамзиных. А вместо этого обязан носить мундир, служить на Кавказе в действующей армии, терпеть незаслуженную опалу великого князя и самого царя!

«Должно быть, мой недостаток в том, что слишком впечатлителен и помню многое, многое из прошлого, — больно отдалось в душе. — Не забываю ни радостных дней, ни страданий. И упорно ищущ справедливости. Очевидно, поэтому возник слух, что у меня дрянной характер? Да, я субъективен. Часто неуступчив и неестественен, в силу дурацкой природной застенчивости. Но, видит Бог, никому не желал зла и не делал его сознательно. «Зло порождает зло», — это убеждение я сознательно приписал Печорину. Мы оба самолюбивы! Да, как и всякие добропорядочные господа. Еще в молодости придумал я шкалу и расставил по ней различные степени чувства, которые принято называть собственным достоинством, как-то: самолюбие, гордость, высокомерие, спесь... Две последние ступени присущи негодьям и глупцам. Они не в состоянии оценить добро и добродетель, красоту искусства и могущество разума. Остроту или случайную насмешку воспринимают как оскорбление. Они так устроены, таковы в естестве своем. Французик Барант — трусишка и подлец, песчинка среди подобных личностей. И разве могу я покорно сносить их пренебрежительность, диктат, угрозы? Христос и Магомет недоступны оскорблению, ибо недостижимы в своей вере, мудрости и силе духа... Да и дьявола оскорбить также невозможно, как это ни звучит кощунственно... А мы, смертные, мечемся. И нет сре-

ди нас ни одного святого и никогда не будет... И только искусство, музыка и поэзия даны роду человеческому в утешение — это понимал Пушкин лучше всех. Они способны примирить с жизненными невзгодами и неизбежностью исчезновения с Земли. «Мы рождены для вдохновенья, для чудных звуков и молитв». Именно так, именно так... Все мои строки, посвященные тем, кого любил или ненавидел, — это история моей души, духа, разума. Она не менее интересна, чем история какого-то народа или государства. Об этом я успел написать в предисловии ко второму изданию «Журнала Печорина». А прежде многое было написано мною по случаю, небрежно, наспех. Да я и не собираюсь их обнародовать! Юношеский бред, а не пьесы... Хотя излишне выправленные стихи не трогают, тускнеют, как вяленый изюм. Пушкин нарушал грамматику, добиваясь слитности слов и чувств. Да и мне в редакции у Краевского пришлось отстоять ошибку: «Из пламя и света рожденное слово». Слова сами командуют подчас поэтом. Да и нечего делать, если «из пламени» в строку не ложится...»

Он вновь с безысходностью стал размышлять о том, что предстоящая служба не позволит ему всецело отдаться литературе. Мысли об упущенной из-за дуэли с Барантом возможности жениться на княгине Щербатовой, что могло дать шанс на выход в отставку, живо напомнили ему о прекрасной вдовушке и о других женщинах, которыми увлекался и которых любил...

Любил... Так ли это? И можно ли причислить к этому то чувство, исполненное радости и страха, умиления и ревности, которое он десятилетним мальчиком испытал к милой конопатой девчужке? И как определить *самое любовь*, если чувство это, умирая к одной, возникает, но уже совершенно по-иному — к другой? Что это: чудная мечта, жажда наслаждений, желание подчинить женщину своей воле, инстинкт продолжения рода или поиск открытий в себе и других? «Любить... но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно...». Его обвиняют в байронизме и скептицизме. Да, он сполна отдал в молодости дань моде. Но ныне думает и чувствует по-новому! И запасов из пережитого хватит еще надолго, не на один роман... Невероятно, но он так и не встретил той единственной, которая бы жертвенно разделила его судьбу. И, быть может, те скоротечные минуты счастья, умиления и восторга и те длинные часы страданий от женских измен, разочарований и предательств имеют иное название? Бог весть. Видимо, плоть и дух живут по особым, никем ещё не разгаданным законам...

Где ты, юность чистосердечная и первая страсть, до сих пор бережущая душу? Даже теперь, спустя одиннадцать лет, таилось в памяти состояние потерянности, которое угнетало в Середникове, имении Стольпиных, где гостил он вместе с бабушкой. Семья Сушковых проживала по соседству и наезжала туда. Он познакомился с Екатериной, Катенькой-Черноглазкой, как звали ее родные, у Верещагиных, а здесь, в стольпинских владениях, на аллеях тенистого парка, сблизился с ней и — влюбился. Девушка была старше его и готовилась «на выданье». И ухаживание университетского полупансионера восприняла как забаву, сделав его своим «чиновником по особым поручениям». Мишель носил ее зонтик, шляпку, перчатки, которые — о, ужас! — не единожды терял. Живая, с причудами и острым умом, Катя и благоволила, и дурачила, и доводила до слез откровенными насмешками.

Тогда он впервые осознал, что бог наградил его весьма заурядной наружностью, страшным несоответствием между тем, как выглядел внешне, и миром внут-

ренным С детства испытывал Михаил некую, сродни грусти, зависть к добропорядочным семьям, к мальчикам, у которых были родители. А он, выросший в глухом пензенском имении, окруженный дворней и воспитателями, был лишен родительской ласки. Он почти не помнил покойной матушки, был разлучен с отцом, которого бабушка отрешила от воспитания сына. Одиночество, окружавшее его с ребяческих лет, разбрасывало тенета, обособляло. Да, жил в их доме троюродный брат Аким, его сверстник, бывали и другие гости с отпрысками. Многому научили его мудрые и бывалые гувернеры-иностранцы. Бабушка Елизавета Алексеевна, любя единственного внука безумно, подчинялась его капризам, устраивала всяческие забавы, старалась, чтобы жизнь Мишеньки была интересной, вольной и радостной. Рисование, чтение художественных книг да поэзия, милость Господня, своим добрым волшебством отогрели маленькую душу и наполнили его существование смыслом. Он помнил себя постоянно что-то сочиняющим: то стихи, то эпиграммы, то послания, то прозаические этюды. Он с радостью публиковал свои произведения в рукописном журнале. Елизавета Алексеевна, стараясь дать внуку всестороннее образование, отнеслась поощрительно к его поэтическим шалостям, которые захватывали всё настоящей, унося в грёзах далеко и рисуя картины пленительные...

И вот теперь, встречаясь с Катенькой, зная, что приземист, неуклюж, он смиренно терпел выходки длинноволосой фурии и, не смея признаться в любви, как оглашенный писал стихотворения, в которых воспевал её и выплескивал боль неразделенной мечты: «С тобою грех мне лицемерить, ты слишком ангел для того...». В сущности, мальчишка, наивный и доверчивый, который, теряясь, даже улыбался криво. То, что другим подросткам, с приятным лицом и фигурой, давалось заведомо и безо всяких усилий, ему нужно было доказывать, подавать себя в выгодном свете, увлекать речами и остротами, именно завоевывать внимание прелестниц. Они же эту его вынужденную защиту, способ самоутверждения воспринимали как желание выделиться, язвить, куражиться над ними. С той печальной влюбленности и особенно когда стал офицером, взял он на вооружение эту манеру поведения, привычку дерзить, вести себя в обществе подчеркнуто независимо. С близкими людьми, которыми дорожил, он был одним — простым и откровенным, а среди светской коловерти, среди чуждых ему людей, вельмож, карьеристов, богачей-самодуров, самонадеянных мерзавцев точно надевал маску! И молва о Лермонтове, злобном, мстительном и надменном, благодаря языкам, которые «страшнее пистолета», неслучайно гуляла по обеим столицам. Что ж, «белеет парус одинокий»... Белеет, но не в бушующем море, а среди бездушных, убийственных гостиных...

И всё же ни одна барышня, ни одна женщина впоследствии не позволяла себе так пренебрегать им, как мадмуазель Сушкова! Особенно мучительно было вспоминать, как вместе с подругой, которая открыла ей глаза на горячее чувство юноши, «этот ангел» учинил ему допрос. Мерно хлопая сложенным веером по ладони незанятой руки, сидя на скамье под липой, Катенька, как взрослая, задавала ему каверзные вопросы притворно-строгим, театральным голосом, требуя, чтобы не только сознался в своем чувстве, но и подробно описал, в чем оно заключается. А он, пламенея во все лицо, то отводя взгляд, то взирая на предмет своей страсти затравленным волчком, что-то мямлил, говорил невпопад срывающимся голосом...

Через четыре года, каким мелочным ни покажется этот поступок, он отомстил ей! Узнав, что семья Лопухиных против женитьбы Алексея, его приятеля, на Екатери-

не Сушковой, Михаил приударил за ней, прослывшей в свете кокеткой, и вскружил ей голову, что и расстроило предполагавшуюся свадьбу с Лопухиным. И, посчитав миссию выполненной, он скандально порвал с влюбленной пассией, назвав её в письме к кузине Александрин Верещагиной «летучей мышью, которая цепляется за всё, что придется». Он твердо полагал, что всякий имеющий честь должен действовать в ответ на причиненное ему зло по известным канонам справедливости — наказание, месть, отмщение, возмездие. Возможно, с той, которую прежде обожествлял в стихах, он и обошелся жестоко, но побеждать беса, увы, удастся далеко не каждому и не всегда...

И было ещё у него, юного стихотворца, вслед за разлукой с черноокой насмешницей бурное увлечение Наташенькой Ивановой, дочерью драматурга, также красавицей и также легко пренебрегшей им... Остались адресованные ей стихотворные посвящения, а в душе при воспоминании о Натали тлеет теперь лишь сентиментальная грусть. Но тогда, о, боже мой, он стоял на краю гибельной пропасти, уверившись сгоряча, что не способен добиваться взаимности у своих избранниц...

Господь судил ему повстречать тогда же, в юности, небесное существо, память о котором доселе затмевает прочих женщин! Это Варя, Варенька, сестра друга по университету. Её дружная московская семья жила на Малой Молчановке, по соседству с домом, который снимала Елизавета Алексеевна. У милых Лопухиных он бывал почти ежедневно. И непринужденно-насмешливое отношение к живой, отзывчивой и развитой девушке, казалось, ничего не предвещало. С троюродным братом Акимом они даже позволяли себе, шутя, дразнить ее: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка», — за что она корила их и осуждающе качала головой. Но однажды весенним закатом, направляясь в круту молодёжи в Симонов монастырь ко всенощной, Михаил оказался на скамье повозки рядом с этой темноглазой очаровательной мечтательницей. И оба они почувствовали, что произошло нечто странное, необыкновенное в эти минуты! Они вдруг *увидели друг друга*, ощутили неведомое блаженство от этого открытия, так желанно сблизившего их. С этой поездки он всецело принадлежал своей возлюбленной, столь ранимой и несравненной Вареньке! Впервые в жизни повстречал он *женскую душу, понимающую его!* Точно по мановению свыше, стихи Михаила стали иными — глубже и напряженнее. Он уже не ощущал себя «нищим», тем героем своего стихотворения, которое посвятил Сушковой, — он теперь уже не мог им быть, ибо девушка отвечала взаимностью. Ах, сколько счастливых часов провели они вместе, сколько нежных и взволнованных слов сказано было ими, какими неудержимыми и восторженными были юные признания!

...Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдись любви своей...

Лермонтова оторвал от воспоминаний громкий надсадный вороний грай. Птицы, обсыпавшие верхушку старой липы, устраивались на ночлег. Их крики зловеще, громче колес, отдавались в весенних потемках. К счастью, возница повернул в переулок. Впереди напротив зажженных газовых фонарей лоснились булыжники мостовой. В открытое окно второго этажа углового здания выплескивалась чудесная мелодия — кто-то играл знакомый этюд Шопена.

Он поежил, поправил на шее завязанный платок и с горькой усмешкой подумал, что, пожалуй, до окончания века будет нести в сердце вину и сожаление о том, что так самоуверенно отнесся к обещанию Вареньки ждать, выйти за него замуж, когда «милый Мишель», окончив юнкерскую школу, станет офицером. Она, всем сердцем преданная ему, хотя отец и недолюбливал избранника, наверняка сдержала бы свое слово. Стараясь сохранить покой в доме Лопухиных, Мишель переписывался не с ней, а с её сестрой Марисей. Незримая нить, связывающая влюбленных, казалась неразрывной. Однако служба в лейб-гвардейском гусарском полку во многом изменила его, бросив в коловерт светской жизни. Блистательные балы, изобилие молодых красавиц и дам, всевозможные увеселения и пирушки закаруселили среди высшего столичного круга. То, что он волочится за Сушковой и ничуть не скрывает этого, разумеется, стало известно Варе. А он не мог объяснить — да это было и немислимо, — что «делает роман» ради её же брата Алексея... Навек запомнился ему и тот день, когда подали письмо, в котором сообщалось, что Варвара Лопухина дала согласие стать женой отставного майора и богатого помещика Бахметева, который значительно старше ее. Он едва не потерял сознание от внезапной потери той, которую и на расстоянии никогда не забывал, любил потаенно и знал, что любим ею, и верил в бесконечность этого обоюдного молодого чувства...

Карета остановилась. Окна дома, снимаемого Карамзиными, были ярко освещены, вдоль широкой улицы стояли экипажи приехавших гостей. Лермонтов легко взбежал по ступеням крыльца. В прихожей, сбросив на руки седовласого лакея свою шинель и подав форменную фуражку, отрывисто бросил:

— Доложи!

А сам подошел к высокому, в полный рост, зеркалу. Он был в армейском мундире, но без погон. На шее чернел завязанный шелковый платок, охваченный высоким белоснежным воротником рубашки. Лицо показалось ему смуглей и бледней, чем обычно. А глаза — печальными и очень усталыми. Эту ночь, обуреваемый раздумьями, он действительно спал скверно. Светлый вихор надо лбом, ярко освещенный настенным канделябром, выделялся шире, чем прежде, среди темно-русых волос. «Неужели седею?» — удивился он своему неожиданному открытию...

— Милый Лерма! Как я рада вас видеть! — прозвучал за спиной звонкий голос Софьи Николаевны, хозяйки салона. — Все уже здесь. Ждем только вас!

Он порывисто обернулся, взял руку этой обворожительной стройной женщины, припал губами к ее удлинённой, отдающей свежим ароматом ладони и взглянул исподлобья. Сердце ёкнуло: «Покинуть этот дом, эту красавицу, круг родственных душ... Покинуть ради походных биваков, невежественных болванов и диких аулов... И, вероятно, навек! Как тяжело!».

Однако ничем не выдал своего смятения:

— Я нахожу покой, дорогая Софи, только под этим кровом. Возможно, сегодня последний раз в жизни...

— Полноте, Мишель. Прошу не стенать и не хныкать, чтобы предстоящая дорога выдалась легкой! Идемте, Додо заждалась вас...

В гостиной было довольно многолюдно: Ростопчина, Александра Смирнова, братья Карамзины, Вяземский. Среди незнакомых дам сидела в уголке Наталья Николаевна Пушкина. Они были знакомы уже не первый год, но близко не сходились. Лермонтов уловил её сосредоточенный взгляд и, невольно улыбнувшись, издали кивнул. Она также ответила легким движением головы. И он, втайне считавший её недостойной гения и причастной к его гибели, впервые ощутил странное желание поговорить с этой единственной женщиной, стоявшей с Пушкиным пред алтарем...

— Ну-с, сердечный друг, не припасли ли вы нам напоследок чего-нибудь новенького? — лукаво блестя глазами, спросила Софи.

— Да-да! — требовательно, тоном родственницы, подхватила рослая Александра Осиповна Смирнова, тряхнув гривкой белокурых волос. — Уж побалуйте, господин поручик, нас своим талантом.

— Наверняка бы побаловал, ежели б ведал, под каким соусом его готовят или подают сырым, — отшутился Лермонтов, прищуриваясь от яркого света. — Увы, Александрин, нынче я с пустыми руками.

— Так напишите сейчас, как в прошлый приезд, год назад! — предложила Смирнова, урожденная Россетти, со свойственным южанкам веселым упрямством. — Глядели-глядели в открытое окно и написали шедевр. Или почтите нам стихотворения по выбору.

— Позвольте просто напомнить строки, написанные в вашем альбоме:

Что ж делать?...Речью неискусной

Занять ваш ум мне не дано...

Всё это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно...

— Грустить сегодня запрещено! — решительно возразила хозяйка дома и, взяв Лермонтова под руку, повела к Ростопчиной. — Дорогая Додо, заставьте улыбаться нашего поэта. По крайней мере, уймите его нерусский сплин.

И он с трепетной радостью поцеловал руку поэтессы, маленькую и легкую, как у девочки. И продолжительным взглядом ответил на ее взор, теплый, дружеский, слегка печальный. Додо для этого прощального вечера выбрала карминное платье из штофа, с большим декольте, украсила грудь рубиновым колье. Высокая прическа, открывшая ее маленькие розовые ушки, в которых сияли треугольные серьги, очень шла ей, делая еще моложе и прелестней.

— Вы сегодня выглядите как греческая богиня! — полушепотом, восхищенно сказал Лермонтов.

— Почему же — греческая? — удивленно вскинула свои длинные ресницы приятельница.

— Потому что у вас классический профиль. Если останусь жив и вернусь с Кавказа, непременно нарисую ваш портрет. Я думаю, для успеха женщины, пишущей стихи или выступающей на театре, необходимо непреложное условие: она должна

быть красива. Предмет искусства и поэзии — прежде всего любовь. Представьте пи-галицу, вопиющую о собственном чувстве. Нос картофелиной, глазки как зернышки, ноги коротки, как у оловянного солдатика, а сия чувственная особа страдающе молит: «О, приди ко мне, мой любимый и страстный! Я осыплю тебя поцелуями!».

— C'est trop!¹ — протестующе воскликнула Ростопчина.

— Я говорю как думаю. Кроме жалости и отвращения, это уродство ничего вызвать не может. А нашему брату, мужчине, многое прощается. Он не обязан пленять красотой! Более того, красавчики вызывают у меня отторжение. Мужчина должен быть храбр, умен и великодушен. И ему, женскому рабу, достаточно пасть пред ней на колени и просить у избранницы милости. Ведь она — владычица мира. Женщина, её красота — кумир поэтов и служителей муз. Вот я и говорю, Додо, что бог дал вам талант в придачу к красоте!

— Да, не хотела бы я попасть к вам на язычок, — то ли с укором, то ли с сожалением проговорила княгиня. — Вы, Лерма, как всегда, бросаетесь в крайности. Внешность дается богом и природой. И если есть среди нас, женщин, земная богиня, несравненная по женственности и красоте, по уму, то это Натали Пушкина. Потеря мужа, страшное несчастье изменили её, но не сделали менее прелестной. Взгляните на неё исподволь. Разве может кто-либо из нас сравниться с её скульптурной фигуркой или глазами, отливающими, как мокрый чернослив?! Она само совершенство. Только Натали и могла быть достойна великого человека!

— Узнаю поэтическую натуру! Но так ли это? Не слишком ли была она при жизни мужа благосклонна к тем, кто волочился и оказывал недвусмысленные знаки внимания? — резким голосом перебил Лермонтов.

— Моп амі, вы противоречите сами себе, — укоризненно покачала головой Додо и усмехнулась. — Сначала вы мне доказывали, что женщина обязана быть прекрасна, а теперь, если она такова, вы хулите её за то, что ею восхищаются и за ней ухаживают мужчины.

— Ничуть, о, мудрейшая! Я говорю о нравственности.

— И я тоже! Упрекнуть Наталью Николаевну, поверьте, даже мне, светской даме, существу пристрастному, не в чем. Софья Николаевна — её сокровенная подруга. Она охарактеризует вам Натали лучше всех. Софи гостила, если не ошибаюсь, в доме Пушкиных как раз в тот час, когда раненого Александра Сергеевича привезли с дуэли. И едва ли не последней видела его перед кончиной. Вы же, много переживший, знаете: горе измеряется глубиной, которую ничем и никак не подделаешь. Натали была на грани умопомешательства. И только недавно прервала добровольное уединение в родовом гнезде. Нет, Мишель, вы относитесь к Наталье Николаевне несправедливо. И будете об этом жалеть...

Лермонтов промолчал. Вздыхнув, достал из кармана мундира табачную коробку, прикурил пахитоску от свечи канделябра. Вновь уловив добрый, грустноватый взгляд приятельницы, порывисто произнес:

— Жутко тоскливо. Прощаюсь! Прощаюсь навсегда... Не хочу уезжать! И чувствую, как по-доброму изменился здесь, в вашем кругу, вообще в столице. Даже сентиментальным стал. Сегодня, когда ехал по Невскому, увидел удивительно ясные и чистые звезды, как будто говорившие одна с другой. И слезы навернулись... Почему-то стал сильнее ощущать природу, интересоваться людьми и не судить их прежними мерками. И всё больше думаю о российском обществе, о на-

роде нашем, — и приглушенно заговорил по-французски: — *Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas qu'un certain nombre d'hommes souffre patiemment, mais c'est qu'un nombre immense souffre sans le savoir*².

— Я совершенно согласна. Слова достойны афоризма, — заметила Додо, искоса наблюдая, как некоторые из гостей раскланиваются с хозяйкой и выжидающе останавливаются у дверей. — Мишель, с вами хотят проститься. Ужин пройдет в узком кругу.

Короткие минуты, в которые он обнимался и обменивался репликами с приятелями и пожимал руки незнакомым молодым людям, среди которых выделялся светловолосый прапорщик, глядевший на него с благоговением, растрогали Лермонтова. Обойдя кружок Ростопчиной, к которому присоединились братья хозяйки, блистательные гвардейские офицеры, он прошел вдоль ряда красных кресел, пахнущих кожей, и стульев, расставленных так, чтобы гостям было удобно общаться. Совершенно случайно в тот момент, когда Лермонтов остановился напротив Натальи Николаевны, её две дамы-собеседницы и усатый гусар поднялись и удалились к выходу. Она, не скрывая удивления в своих огромных, завораживающих глазах, встала и приятельски протянула руку. А он, ощутив, как кровь прихлынула к вискам, странно оробел... Неловко поцеловал даме ладонь... Неуклюже прошел к свободному креслу...

— Мы одновременно посещали Карамзиных не один раз, но... Почему-то вы избегали меня, Михаил Юрьевич, — с доверительной теплотой проговорила Пушкина, и он отметил её приятный грудной голос и четкую речь. — С того дня, когда моя сестра передала мне листок с вашим стихотворением «На смерть поэта», я заочно полюбила вас как человека и единомышленника. Я нашла в этом стихотворении некое утешение, поняла, что мою скорбь разделяют и другие. В такие страшные дни это важно. Потом я узнала, что вы понесли лишения и были наказаны ссылкой на юг, и это еще больше заставило меня относиться к вам с глубоким уважением. Поэтому я хочу, пусть запоздало, поблагодарить вас за стихи о покойном муже, за то, что всегда хорошо отзываетесь о нем. Мне об этом говорили и Жуковский, и Вяземский.

— Весьма польщен вашей оценкой литературных опытов, — обретя привычное состояние духа, Лермонтов взглянул в глаза Натальи. — Я только слышал о вас, встречал вас, но совершенно не знал... Каюсь! Точно незримая преграда стояла между нами. Не знаю, почему свет так враждебно настроен ко мне. Я никому не делал зла, старался быть искренним и честным. А за это подвергся отчуждению и ostrакизму!

— Мне это знакомо особенно, — понимающе кивнула Наталья, и её глаза подернула тень. — После гибели мужа весь мир земной, казалось, восстал против меня. Возможно, бог и наказал меня за что-то, но только не за измену. Я любила и поныне люблю одного мужа. Как верно сказал Ларошфуко: «Великое чудо любви заключается в том, что она унимает кокетство». Мне оно было неведомо, потому что никто не мог сравниться с моим Сашей...

— Я давно намеревался выразить вам, самому близкому человеку Александра Сергеевича, восхищение его творчеством и поклонение! Я никогда бы не постиг счастья открытий и созидания, тайных глубин поэзии, если бы не стал прилежным учеником Александра Сергеевича. Я не преувеличиваю!

Наталья Николаевна заинтересованно склонилась, и его окатило чувство восторженного озноба от сознания, что перед ним первая красавица России, любившая гения и любимая им. Её темно-русые волосы были расчесаны на пробор и уложены с

необыкновенным искусством, так что локоны ниспадали к ушам, открывая лоб, которой пересекала по верхнему краю фероньерка, золотая цепочка с изумрудом в дорогой оправе. Восхитительно сидело на ней и зеленое платье, с шаровидными рукавами, отороченными кружевами, плотно облегающее грудь и узкую талию. Нечто магнетическое было в выражении ее лица с чудесной матовой кожей, в её плавных жестах...

— Сначала я переписывал его произведения в тетради, затем переделявал их, придумывал иные окончания. Сочинил, подражая Пушкину, целую поэму «Кавказский пленник». С ранних лет я неоднократно бывал на Кавказе, лечился там минеральными водами. Тема знакома, вот я и вообразил трагические картины... И сам не заметил, как стали получаться, складываться оригинальные стихи... — Лермонтов смущенно покраснел и вдруг спросил: — Как вы считаете, Наталья Николаевна, только ответьте откровенно, могли бы мои произведения понравиться вашему мужу?

Натали отвела взгляд, сосредоточенно размышляя.

— Безусловно! Я совершенно убеждена, что он не сдержал бы восторга, как всегда радовался новым талантам. Иногда он снится мне, и мы беседуем, хотя я не напоминаю о чем... Я до сих пор как бы чувствую его присутствие, интуитивно следую его подсказкам... Вы наверняка бы стали с ним друзьями!

Лермонтов улыбнулся, замигал, стараясь скрыть предательски навернувшиеся слезинки. Сердце колотилось как бешеное!



**Брюллов А.П. (1798–1877).
Портрет Натальи Николаевны
Пушкиной (урожденной
Гончаровой) (1812–1863).
Бумага, акварель. 1831–1832.**

— Сегодня у меня самый печальный и самый счастливый вечер в жизни, — признался он, доверчиво понизив голос. — Счастливый потому, что я узнал вас и услышал то, о чем даже не мечтал. А печальный... верней, прощальный, оттого, что едва ли я вернусь с Кавказа... Точно камень лежит на груди... А наемни ездил я с приятелем к немке-ворожее. К той самой Александре Филипповне, что предсказала вашему мужу смерть от «белого человека». Дантес, как мне известно, блондин... И она нагадала мне, что больше не быть в Петербурге, что «ожидает меня отставка, после которой уже ничего не пожелаешь». Я посмеялся было, поскольку в тот самый день продлили отпуск. Ан вышло, что она не ошиблась...

— Милый Михаил Юрьевич, не верьте предсказательницам. Это грех. Это от лукавого. Нами распоряжается Господь. Молитесь и надейтесь на его помощь. Вы

молоды и умны, вас ожидает блестящая будущность! Только об одном вас прошу: поберегите себя там, в баталиях кавказских. Будьте благоразумны. Теперь вы принадлежите не только себе, но и России. Я буду ждать вашего возвращения. Сердце мне подсказывает, что всё будет славно!

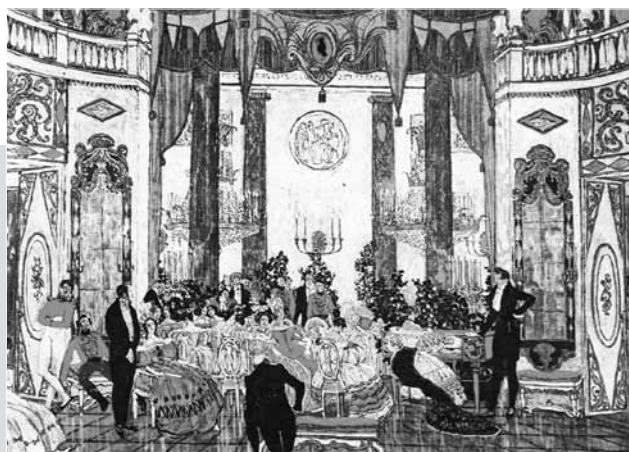
— Если я вернусь, я заслужу ваше прощение за былую отчужденность и холодность. Я ведь воспринимал вас как бесчувственную светскую львицу, неприступную красавицу. А нашел искреннего и близкого по духу, чистосердечного человека...

— Мне вас прощать не за что, — ласково промолвила Натали, вставая. — Напротив, я винюсь, что не говорила вам, Михаил Юрьевич, о своей любви к вашему творчеству. И особенно рада, что, вопреки, как вы выразились, «неприступной красоте», вы подошли ко мне как к другу... Извините. Il faut partir³.

Карамзины с удивлением наблюдали за этой затянувшейся беседой, зная тайную враждебность Мишеля к Пушкиной и дивясь столь быстрой перемене, произошедшей с ним.

Вечер подходил к концу, и Лермонтов всё острее ощущал безвозвратный бег минут. Наконец лакеи открыли двери в столовую, и оставшиеся гости двинулись к столу.

— Наталья Николаевна очень тронута, что вы подобрали к ней и наговорили комплиментов, — с радостью сообщила хозяйка, ведя его под руку. — Жаль, что уехала. Мы очень дружны. Я не знаю сердца отзывчивей и добрей, чем у нее... Мне



Головин А. Я. (1863–1930). Эскиз декорации к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад». 1916–1917. Клеевая краска, гуашь, серебро, белила. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва.

кажется, Мишель, у вас улучшилось настроение. Уж не она ли тому причиной? Ну и как вам наша красавица? Повержены в прах?

— Повержен. Но не только красотой. Вы правы, Софи. Есть сила иная, неодолимая... Я побежден её сердцем.

1 Это слишком! (фр.)

2 Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого (фр.).

3 Нужно ехать! (фр.)

ДУБ ЛЕРМОНТОВА

В моих руках — кусок его коры,
Весь в оспинках глубоких
и морщинах.
С далекой исторической поры
Он дожил, сохранившись
молодчиной.

Полтыщи лет был гордостью степей
И украшал собою эту местность.
Сражался с бурей и листвою пел.
И все ж его судьбой
была безвестность.

Он тихо б умер, рухнув на ветру,
Когда б на помощь не явился случай.
Пришел к нему однажды поутру
Мятежный гений, молодой поручик.

И «патриарх» привел его в восторг.
И, размышляя над своей судьбою,
Поэт воспел всего один листок,
Что оторвался и умчался к морю.

Тот эпизод — мгновение, момент.
Но с той поры от славы не отбиться.
Весь белый свет почти две сотни лет
Ходил, чтоб великану поклониться.

Он рухнул, семь столетий перекрыв,
Могучий дуб, всему известный миру.
И растеклись, как будто перья крыл,
Его частицы в многие квартиры.

Они живут, наш украшая день,
Национальной гордости примета.
Дуб потому бессмертен для людей,
Что осиян он гением поэта.

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

«Нет, не тебя так пылко я люблю», —
Писал поручик, возвратившись с бала.
Село Шотландка за окном дремало,
Лишь вспыхивали звезды, как салют.
А перед взором плыл Дианы грот
И вальс с кузиной, милый вальс прощанья.
«Не для меня красы твоей блистанье», —
Он по бумаге медленно ведет.
Катюша и прелестна, и свежа,
Им на балу — всеобщее вниманье.
«Люблю в тебе я прошлое страданье», —
Там, с Варенькой Лопухиной душа.
А сам уже у жизни на краю,
Последний раз перо в руках поэта.
И он спешит закончить до рассвета:
«И молодость погибшую мою».
Последние стихи. Всей жизни боль.
Им ни дуэли не страшны, ни сплетни.
Нам всем бы так работать над собой,
Как будто каждый стих у нас — последний.

ПРОКЛЯТЬЕ ДИАНЫ

Вечер степным орлом, утомленным дневною охотой, широко взмахнул крыльями, очертив магическим кругом темнеющий горизонт, и спустился на склоны Машука. Стояла дивная, по-июльски тихая, безветренная теплынь. К восьми часам, как и было означено в приглашениях, разосланных накануне, званные гости из числа молодёжи «водяного общества» стали съезжаться к Гроту Дианы. Знаменитое рукотворное «святيليще», именуемое так в честь древнеримской богини — покровительницы охоты, не только снискало себе славу излюбленного места пикников и шумных пирушек на природе для молодых людей, волею судьбы оказавшихся в этих краях. Поговаривали, будто бы Грот Дианы в минуты душевного разлада чудесным образом возвращал утраченное чувство равновесия и гармонии. И Лермонтову вдруг пришло в голову устроить здесь бал. Друзья, привыкшие к тому, что не способны до конца понять всех помыслов товарища своего, решив, однако, не лишать себя удовольствия развлекаться и повеселиться, во всём помогли воплотить задуманное предприятие.

Нельзя, однако, не заметить, что приглашения были разосланы не всем, а только более или менее общим знакомым из круга «кавказцев». Даже пошёл разлад из-за того, что князю Голицыну не дозволили пригласить на бал двух сестер какого-то приезжего военного доктора. Голицын пришёл в негодование и не участвовал в общей затее.

Представители петербургского бомонда в Пятигорске, а также примыкавшие к ним и тянувшиеся за знатью «аристократствующие мещане» и местные чиновники в большей степени служили мишенью для остроумных выходок опального поэта и его друзей. Дело дошло до того, что все пятигорское общество разделилось на два лагеря. И когда «кавказцы» во главе со скандально известным поручиком Тенгинского пехотного полка затеяли импровизированный бал под открытым небом, аристократы презрительно отнеслись к этому предприятию и не удостоили его своим участием. Впрочем, они и не были приглашены. Но тут же, в пику «кавказцам», подговорили князя Голицына устроить через неделю свой собственный вечер, куда «кавказцы», разумеется, не приглашались.

**Екатерина
ПОЛУМИСКОВА**

Сергей Трубецкой, друг и сослуживец Лермонтова, привлёк к подготовке бала в гроте в первую очередь армейских офицеров — Руфина Дорохова, Михаила Глебова, Павла Гвоздева, Льва Пушкина, а также декабристов — Александра Ивановича Арнольди и Николая Ивановича Лорера. Князь Васильчиков и отставной майор Николай Мартынов, в прошлом приятель Лермонтова, после некоторых колебаний примкнув к обществу аристократов, но не решаясь открыто порвать отношения с «кавказцами», находились во временной отлучке и не присутствовали на пикнике.

И вот бал начался.

Военные и дамы переводили любопытные взоры то на естественные декорации, коими щедро наделила природа здешние места, то на искусное убранство пещеры, устроенное по задумке Лермонтова в арабском стиле. Своды грота, облицованные плитами и опиравшиеся на две каменные колонны, освещались импровизированной люстрой из трёх ярусов обручей, обвитых розами и вьющейся зеленью плюща и винограда. Внутри располагалась полукруглая каменная скамья. Из армянских лавок были доставлены персидские ковры и цветные шали, которыми украсили каменные стены грота. Пятигорский полк снабдил организаторов праздника красным сукном, а содержатель гостиницы Найтаки позаботился об ужине, десерте и вине.

У входа в грот на деревьях аллея развесили более двух тысяч разноцветных фонариков, а над самим гротом разместился военный оркестр.

После первых же звуков оркестра пары закружились в танце, полилось шампанское в звонкие бокалы, и все присутствующие предались бурному веселью, как мотыльки, слетевшиеся на случайный огонёк.



Шегедин В. А.
(род. 1924).
Лермонтов.
Вдохновение.
1989. Холст, масло.
130 × 180.

Лермонтов как гостеприимный хозяин, весьма довольный произведенным впечатлением от выполненных им и его друзьями приготовлений, на сей раз не желал никому из присутствующих портить настроение. Сегодня он был в ударе и попевал всюду — то танцевал по три танца подряд со своей кузиной Катенькой Быховец, которая так напоминала ему Вареньку Лопухину, то дирижировал военным

оркестром, с живейшим интересом поглядывая на кружившиеся внизу, на открытой площадке, пары, то ухаживал за несколькими дамами одновременно, рассыпаясь в любезностях. Однако друзей своих, близко и довольно давно знавших его, было трудно удивить кипучей энергией, которая в силу неровного и капризного характера Лермонтова могла неожиданно и непредсказуемо смениться апатией, рассеянностью и невнимательностью.

Кузина щебетала, раскрасневшись от свежего воздуха и комплиментов, расточаемых в её адрес молодыми повесами:

— Как мило с вашей стороны, Мишель, устроить здесь такой праздник. А я-то уж подумала, что вы облюбовали это место затем только, чтобы в одиночку служить жрецом своей Диане!

Она кокетливо взглянула на Лермонтова, опасаясь ответных колкостей, на которые так горазд был её неукротимый кузен. Хотя он приходился ей правнучатым братом, но всегда называл её *cousine*, и она звала его *cousin* и любила, как родного брата. Так все её здесь и звали «очаровательная кузина Лермонтова»...

Катенька на миг встретилась взглядом с братом, и странное чувство захлестнуло её внезапной приливной волной. Он смотрел словно бы сквозь неё пронзительно чёрными, бездонными глазами, а в зрачках плясали отраженные огни фонариков. Он смотрел на неё в упор, но не видел её, как будто отсутствовал, переместившись куда-то в потаённые лабиринты мечтаний. Лицо его вдруг стало бледно и своей минутной отрешенностью и безучастностью к царившему вокруг веселью обескуражило и встревожило раскрасневшуюся от танцев кузину. Но прежде чем она успела выдохнуть: «Мишель, да что же с вами такое?», он невозмутимо подхватил её за талию и улыбнулся искренно и тепло — именно ей, а не призрачной и весьма далёкой теперь от него Вареньке:

— Сегодня я весь ваш, и служу вам — не Диане! Но это не помешает мне быть и оставаться «охотником», не так ли? — он склонился над самым ушком кузины, и его горячее дыхание почти успокоило её...

В последние дни Лермонтов пребывал не в лучшем состоянии духа, изливая желчь на франтоватых приезжих, не имевших представления о кровопролитных стычках с горцами и прибывших в Пятигорск с той лишь целью, чтобы на водах перевести дух от неудавшихся столичных интриг. Нездоровилось от издевательских шуток поэта и местным чиновникам, приставленным к «водяному обществу» с известной целью. Настроение Лермонтова менялось по несколько раз на день. Он то грустил, то нервничал, то жарко спорил, то впадал в безразличие и мечтательность, то сплетничал и злословил. И всё это, как и следовало ожидать, не прибавляло числа его сторонников...

Когда звуки музыки на мгновение смолкли, Лермонтов, усадив кузину на скамью в глубине грота, покрытую ковром, подошёл к столику, где Алексей Стольпин с Сергеем Трубецким разливали шампанское. Взяв бокал и блюдо с фруктами, он снова направился к Катеньке и был вознагражден примирительной улыбкой кузины.

Но вскоре внимание его переключилось на прелестную Иду Мусину-Пушкину, одну из дочерей казачьего генерала. Однако спустя мгновение он передумал ухаживать за ней и примкнул к товарищам, веселившимся над очередной шуткой Руфина Дорохова. Обаяние Дорохова заключалось в том, что это был человек исключительной храбрости, приятный собеседник, находчивый, хотя и весьма острый

на язык. Боевые офицеры уважали Дорохова, радуясь его недавнему повторному производству в чин корнета, после того как он дважды был разжалован в рядовые.

Князь Сергей Трубецкой, друг Лермонтова, в не меньшей степени «проказник и затейник», а также идейный вдохновитель нынешней вечеринки, был из тех остроумных, веселых и добрых малых, которые весь свой век остаются в ребячестве. Он и остался Сережей-Сорвиголова, не слишком удачливым, так как его шалости никогда не сходили ему с рук... Он был красив, ловок, весел, умен, у него было доброе сердце, и он никогда не слыл ни злым, ни корыстолюбивым.

Желанным гостем на такого рода вечеринках всегда был Лёва Пушкин, сблизившийся с Лермонтовым после Галафеевской экспедиции 1840 года. Последние полгода пути их неоднократно пересекались — сначала в Ставрополе, затем в Пятигорске, куда Лев Сергеевич Пушкин приехал в «больших эполетах», будучи произведён в майоры. Нынче, веселясь в Гроте Дианы, под гром духового оркестра, не рискуя быть услышанными широкой публикой, друзья не скупились на неприличные остроты, не боясь никого шокировать резкими манерами и страстью к крепким напиткам. Трубецкой второпях плеснул Лёве Пушкину кахетинского вина, на что тот недовольно поморщился и отставил бокал со словами:

— Ежели бы я и пил чай, так с ромом. Хотя, пожалуй, уж лучше ром с ложечкой чая!

Друзья захохотали: «Не в коня-то корм!» — и все разом кинулись пересматривать запасы спиртного в гроте, отыскивая для Лёвушки бутылку рома, да так звеня посудой, что едва не заглушили звуки доносившейся сверху музыки.

— Вот теперь не в коня, а в меня! — поднимая бокал с ромом, парировал Пушкин, на что Лермонтов молниеносно отреагировал экспромтом:

А Левушка наш рад,
Что брату своему он брат.

И гусары смеялись от души, оценив остроту шутки Лермонтова.

В грот быстрым шагом вошла Наденька Верзилина в сопровождении растерянного и покрасневшего корнета Миши Глебова. Их роман не был ни для кого секретом. И потому все примолкли, наблюдая, что будет дальше. Надя и Катенька, оказавшись под сводами грота вдвоём на скамье, стали сплетничать вполголоса, не обращая никакого внимания на откровенное любопытство гостей к их разговору, а Глебов пожал плечами и направился к офицерам. Николай Лорер наполнил и протянул ему бокал, который тот осушил залпом под одобрительные возгласы окружающих. Лермонтов подошел к корнету и дружелюбно начал, проговаривая слова так быстро, что Глебов понял их смысл гораздо позднее, чем поручик закончил фразу:

— Мишенька, вы определённо признались в своих чувствах Наденьке! В который раз? Или вы пошли дальше и предложили ей сочетаться браком, на что она вам ответила решительным отказом?

— Да нет же, поручик, всё совсем не так!

Глебов был в растерянности, ожидая, что Лермонтов по обыкновению разразится каскадом едких замечаний и колкостей.

Как ни странно, этого не последовало, и главный устроитель пикника, запив напряжённую паузу глотком вина, сочувственно кивнул. Но вдруг приподнял брови и сердито скороговоркой прошипел:

— Так что же ты такой хмурый, корнет Глебов?

Лермонтов выхватил пустой бокал из руки Глебова и, поставив его, а заодно и свой на столик, повел корнета к выходу из грота.

Оказавшись на воздухе, он внимательно взглянул на Глебова и нашёл его весьма взволнованным. Но не радость, а грусть оттеняла лицо Мишеньки, причину которой Лермонтов угадать пока не мог. Желая поддержать своего давнего приятеля, раненного в Валерикском сражении и теперь лечившегося в Пятигорске, он пожал ему руку и продекламировал вполне безобидный, только что родившийся экспромт:

Милый Глебов,
Сродник Фебов,
Улыбнись,
Но на Наде,
Христа ради,
Не женись!

— Ну что же ты, Мишель, право, такое говоришь! Просто мы решили собраться у Верзилиных на будущей неделе и помузицировать. А Наденька непременно хочет пригласить всех — и вас со Столыпным, Трубецким, Лёвой Пушкиным, Дороховым, и Мартынова с Васильчиковым.

— Мартынова? — изумился Лермонтов. — Этого ряженого индюка в золоченой черкеске с игрушечной саблей, которую и носить-то не умеет!

— Успокойся, Мишель, ведь это Наденька гостей приглашает... Он намного старше меня, и я, право, не ревную... Хотя, быть может, он слишком часто беседует с Наденькой тет-а-тет. О чём, спрашивается?

Глебов нахмурился.

— Не беспокойся, друг мой, — холодно произнёс Лермонтов, — если у Верзилиных он будет докучать Наденьке в твоё отсутствие, я найду способ дать тебе знать немедленно.

— Он и так не выносит твоих шуточек и ненавидит тебя пуще остальных. Об этом все знают. Ты что, готов стрелять в него?

— Я? Ну уж нет... Я скорее прострелю воздух, чем запачкаю его наряд. Я не собираюсь лишать себя удовольствия поиздеваться над манерой отдельных отставных майоров одеваться.

— Маёшка, опять ты за своё, — высокий красавец Монго Столыпин вырос из тьмы с бутылкой шампанского и встал между приятелями.

Родственник и близкий друг поэта, Алексей Аркадьевич Столыпин всегда выказывал ему преданность, словно оправдывая своё детское прозвище. Монго — именно так звали любимого домашнего пса Столыпиных, холёного, породистого, всегда с достоинством сопровождавшего хозяев и готового в любую минуту защитить их от злоумышленников. Напрасно великосветские сплетники старались поссорить Столыпина с поэтом, говоря, что Лермонтов надоедает ему своей навязчивостью, вечным преследованием, что будто бы он прицепился ко светскому льву... и на хвосте его проникает в высший круг. И всё же в их дружбе была величайшая тайна, известная лишь немногим из числа шестнадцати, которая лежала в основе личной неприязни государя к Лермонтову. Бравый гусар лейб-гвардии поручик Лермонтов

помог ускользнуть из царских лап и тем самым избежать позора сестре Столыпина Вере Аркадьевне, пожалованной во фрейлины по причине высочайшего к ней интереса. Вера Аркадьевна, новоявленная фрейлина, вдруг неожиданно для всех спешно вышла замуж и благополучно отправилась за границу. А гнев императора обрушился на голову Лермонтова. Официальных же причин для опалы и так было хоть отбавляй. Монго последовал за своим другом на Кавказ и, как мог, оберегал Маёшку от случайных и ненужных неприятностей. Хотя бы от мелких и явных.

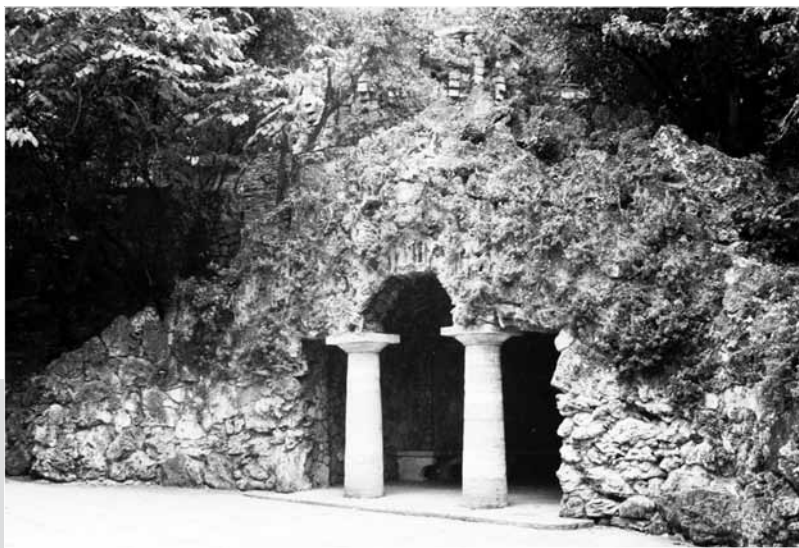
А Лермонтов оправдывал своё детское прозвище, данное ему в честь героя французских карикатур, горбуна и злословца Майё. Так или иначе, он таким способом старался восстановить справедливость

— Речь зашла о Мартынке, — пожал плечами Лермонтов и сразу как будто остыл, но холодный, цепкий взгляд его уже сфокусировался в одной точке.

Столь неблагозвучное прозвище Мартынову дали ещё в юности с подачи Лермонтова. И поэт, тут же обращаясь к Глебову, продолжил почти спокойно:

— Не собираюсь ничего такого затевать в доме Наденьки. Надеюсь, что вечер у Верзилиных и, бог даст, будущая помолвка ваша пройдёт без скандалов с моим участием.

— Помилуй бог, — Глебов отшатнулся и направился в грот.



Бернардацци, Иван Карлович (1782–1842) и Иосиф Карлович (1788–1840). Грот Дианы. Начало 1830-х годов. г. Пятигорск. Михаил Юрьевич Лермонтов был частым посетителем этого места.

Столыпин взглянул на Лермонтова:

— Маёшка, что ты опять задумал, оставь Мартынку в покое, прошу!

— Мартынка в открытую волочится за Наденькой Верзилиной, а Глебов не хочет скандалов и словно ничего не замечает. Какая пошлость!

— Послушай, у тебя сейчас одна забота — направиться в расположение твоего полка как можно скорее и не дать себя продырять за просто так. Нас шестнад-

пать было и есть, и мы с тобою до конца — здесь или в столицах, — произнося эту фразу, Монго понизил голос до шепота.

— Я же фаталист, Монго, ты знаешь. Помнишь, что мне сказала эта старая ведьма?.. Что я скоро приму смерть от горца, знатного и красивого, у которого будет огромный кинжал! И я уж извёлся от ожидания! Я три года заглядываю в лица всем горцам, которых встречаю на Кавказе. Ни от кого не прячусь, тем более от смерти. Я вышел из Валерикской бойни целым и не растерялся, когда раненый Дорохов перепоручил мне своих охотников. И мне плевать, что какая-то ряженая Мартышка...

— Постой, Маёшка, — оборвал его Монго, — ты настоящий герой Валерика, ты был представлен к награде орденом и золотой саблей за храбрость. И тебе не пристало...

— Да, мне досадно было, когда государь отклонил представление к наградам, — не дал ему закончить Лермонтов, — а теперь, представь себе, всё равно! Ведь государю не нужны ни подвиги мои, ни храбрость... Наверное, ему нужна только моя смерть.

— И что же, ты непременно решил угодить ему? — Монго почти кричал. — Ты сам-то знаешь, чего хочешь?

Лермонтов вспыхнул и метнул в Столыпина бешеный взгляд. Тот отшатнулся, сожалея о сказанном, но Маёшка вдруг покачал головой и, не глядя на друга, глухо произнёс:

— Ты прав, Монго. И жить так тошно, и умереть пошло. Ничего уже не хочу, кроме свободы для помыслов моих и покоя для души. Скоро всё будет кончено. Ведь предсказательница...

— Ты веришь ей, а не мне?

— Она говорила Пушкину, что примет он смерть от красавца блондина на белом коне. И не ошиблась.

Вдруг Лермонтов осёкся, даже изменился в лице, покачал головой, словно что-то просчитывая в уме. Затем продолжил:

— Как в той «Песне о Вещем Олеге» — «но примешь ты смерть от коня своего!»! А про змею-то князю никто не обмолвился. Вот и разбери этих колдунов... Но про меня она правду сказала.

От этих слов у Столыпина сжалось всё внутри. И он, желая перевести разговор в шуточный тон, чтобы отвлечь друга от дурных мыслей, продолжил:

— Ну, правду — так правду. И это может случиться в любой момент. Так что же ты не исповедуешься до сих пор?

Лермонтов мрачно улыбнулся:

— Кому я буду исповедоваться? Правда, есть тут священник один. — Лермонтов вспомнил об Эростове, известном сутяге и кляузнике, не отличавшемся высокими моральными качествами, которые должны быть присущи служителю Божию. — Больше ведь некому здесь исповедоваться. А ему не буду... Пойдём танцевать, а то дамы наши заскучали совсем! Ах, Катенька!

Нет, не тебя так пылко я люблю!

Не для меня красы твоей блистанье!

И Лермонтов закружился в танце с кузиной.

На балу присутствовали все молодые барышни из дома Верзилиных — шестнадцатилетняя Наденька, Аграфена, её сестра, которая в свои двадцать два года

уже была помолвлена с Диковым, и Эмилия Клингенберг, двадцати шести лет, их старшая сводная сестра по матери и падчерица генерала Верзилина. Эмилию нельзя было назвать совершенной красавицей, но необыкновенно выразительные черты её отличались каким-то неуловимым внутренним обаянием: слегка вздернутый носик, маленький рот, круглые, словно кукольные, но всегда грустные глаза. Они столкнулись с Лермонтовым у входа в грот, и ажурная шаль её соскользнула с плеч на каменный пол пещеры. Лермонтов тут же ловко поднял вязаный кружевной палантин, заботливо укутал им плечи девушки и, предложив ей руку, сопроводил к выходу. Эмилия улыбнулась ему в ответ одними губами и тут же тревожно зашептала:

— Будьте осторожны, Мишель, и дайте мне слово, что не поссоритесь с Мартыновым в нашем доме!

Лермонтов резко развернулся на каблуках.

Густая тьма обволакивала деревья, подступив вплотную к самому гроту, и только развешанные на ветвях фонарики разноцветными светлячками парили над импровизированной танцплощадкой. Духовой оркестр играл вальс, но желающих танцевать почти не было — все гости расположились в гроте или под раскидистыми кронами, разбившись на небольшие группы. Кто-то терзал гитару, сопровождая громкое неумелое пение нестройными аккордами, кто-то весело смеялся под звон хрустальных бокалов. А Лермонтов выпалил:

— Эмили, объясните, что означает ваше предупреждение, ибо, если кто-то будет вести себя вызывающе, я не смогу сдерживать данное слово.

— Помните, на прошлой неделе вы задели своею шуткой Семёна Лисаневича? Это совершенное чудо, что между вами не случилось дуэли!

— Я не желал ничего дурного Лисаневичу и даже извинился перед ним, а он принял мои извинения! Что же в этом невероятного?

— Ах, Мишель, многим в городе известны обстоятельства, когда ему настойчиво намекали на ваше дурное воспитание, но Лисаневич оказался не так глуп.

— Не так искушен в дуэлях, хотели сказать вы, — Лермонтов кивнул головой. — Ну что ж, не он, так найдется другой негодяй рано или поздно.

— Не вздумайте шутить с Мартыновым!

Лермонтов никогда явно не ухаживал за Эмилией, но их отношения со дня их знакомства складывались более чем странно. Он не упускал случая, чтобы не задеть и не рассердить её. Однажды почти довёл её до слёз, на что Эмилия вспыхнула и воскликнула, почти повторяя слова Грушницкого из «Героя нашего времени»: «Ежели бы я была мужчина, я бы не вызвала вас на дуэль, а убила бы из-за угла в упор!». Он как будто остался доволен, что наконец вывел гордую девицу из терпения, просил прощения, и они помирились, но ненадолго. Однажды во время верховой поездки в немецкую колонию Каррас Лермонтов предложил ей пари, что на обратном пути будет ехать рядом, что ему редко удавалось. Возвращались они поздно, и Эмилия, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу, чтобы они ехали подле и не отставали. Лермонтов ехал позади и все время зло шутил на её счет. Девушка сердилась, но молчала. На другой день рано утром, уезжая в Железноводск, он прислал ей огромный прелестный букет в знак проигранного пари.

— Ну что ж, Мартынов — он ведь отставной майор, красив, как Аполлон. Правда, не так знатен и богат, как князь Бяратинский, и ещё не отведал шипов прелестной кавказской розы!

Лермонтов уколол девушку в самое сердце. Позапрошлым летом находившийся на лечении в Пятигорске князь Владимир Иванович Барятинский ухаживал за Эмилией Клинггенберг и, как тогда говорили, «сорвал знаменитую La Rose du Caucase (Розу Кавказа)». Но женитьбы не последовало. Вскоре князь, по некоторым слухам, перевел на счет Эмилии Клинггенберг пятьдесят тысяч рублей. Кто поведал эту историю Лермонтову — сам Владимир Барятинский или же возвратившийся из Пятигорска в Царское Село в октябре 1839 г. князь Александр Долгоруков, — для всех осталось загадкой.

Эмилия гневно прервала его, словно пропустив мимо ушей оскорбление, и вернулась к разговору о Мартынове:

- Да перестаньте же, он мне неприятен, и я дала ему это понять.
- Но, несмотря на это, он продолжает надоедать вам?
- Он теперь вертится вокруг Наденьки и совсем заморочил ей голову.

— Каков подлец! — воскликнул Лермонтов, вспоминая, с какой гримасой матушка Николая Мартынова встречала его в своём доме, когда он перед отъездом на Кавказ навестил сестёр Мартыновых, бывших, однако, без ума от обходительного и весёлого поручика Лермонтова.

— Мишель, вас хотят поссорить теперь с Мартыновым, чтобы вы непременно стрелялись.

- Ежели мне судьба стреляться с ним, так что бы мы там ни выдумывали...

Лермонтов взглянул на Эмилию и, вдруг неожиданно смягчившись, прошептал, сжимая её руку:

— Эмили, прошу вас, не вынуждайте меня дать вам обещание, которого я не смогу сдержать, но знайте одно: чтобы наказать злодея, приходится самому стать на какое-то время злодеем. Будь что будет!

— Будь что будет? Тогда пусть будет пари! Или вы опять боитесь проиграть? А вот князь Барятинский не побоялся...

- Так это было пари? — изумился Лермонтов.

В его голове не укладывалось, как молодая девушка могла рискнуть своей репутацией. И ради чего? Неужели ради своей свободы взамен обременительного ухаживания человека, который не только не смог завладеть её сердцем, но и не сумел от нанесенной ему дерзкой девицей обиды удержать в полной тайне все обстоятельства случившегося!

Эмилия побледнела, но не проронила ни слова. Тогда Лермонтов с жаром воскликнул:

— Я готов заключить с вами пари, что в доме вашей матушки я буду вести себя так, как мне заблагорассудится, но при этом не дам никакого повода для дуэли. Если я выиграю, то вы никогда впредь не станете запрещать мне говорить что угодно и когда угодно. Если же я проиграю, то...

Лермонтов наморщил лоб, перебирая в уме возможные для себя наказания в виде стеснения полной свободы действий, и наконец вымолвил, глядя прямо в глаза Эмили:

— Если же я проиграю и меня вызовут на дуэль, я обещаю предложить вам свою руку и сердце.

— Вы сошли с ума, — возмутилась Эмилия, — а вам не приходило в голову, что браки свершаются на небесах?

— Конечно, как и дуэли, — парировал Лермонтов, — разве вы не находите забавным? Ваш брак против моей дуэли? Даю слово, что всё останется между нами, ведь я не князь Бяратинский, чтобы променять вашу девичью честь на своё оскорбленное самолюбие! К тому же вы ничем не рискуете и всегда вольны отказать мне, а уж если на дуэли мой недруг окажется удачливее и убьёт меня...

— Довольно паясничать! — резко оборвала его Эмилия и направилась к гроту быстрым, решительным шагом.

Время ушло далеко за полночь. Барышни под шумок ускользали из грота со своими кавалерами, чтобы успеть до рассвета побродить по ночному городу. Павел Гвоздев, товарищ Лермонтова по юнкерской школе, восплавывший страстью к поэтической музе, вызвался проводить Катеньку Быховец, но поручик решительно взял кухню под руку и деловито объявил:

— Идем вместе, если хочешь.

Когда грот исчез из виду за высокими деревьями, им открылась совершенно иная, чудная картина — огромное небо, усыпанное яркими звездами, чуть светлеющее над бархатистой кромкой лесного массива, обрамлявшего парк, и земля, окутанная голубоватым сиянием. Восхищенная этим видом Катенька шепталась с Гвоздевым, и Лермонтов в какой-то момент отпустил её руку, доверив кухню своему приятелю. Они пошли чуть вперед, шушукаясь и посмеиваясь.

А Лермонтов всё ещё стоял под молодым и сильным дубом, выросшим у самой обочины дороги, и молча вслушивался в ночные звуки.

Вот в тишине прошелестел лист, оторвавшийся от ветки. Он вздрогнул от этого шороха, поднял голову и увидел промелькнувшую тень от падающего листа, а затем в образовавшемся просвете кроны сверкнула звезда. Порыв предраассветного ветерка качнул ветку, и всё исчезло — и листок, и звезда, но в груди возникло щемящее, необъяснимое чувство тоски. А в голове пронеслись недавно написанные строки:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый...

Опять ты попался на глаза, слетевший не вовремя дубовый листок, что ты хотел сказать? О чём напомнить? Не о том ли, что у каждого на земле своя участь?

...Он очнулся от окрика Гвоздева, который с Катенькой успел уйти вперед довольно далеко, и поспешил догнать их.

До самого дома Катеньки он не проронил ни слова.

Простившись с кухней, Лермонтов отправился проводить Гвоздева. Он шёл медленно, заложив за спину руки и приподняв голову, сосредоточенно глядя себе под ноги. А Гвоздев принялся было читать свои поэтические сочинения о любви. Но Лермонтов как будто не слышал его. Тогда он решил вспомнить строки, написанные им в поддержку лермонтовского стиха «На смерть поэта», и вполголоса начал:

Напрасно лирою печальной
Ты им воспел удел творца:
Слезы не капнуло прощальной
На гроб убитого певца —
Певца Кавказа, русской славы...
И песнь твоя, как суд кровавый,

Для них она, как грозный меч;
 Не мог ты в их душе презренной
 Свободной истиной зажечь
 Огонь высокий и священный...

Гвоздев самозабвенно читал наизусть выстраданные им строки, а Лермонтов как будто не слышал ни слова, погруженный в свои переживания. Тот уже закончил чтение и, наконец решив прервать молчание своего спутника, спросил:

— Скажи, Мишель, ты что же, недоволен остался?

— Отчего же, — безразличным тоном отозвался Лермонтов, — если друзья мои довольны, так и я, стало быть, удовлетворён.

Он имел в виду, конечно же, бал.

Но увидев, что Павел сокрушенно покачал головой и поджал губы, Лермонтов остановился вдруг и тихо добавил:

— Устал я, Гвоздев. От жизни устал и от смерти тоже — смотреть на неё больше нет сил. Всё опостылело.

— Это пройдёт, Мишель! Вот Глебов говорил мне, что после Валерика он тоже видеть никого не желал. А как Наденьку Верзилину увидал — так словно бы заново родился на свет. Так жить захотелось.

— А я вот чувствую, что мне очень мало осталось жить, — с горечью выдохнул Лермонтов, медленно и внятно проговаривая слова и будто бы вслушиваясь в собственную речь со стороны.

Гвоздев не нашелся что сказать на это. И они распрощались молча.

Столыпин ждал Лермонтова у домика, так и не войдя в него.

Светало.

Встретив рождение нового дня 9 июля 1841 года, можно сказать, в походных условиях, друзья молча перешагнули порог и, не зажигая света, оказались в гостиной. Монго устало плюхнулся на стул, ожидая, что Маёшка сделает то же самое и они смогут наконец поговорить по душам. Но Лермонтов быстро прошел на террасу, буркнув только: «Я ещё Музе успею послужить», и прикрыл за собой дверь.

Расположившись за письменным столом, стоявшим здесь же, на террасе, он зажег фонарь и потянулся к тетради, подаренной ему князем Владимиром Федоровичем Одоевским, писателем и другом, в апреле сего года перед самым отъездом на Кавказ. Всякий раз, открывая альбом, чтобы записать новое стихотворение, он касался рукой дарственной надписи, гласившей: *«Поэту Лермонтову даётся сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную. Князь В. Одоевский, 1841, апреля 13-е. СПбург»*. С этой минуты ничто окружавшее не могло потревожить его.

Так было и теперь. Только внутренняя музыка стихов захватила потоком его трепетную душу, а перо быстро заскользило по бумаге, выводя удивительные по красоте и пронзительные по содержанию строки:

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Оторвавшись от тетради, Лермонтов устремил взгляд свой к розовеющему горизонту, тонкой полоской, острой, словно лезвие клинка, отсекающему тьму от света, и прошептал:

— Вот вам исповедь, а заодно — и молитва моя!

P. S. Описанные выше события могли бы претендовать на правдоподобность с высокой степенью достоверности, если бы не то обстоятельство, что всё тайное по воле самих участников этих событий так и осталось тайным. Известно только, что семейство Верзилиных вскоре после дуэли Лермонтова с Мартыновым и трагической гибели поэта спешно выехало за границу во избежание скандала. И только десятилетие спустя Эмилия Клингенберг всё-таки вышла замуж — за Акима Павловича Шан-Гирея, родственника М. Ю. Лермонтова. Их дочери Евгении Акимовне Шан-Гирей, троюродной племяннице Лермонтова, суждено было прожить в доме Верзилиных в Пятигорске до 1943 года, где она и скончалась почти в 90-летнем возрасте. Именно её воспоминания (со слов матери и отца) и легли в основу официальных биографических сведений о последних днях жизни М. Ю. Лермонтова.

Екатерина ПОЛУМИСКОВА

РОЗА КАВКАЗА (маленькая поэма)

Эмилия Клингенберг (Шан-Гирей)

Летом 1839 г. в Пятигорске В. И. Бярятинский ухаживал за Э. А. Клингенберг, и, как тогда говорили, князь «сорвал знаменитую *La Rose du Caucase* (Розу Кавказа)». Но женитьбы не последовало. Кто рассказал эту историю Лермонтову, сам Владимир Бярятинский, оскорбленный её отказом, или же князь Александр Долгоруков, доподлинно не известно. Спустя десять лет после гибели поэта Эмилия вышла замуж за друга и троюродного брата Лермонтова А. П. Шан-Гирея. Супруги Шан-Гирей стали первыми биографами поэта, мемуаристами и хранителями его творческого наследия.

1

Как жаль, что историю эту
трагичный финал увенчал...
Вернувшись в столицу, поэту
Бярятинский как-то сказал:

«Мишель, тот поймёт меня сразу,
кто тайно любил и страдал!
Поверишь ли, Розу Кавказа
я летом на Водах «сорвал».

О, эти кавказские ночи!
Тебе я признаться готов:
нет яблока без червоточин,
нет розы без острых шипов.

Она на других не похожа,
и жребий её не таков,
чтоб возле фамильного ложа
цвести, украшая альков.

Надменной гордыне в угоду,
незыблема, словно скала,
Кавказская Роза свободу
дворцам и гербам предпочла...»

2

Назло всем завистникам света
и сплетникам наперекор
сразил в Пятигорске поэта
красавицы пламенный взор.

В рассветных лучах небосвода
девицей любуюсь не раз,
он виделся с нею на Водах,
на конных прогулках в Каррас.

Ум острый, и дерзкие речи —
столичным княжнам не чета!
Всё больше при каждой их встрече
манила её красота

румянцем то гневным, то милым,
как сполох вечерней зари.
С каким же неистовым пылом
поэт проиграл ей пари!

Но, небу так было угодно,
и участь их предreshена...
Ведь сердце его — не свободно,
она — ещё не влюблена!

3

И вот, у Верзилиных в доме,
вновь Лермонтов встретил её,
когда у судьбы на изломе
кружило беды вороньё.

В тринадцатый вечер июля
поэт вдохновенно шутил,
летели словесные пули —
одуматься не было сил!

С азартом метали остроты
Лев Пушкин и князь Трубецкой,
не ведая, что, как по нотам,
фортуна сыграет отбой.

Поручик злословил упрямо,
лишь страстью одной одержим.
Смеялась «прекрасная дама»
над «горцем с кинжалом большим».

«Мой враг — мой язык!» — так сказала
та гордая мадмуазель,
не думая, что после бала
грядёт роковая дуэль.

К чему бесполезные слёзы?
Что стоит хула и хвала?
...Там выросли дикие розы,
где кровь его в землю ушла.

4

Красавица боль и сомненья,
терзаясь, несла сквозь года.
Казалась рекою забвенья
событий былых череда.

Поэта наследие свято.
И стать суждено было ей
женой его друга и брата,
прекрасной «мадам Шан-Гирей»,

кто вскоре поведаст миру
всю добрую правду о нём,
его вдохновенную Лиру
в сердцах воскресит.
А потом...

Умолкли враги и невежды.
И только в бескрайней дали
все розы огнями надежды
во славу поэта цвели.

Валентина СЛЯДНЕВА

Плохая примета — подранка
Летящий, слабеющий крик...
Красивое место — Шотландка —
Поэта последний пикник.
Брат Пушкина требует песен
И рвёт для букета цветы...
О, как же он, как же он весел
За час до великой беды!
Представить не может он даже
(судьба, чуть поменьше петлей!),
Что друг его, Лермонтов, скажет
Мартынову: «Хочешь, стреляй!»
Что пуля ему роковая?
Уже вознесла на Парнас
Лошадка его скаковая,
что в мире зовётся — Пегас.
Брат Пушкина... Топчет цветы он,
Рыдает, один из повес...
Попался ему бы Мартынов,
Мартынов и он же — Дантес!
Трава тяжела спозаранку,
Здесь больше не пили вино.
Красивое место — Шотландка,
Но слишком печально оно.

Печален Лермонтов. Нет сил глядеть в лицо.
Темны и мрачны голубые ели.
Я вновь на месте роковой дуэли
Под шалью руки стиснула в кольцо.
И капли боли падают с ресниц,
И кажется подъём на гору круче,
Не вижу боле, дорогой поручик,
Я, кроме грифов, в этом мире птиц.
Машук, осенним светом осян,
Ковёр багряный под ноги мне стеллит.
Вот это место гибельной дуэли
Кровоточит в сердцах всех россиян.
Печален Лермонтов. Небесный путь
Его немного утомил, я знаю!
Не рана у него болит сквозная,
А грифы кловами разверзли грудь.

ПИСЬМО КАТЕНЬКИ БЫХОВЕЦ

В окружении любого великого человека можно встретить немало женщин. У них разные судьбы, по-разному они воспринимались современниками и совсем иначе потомками. О некоторых из них мы знаем ничтожно мало. Некоторые из этих дам совсем не оставили нам никаких воспоминаний о своих встречах с интересующим нас лицом. От той, о ком пойдет речь в этой главе, осталось всего-навсего одно письмо.

Из всех писем Екатерины Григорьевны Быховец до нас дошло только одно. Это письмо было одним из первых по времени свидетельств трагической кончины Лермонтова и именно поэтому чрезвычайно интересно. Впервые оно было напечатано более ста лет назад, однако скептицизм в отношении этого эпистолярного памятника не пропал никогда, несмотря на то что Быховец была, вероятно, единственной женщиной, с которой виделся и разговаривал поэт всего за несколько часов до своей гибели.

Письмо Е. Быховец, датированное 5 августа 1841 года и отправленное тогда же из Пятигорска, было найдено спустя пятьдесят лет и в 1892 году было опубликовано в третьей книжке журнала «Русская старина», издаваемом М. Семевским. Журнал этот был весьма популярным изданием в России и особенно усердно читался провинциальной интеллигенцией. Издатель «Русской старины» не раз обращался к сво-

им читателям с просьбами присылать в журнал хранящиеся в личных архивах записи, письма и разнообразные документы «времен прошедших». В своих читателях М. Семевский видел своих новых потенциальных авторов, поскольку знал, что во многих имениях бережно сохраняются личные архивы, в которых, как нередко оказывалось, находили жемчужины.

Так получилось и в 1891 году, когда издатель обратился с сообщением о том, что при Николаевском кавалерийском училище организуется Лермонтовский музей, куда уже стали поступать письма, рукописи и вещи поэта. Тут же была и просьба присылать в адрес редакции, для последующей передачи в музей, все имеющее отношение к памяти поэта. Первой ласточкой, откликнувшейся на письмо редакции, оказался пакет из Самары от г-на В. Аккерблома (Аккерблома), в котором находились сообщение о письме Екатерины Быховец и копия ее письма. По этим первым документам стали немедленно готовить публикацию...

Но здесь необходимо сказать несколько слов о том, что в начале 80-х годов XX века в советских газетах и таких популярных журналах, как «Знание — сила», «Работница» и др., стали появляться исследования любителей-дилетантов. Они касались всего — и «Слова о полку Игореве», и Тмутараканского камня, ну и, конечно, отдельных моментов жизни Пушкина, Лермонтова, Достоевского. Не знаю, кому из наших классиков доставалось больше, но думаю, что имя Лермонтова стало быстро окружаться ореолом таинственности и даже детективности.

Я жил тогда в Тамани, работал в Доме-музее Лермонтова и трудился над своей будущей книгой о дуэли поэта. Вполне естественно, письмо Быховец входило в круг моих исследований. В конце 1981 г. я получил от своего учителя В. А. Мануйлова письмо, в котором почтенный лермонтовед сообщал мне последние столичные новости. Первая заключалась в том, что кроме С. Чекалина и Л. Шаталовой появились еще новые псевдолермонтоведы, которые выдвинули очередные фантастические гипотезы и настаивают на необходимости опубликовать их точку зрения. Очередным стал учитель яснополянской школы Д. Романов. Мануйлову передали как раз его статью, в которой автор подвергал сомнению мое утверждение, опубликованное в печати, что Лермонтов никогда не был в Геленджике. Вторая новость, что в Москве появились два инженера-любителя, которые сомневаются в подлинности письма Екатерины Быховец.

В январе 1982 года я прилетел в Ленинград в очередную командировку и засел в рукописные отделы Публичной библиотеки и Пушкинского Дома, стал внимательно изучать материалы хранящихся в них лермонтовских фондов. В ИРЛИ в 4-й описи 524-го фонда было небольшое дело, состоящее всего из нескольких листочков, в которых лежало письмо учащегося реального училища, нашего письма Быховец. На подлиннике отчетливо различимы следы правки, сделанные рукой издателя журнала Михаила Семевского. Но правка издателя представляла собой не только указание для типографии, каким кеглем набрать текст («боргум. № 3 (Морж)». Семевский, по своему обыкновению, внес в оригинальный текст письма свою редакторскую правку, которая у него всегда была значительной. Какие-то слова он выбрасывал, кое-что заменял, что-то дополнял. Так, вверху листа имеются его пометы, в которых дано будущее название публикации, дата ответного письма и номер предполагаемого тома, в который она готовилась: «Михаил Юрьевич Лермонтов. 1841 г. Ответ 24 янв. 92. т. IV».

Приведем письмо Акерблома так, как оно было им написано, сохраняя орфографию подлинника.

«Недавно, покупая книги на толчке в Самаре у букиниста, я нечаянно нашел в книге письмо, на которое сперва не обратил никакого внимания и думал, что оно просто какое-то ненужное. Но, прочитав его, увидел, что оно заключает в себе описание последних дней жизни Лермонтова.

Письмо это написано в Пятигорске через 19 дней после смерти Лермонтова в 1841 году 4 августа в понедельник *правнучною сестрой его* (Семевский эти три слова зачеркнул и вставил: *дальнею родственницею поэта*) Быховец. Оно (Семевский убрал это слово, вставил: *письмо*) было завернуто в небольшую бумажку на кот. *была* (зачеркнуто) надпись: «Письмо Катеньки Быховец, ныне Г^{жи} Ивановской, с описанием последних дней жизни Лермонтова».

В. Акерблом.

Остаюсь с почтением,

ученик Самарского Реального Училища VII класса».

«В. Акербломъ» (эту подпись Семевский вычеркнул, «VII класс» перенес после слова «ученик»).

Внизу стоят две латинские буквы «VS». По мнению ученого хранителя Пушкинского Дома В. Базанова, возможно, это инициалы братьев Акербломов.

Как выяснили Е. Рябов и Д. Алексеев, Акерблом оказался лицом не вымышленным. В 1892 г. он после окончания Самарского реального училища поступил в Московское техническое училище. Его отец, Иван Христофорович, заведовал больницей для душевнобольных в Самаре, у него был еще один сын — Сергей.

Но кроме письма Акерблома там лежало еще два небольших листа, копия письма Быховец, но не всего, а лишь его начальной части. Самого подлинника не было. Но в публикации в «Русской старине» в редакционном предисловии сообщалось, что подлинник «на двух листках почтовой бумаги в 8-ю долю» был ею получен «при весьма любезном посредстве г. директора Самарского реального училища А. П. Херувимова».

Тексту публикации кроме письма Акерблома предшествовало редакционное предисловие. В нем Семевский писал: «10 февраля 1892 г. мы прочитали письмо Е. Быховец посетившему нас профессору П. А. Висковатому, и, уважаемый биограф Лермонтова нашел документ весьма интересным дополнением тех, к сожалению, все еще недостаточных сведений, каковые имеет отечественная литература о последних днях славного поэта М. Ю. Лермонтова. Ныне перед нами подлинное письмо этой самой г-жи Быховец, написанное несколько дней спустя после кончины Михаила Юрьевича».

Письмо Быховец ни разу не перепечатывалось полностью в том виде, в котором оно было впервые опубликовано М. Семевским. Приведем его по публикации в «Русской старине», с исправлениями, которые сделаны в соответствии с копией, хранящейся в рукописном отделе Пушкинского Дома:

«Пятигорск, 1841 г. августа 5-го, Понедельник.

Бесценный мой дружок, Лизочка! Как я тебе позавидовала, моя душечка, что ты была в Успенском. О! как бы я дорого дала, чтобы провести это время с вами; как бы мы приятно его провели; воображаю, как мамаша тебе обрадовалась, моему милому дружочку; она с такой радостью мне описывает, что Манюшка к ней очень ласкова. Ваш бал был очень хорош; тебя удивляет, что все так переменилось. Я не знаю, что сделалось с Тарусским уездом, откуда Танюшка учится этим гримасам, и так уж она на гримасу похожа, некому без меня ее остановить.

Как же весело провела время. Этот день молодые люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шальями; колонны обвиты цветами, и люстры все из цветов: танцевали мы на площадке около грота; лавочки были обиты прелестными коврами; освещено было чудесно; вечер очаровательный, небо было так чисто; деревья от освещения необыкновенно хороши были, аллея также была освещена, и в конце аллеи была уборная прехорошенькая; два хора музыки. Конфет, фрукт, мороженого беспрестанно подавали; танцевали до упада; молодежь была так любезна, занимала своих гостей; ужинали; после ужина опять танцевали; даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел; отсюда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями; один из них начал немного шалить. Лермонтов как *cousin* предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей, и он до дому меня проводил.

Мы с ним так дружны были — он мне правнучатый брат — и всегда называл *cousine*, а я его *cousin* и любила как родного брата. Так меня здесь и знали под именем *charmante cousine* Лермонтова. Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной.

Этот пикник последний был; ровно через неделю мой добрый друг убит, а давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!

Этот *М а р т ы н о в* глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив, карикатуры (на него) его беспрестанно прибавлялись; Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом; он его назвал при дамах *M-r le Poignard* и *Sauvage*'ом. Он (т. е. Мартынов. — *В.З.*) тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним.

Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупой вызвал Лерм<онтова>. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас, ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, Государь его не любил, Великий князь (Михаил Павлович?) ненавидел, (они?) не могли его видеть — и тут еще любовь; он (Лермонтов) был страстно влюблен в *В. А. Бахметьеву*; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был.

Через четыре дня он (Лермонтов. — *В.З.*) поехал на Железные; был в этот день несколько раз у нас и все меня упрасивал приехать на Железные;

это 14 верст отсюда. Я ему обещала, и 15-го (июля) мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной (sic) в коляске, а Дмитриевский, и Бенкендорф, и Пушкин — брат сочинителя — верхами.

На половине дороги в колонке мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что все так же; уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слез (он меня) благодарил, что я приехала, умаливал, чтоб я прошла к нему на квартиру закутить, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами.

В колонке обедали. Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит:

— Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни.

Я еще над ним смеялась; так мы и отправились.

Это было в пять часов, а <в> 8 пришли сказать, что он убит.

Никто не знал, что у них дуэль, кроме двух молодых мальчиков, которых они заставили поклясться, что никому не скажут; они так и сделали.

Лерм<онтову> так жизнь надоела, что ему надо было первому стре-



Ивановский К. О.
Портрет Екатерины Григорьевны
Быховец (1820–1880).
1848. Бумага, акварель.

лять, он не хотел, и тот изверг <Мартынов> имел духа долго целиться, и пуля навьлет! Ты не поверишь, как его смерть меня огорчила, я и теперь не могу вспомнить.

Прощай, мой милый друг, грустно и пора на почту. Сестра и брат вам кланяются. Я тебя и детишек целую бесчисленно раз. Не забывай верного твоего друга и обожающую тебя сестру

Катю Быховец.

Сейчас смотрела на часы, на почту еще рано, и я еще с тобой поговорю. Дмитриевский меня раздосадовал ужасно: бандо мое, которое было в

крови Лерм<онтова>, взял, чтоб отдать мне, и потерял его; так грустно, это бы мне была память. Мне отдали шнурок, на котором он всегда носил крест.

Я была на похоронах: с музыкой его хоронить не позволили, и священника насилу уговорили его отпеть.

Он мертвый был так хорош, как живой. Портрет его сняли.

Я теперь принялась пользоваться; у меня такая жестокая боль в боку, что я две недели кроме блузы не могу ничего надеть; только, душка, не пиши к мамаше, это пройдет, все прежняя моя болезнь, воды мне помогают.

Прощай».

История с этим письмом приобрела в лермонтоведении почти детективную окраску. На сегодняшний день существует несколько исследований, посвященных этому эпистолярному памятнику. Первым, кто стал сомневаться в его подлинности, был еще П. К. Мартьянов, который назвал его начало «каким-то птичьим чириканьем» «...Происхождение этого письма загадочно и едва ли не апокрифично, — пишет Мартьянов. — В нем рассказывается урывками обо всем: о Лермонтове с Мартыновым, о вызове на дуэль, о последнем обеде в колонии и похоронах. Но проверить по нем нить исторических фактов так же трудно, как и понять самый язык письма...».

Свыше пятидесяти лет никто не предпринимал даже попыток что-то узнать о Екатерине Быховец. И только в 1940 г. В. В. Баранов, преподаватель из Калуги, разыскав о ней некоторые сведения, выступил в лермонтовской группе Института мировой литературы им. Горького с докладом «Об истинном адресате стихотворения Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю». Но только через 17 лет в ученых записках Калужского пединститута был наконец опубликован доклад в сокращенном варианте. В нем автор пытался доказать, что стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю» было посвящено Лермонтовым не С. М. Соллогуб-Виельгорской, а Екатерине Быховец, там же были приведены краткие сведения о ней. В конце статьи Баранов поместил специальную ремарку, рассказывающую дальнейшую историю его доклада: «В 1952 году как доклад, так и стенограмма мною сообщены И. Л. Андроникову. Редактируя издание сочинений М. Ю. Лермонтова, И. Л. Андроников в примечании к стихотворению «Нет, не тебя...» использовал бесцитатно и бессмысленно основные аргументы настоящей моей работы».

Однако предположения калужского ученого, как и повторившего эту сенсацию Андроникова, оказались недостоверны.

В 60-е годы XX века саратовский лермонтовед Л. И. Прокопенко нашел новые материалы, ему даже удалось установить дату рождения Е. Быховец, он же стал автором заметки о ней в Лермонтовской энциклопедии. В ней предположение Баранова стало уже аксиомой, и Прокопенко с пафосом утверждал, что свое стихотворение «Нет, не тебя...» Лермонтов посвятил Быховец.

25 июня 1982 года в «Литературной газете» была напечатана большая статья В. А. Мануйлова и С. Б. Латышева «Осторожно, сенсация!», в которой авторы подробно разобрали точки зрения С. Чекалина и Д. Романова и показали несостоятельность их «исследований».

И вот в ноябре 1982 г. я получаю письмо из Москвы от Д. А. Алексева и Е. Н. Рябова. Привожу его полностью:

«Глубокоуважаемый Владимир Александрович! У нас возникли сомнения в подлинности письма Е. Быховец, которые мы изложили в статье, предложенной вниманию В. А. Мануйлова. Основой наших сомнений послужили как текст письма, в ряде положений противоречащий воспоминаниям Шан-Гирей, Раевского и Арнольди, так и факт отсутствия письма в фондах ИРЛИ. Сомнителен сам факт находки данного письма, совпавший с разгаром юбилейных публикаций 1891 года, и сразу же после кончины 21 июля 1891 года Э. Шан-Гирей — наиболее известной современницы Лермонтова на тот период. Кроме того, хорошо известно, что Шан-Гирей активно вмешивалась в дискуссии, разгоравшиеся вокруг последнего периода жизни Лермонтова.

В. А. Мануйлов порекомендовал нам обратиться к Вам по поводу письма отца Быховец к Краевскому, утверждая, что «...в этом письме прямо ничего не говорится об интересующем Вас письме Быховец о последнем дне, проведенном с Лермонтовым, но косвенно письмо отца подтверждает знакомство ее с Лермонтовым». Факт знакомства Быховец с Лермонтовым никто не оспаривает. Речь идет о степени доверительности их отношений и о подтверждении тех фактов, которые она изложила в своем письме. Не могли бы Вы, Владимир Александрович, прислать нам копию этого письма? Краевский, по-видимому, пытался связаться не только с отцом, но и с самой Быховец. Не находили ли Вы ее писем в фонде Краевского?»

А 26 ноября того же года было датировано второе письмо, уже от одного Д.А. Алексева:

«...Посылаю Вам нашу статью. Если Вы сочтете приемлемой для себя нашу концепцию происхождения письма Быховец, то можете смело ставить свою подпись.

Если у Вас есть возможность опубликовать статью в местной печати, то это было бы очень кстати. Мы делаем то же самое здесь, в столице. Параллельные действия не помешают. Я думаю, что для Вас не секрет, что Мануйлов не поддерживает версию о подложности письма. Хотя он и не располагает никакими доказательствами его подлинности. Дело тут не в поиске истины, а в простом спасении чести мундира: в молодости он не сомневался в подлинности писем Омер де Гелль, никогда не сомневался в подлинности письма Быховец и без тени сомнения помещал его во все свои сборники и книги. Нужно иметь большое мужество, чтобы признать свою ошибку».

Я встретился с авторами на следующий год в Москве, ознакомил их с текстом письма отца Катеньки. Но авторы настолько были убеждены, что само письмо является еще одной мистификацией князя П. П. Вяземского, что не желали слушать никакие доводы против их точки зрения. В 1986 г. их статья была опубликована. Она выходила еще не раз в разных вариантах, но документальной доказательной базы их работа не имела. Ну как можно всерьез расценивать такое вот утверждение авторов: «Написав письмо-мистификацию, Вяземский, должно быть, долго обдумывал, каким образом его обнародовать. Издать его на манер «Писем Омер де Гелль» Павел Петрович ни за что бы не решился после недавней истории с Шан-Гирей. Оставалась, пожалуй,

единственная возможность дать жизнь своему творению: подложить письмо в книгу в надежде, что ее найдет со временем какой-нибудь «счастливец». Наверное, Павел Петрович так и поступил. Потом уже неведомыми нам путями книга попала к дочери Вяземского княгине Е. Шереметьевой, которая жила в Самаре, а затем и на прилавок букиниста».

Только в 1989 г. я опубликовал письмо отца Екатерины Быховец в комментариях к переизданию книги Висковатого. Но ни Рябова, ни Алексеева это не остановило. Они продолжали печатать свою версию, каждый раз что-то добавляя к ней.

Но что же все-таки нам известно о Екатерине Быховец? Все сведения о ней собрал праправнук Быховец — Андрей Борисович Ивановский.

Екатерина Григорьевна, или Катенька, как ее многие называли, родилась в 1820 году. Она была старшей дочерью Григория Андреевича Быховца, отставного капитана артиллерии, и его жены Натальи Федоровны (урожденной Вороновой).

Семья Григория Андреевича была большой — два сына и семь дочерей. В 1847 году отец разорился, и его имение было продано за долги. Но и до этого семья Быховец в течение длительного времени получала поддержку у тетки — Мавры Егоровны Быховец (урожденной Крюковой), вдовы бывшего нижегородского губернатора С. А. Быховца, которая приходилась свойственницей бабушки Лермонтова (до нас дошло несколько писем Арсеньевой к Крюковой). В эту семью Катенька попала на положении Лизы из «Пиковой дамы». Мавра Егоровна проживала в Москве, в Пречистенской части второго квартала, в доме генерала Павленкова. Здесь, возможно, останавливаясь по дороге в Петербург, Лермонтов и познакомился с Екатериной Быховец. Они встречались в доме Мавры Егоровны в 1837 и 1840 годах.

А вот как писал в 1989 г. правнук Е. Г. Быховец А. Б. Ивановский о родстве своей прапрабабушки с Лермонтовым: «Если Екатерина Быховец называла жену двоюродного деда (урожденную Крюкову. — В.З.) «бабушкой», а ее приятельницу, родственницу деда Лермонтова (Крюкову по мужу. — В.З.), тоже «бабушкой», то все становится понятным. И сейчас многие именуют жену дяди «тетей», а мужа тети — «дядей».

Родственником считал Лермонтова и отец Екатерины Григорьевны. В феврале 1842 года он писал А. А. Краевскому: «Дочь моя... кузина и друг покойного милого нашего поэта...». Вообще в России роднились до десятого колена. Родство такое и называлось «свойством». И сама Катенька, называя в своем письме Лермонтова «кузеном», была уверена в том, что она имеет на это право.

Столь подробное освещение родственных связей Лермонтова с Е. Г. Быховец стало необходимым в связи с появлением в 1989 году статьи Е. Рябова и Д. Алексеева «А было ли письмо?», в которой ставится под сомнение их существование. Сравнивая текст письма Быховец с воспоминаниями Раевского и Шан-Гирей, авторы убеждены, что перед ними очередная мистификация старого Петруши Вяземского. Однако наличие ряда свидетельств современников, а главное, анализ содержания самого письма, факты опровергают утверждение о том, что письмо — фальшивка.

Мы не можем утверждать, как это сделали Рябов и Алексеев, что Катенька Быховец «никогда не принадлежала к кругу Лермонтова». Да, в Петербурге он ее, вполне возможно предположить, в толпе других ей подобных и не заметил бы, но на Водах нравы были иными, более свободными. И здесь присутствие красивой, мо-

лоденькой, стройной девушки, с которой можно было обращаться на правах «родственника» более раскованно, чем с жеманными барышнями Пятигорска, было, в общем-то, определенной привилегией.

Правда, в 1974 г. Прокопенко, не зная о существовании портрета Е. Быховец, написал о ней такую чушь: «Это была симпатичная, смуглая брюнетка, лечившаяся на водах от несколько излишней полноты». Отсутствие документальных сведений, как ком, все больше нарастали и создавали одну легенду за другой. Катенька вовсе не лечилась, а всего-навсего сопровождала свою тетушку, была своего рода компаньонкой.

Больше того, мы знаем, что все «водяное общество» было уже не первый год знакомо друг с другом, а тут новый человек, и мы точно знаем, что внимание ей уделяли многие молодые люди немало, что так сильно раздражало постоянных жителей этого курортного городка.

Василий Чилаев и Николай Раевский, рассказывая Мартъянову о пятигорском окружении Лермонтова, упомянули и о доме «близкой соседки Верзилиных тарумовской помещицы М. А. Прянишниковой, где гостила тогда ее родственница девица Быховец, прозванная Лермонтовым за бронзовый цвет лица и черные очи «*la belle poige*». Она имела много поклонников из лермонтовского кружка и сделалась известной благодаря случайной встрече с поэтом в колонии Каррас перед самой дуэлью».

При встречах с Быховец Лермонтов был довольно откровенен, изливая ей свою душу, будучи в особенно встревоженном состоянии весь этот последний период своей жизни. А Катенька Быховец, как это видно по ее письму, была сердечной и отзывчивой девушкой, и этого было вполне достаточно, чтобы Лермонтов общался с ней.

В свое время считал это письмо подделкой и П. Мартъянов. По его мнению, фраза «Государь его не любил» свидетельствует о том, что письмо сфабриковано кем-то.

Дело в том, что письмо это было опубликовано в 1892 году, Лермонтов к этому времени был уже признанным классиком русской поэзии, произведения которого были включены во все учебные программы. Вот почему П. Мартъянов не мог понять, как такая фраза могла появиться в письме.

Вот как М. Семевский поступил с вышеупомянутой фразой: «Государь его не любил, Великий князь (Михаил Павлович?) ненавидел...». Иными словами, Семевский сам поставил под сомнение имя Великого князя. Ее, я думаю, вообще не было, или она была совершенно в другом виде. Катенька, не зная ничего о переплетениях судьбы поэта, не могла написать фразу «Государь его не любил...». Такие милые барышни, как она, не лезли в политику и ничего в ней не понимали.

Ни Семевский, ни консультировавший его Висковатый не знали, почему и за что Великий князь Михаил Павлович якобы имел основания ненавидеть Лермонтова. Поэтому-то его имя, как имя предполагавшегося ненавистника поэта, было поставлено в скобки со знаком вопроса.

Однако оба публикатора совсем не обратили внимания на Великую княгиню Марию Николаевну, недолюбливавшую Лермонтова. А ведь слово «они» тоже вставлено в скобки, как и «Михаил Павлович», и тоже под знаком вопроса.

И действительно, странно: вначале проводится некая дистанция между отношениями к поэту Государя и Великого князя (и уж, конечно, не Михаила Павловича,

ведь известно, что он-то как раз совсем неплохо относился к Лермонтову), а потом они уравниваются: «не могли его видеть». А не было ли в подлиннике написано: «В.К. ненавидела» — т. е. «Великая княгиня ненавидела», а не «Великий князь» — и тогда все становится на свои места, но Семевский мог не понять этого и внес изменения по своему пониманию.

Если это именно так, тогда становится ясным, почему сохранилась только первая половина наборного экземпляра аккербломовской копии. Ответы на эти вопросы необходимо искать в документах цензурного комитета, переписке — частной и официальной. Необходимо выяснить, а не было ли у Семевского неприятностей за публикацию этого письма. Прodelать эту работу пока не удалось.

Многих исследователей удивляло упоминание имени Варвары Александровны Лопухиной (в замужестве Бахметьевой). Мог ли Лермонтов действительно назвать Катеньке имя женщины, к которой он был равнодушен в далекой юности? Ответить односложно на этот вопрос трудно. К 1841 г. она уже давно выветрилась у него из головы. И вряд ли поэт мог это сделать — ведь Катенька не была настолько близка и дружна с Лермонтовым, как Аким Павлович Шан-Гирей, знавший об этой истории наравне с родственниками Вареньки Лопухиной. О своих чувствах к ней Лермонтов не распространялся, тем более с чужими людьми. Нам кажется, что здесь налицо совершенно другой вариант — имя Бахметьевой вставлено или Семевским, или Висковатым. Почему я так думаю? При публикации в редакционном предисловии Семевский отметил, что он прочитал письмо Е. Быховец «посетившему нас профессору П. А. Висковатому».

Итак, Висковатый познакомился с подлинником письма еще до его публикации и, возможно, сказал Семевскому, что в данном месте речь идет, скорее всего, о Лопухиной-Бахметьевой. Семевский и вставил в корректуру ее имя. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что имя «Бахметьевой» напечатано курсивом, то есть выделено, в отличие от других имен. И еще один немаловажный факт, свидетельствующий, что письмо подверглось пусть незначительной, но грубой редактуре, которая в чем-то даже изменила текст письма.

В рукописном отделе ИРЛИ хранится, как мы уже говорили, лишь первая страничка копии, снятой Аккербломом и ставшей наборным экземпляром в типографии, когда готовили письмо к первой публикации. Так вот, в этой копии все исправления внесены рукой Семевского, больше того, в рукописи имеются как вставки, так и исключения отдельных слов. Вот лишь несколько примеров — в скобках приведены слова, вставленные Семевским.

- «Как бы я тебе позавидовала, моя душка (исправлено Семевским на «душечка»);
- «моему (милому) дружочку»;
- «обиты» («Обвиты») и т. д.

В последнем случае, как видим, ошибка редактора налицо. Не зная подлинных обстоятельств и никогда не видя грота Дианы, Семевский сделал исправление слова «обвиты» на «обиты», или была убрана лишняя, по его мнению, буква «в», или же он решил, что так будет правильно. На самом же деле только очевидец, непосредственный участник событий, каким и была Е. Быховец, мог написать, что колонны в гроте Дианы, устроенном в Цветнике Пятигорска, были *обвиты*, а не *обиты*

цветами, они ведь каменные, обить их цветами невозможно. Деталь на первый взгляд незначительная, но подтверждающая подлинность письма.

Вновь повторюсь, Михаил Семевский, редактор и издатель журнала «Русская старина», любил вносить в публикуемые им материалы довольно существенную редакторскую правку: исправлял или уточнял некоторые слова и фразы, иногда заменял их другими или даже добавлял недостающие по смыслу, а кое-что и выбрасывал как несущественное, по его мнению.

Так случилось и при публикации этого письма. Вставив имя Бахметьевой, Семевский решил выделить его курсивом. Исправил грамматические, по его мнению, ошибки/описки. И этим только ввел читателей, а за ними и исследователей в заблуждение.

В письме Екатерины Григорьевны имеется еще несколько деталей, знать которые мог только очевидец и о чем уже в 80-е годы XIX в. никто не знал. Одна из них — это фраза о том, как хоронили поэта: «Я была на похоронах: с музыкой его хоронить не позволили, и священника насилу уговорили его отпеть».

Вопрос, отпевали ли Лермонтова или нет, нами уже рассмотрен. Но повторюсь, даже не все современники были уверены, что отпевание было совершено. Этого не знали многие, поскольку отпевали тело убитого не в храме, а на квартире в первой половине дня, в то время как основная масса жителей пришла ко времени выноса тела и несения его на кладбище. Такая неясность и послужила разногласиям в мемуарах. Катенька Быховец знала о совершенном отпевании наверняка, присутствовали ли она сама или ей рассказали другие очевидцы, не суть главное. Важно то, что это свидетельство Быховец имеет стопроцентную достоверность.

Мы имеем достаточно доказательств современников поэта о том, что Екатерина Быховец лицо реальное, и до появления ее письма о ней оставили свои воспоминания другие современники Лермонтова, жившие в Пятигорске в то время: Чилев, Раевский, Э. Шан-Гирей и др.

Меня несколько озадачила реакция лиц, занимающихся жизнью и творчеством Лермонтова. Так, Н. Серафимов писал в своей статье: «Прежде всего поражает разительное несоответствие ценности и важности письма, о котором предупреждает заостряющая на этом внимание сопроводительная «бумажка», с ненадежным, небрежным местом его хранения в какой-то книге, вероятность которой исчезнуть навсегда безмерно велика. Вызывает недоумение, что автор «бумажки» почему-то сам не обнародовал это письмо, не содержащее какого-либо компромата и не затрагивающее чьих-либо интересов. Удивляет и то, что сам букинист не заметил некоего инородного включения в книге, изменяющего её внешний вид. Этот искажённый вид книги должен был сразу броситься в глаза букинисту, насторожить и привести к выявлению письма».

Простите, для кого это письмо является ценностью? Во-первых, для того, кому оно было адресовано. А если его уже нет в живых, то родственникам все это уже не нужно. Для них это хлам, в лучшем случае закладка в книгу. Так всегда поступали. Нужно это письмо только лермонтоведам. Остальным оно без интереса и без надобности. Я покупал не раз за свою жизнь книги у букинистов и почти всегда в них что-то находил: и закладки, и вложенные письма старых владельцев. Причем письма были для меня как лермонтоведа совершенно неинтересными, они касались бытовых деталей жизни прошлых владельцев.

Почему не опубликовал? Да потому что он этим никогда не занимался. А вот журнал «Русская старина» ему, вероятно, был известен. Туда он и послал письмо, сопроводив своим письмом. Не надо думать, что все жители России были грамотными и понимали величие значения Лермонтова.

Смешным я считаю и заявление Серафимова: «Казалось бы, что гимназист В. Акерблом, находясь на вершине славы, в состоянии эйфории от чувства переполнявшей его гордости за сделанное открытие бесценного раритета, взволновавшего литературную общественность, должен был бы рассказать историю обнаружения им письма подробнее». Это для нас важны подробности, это у нас при подобной находке возникнет эйфория. А для Акерблома вполне хватило того, что он написал. Ну, был он простым гимназистом, не специалистом-лермонтоведом. Вот если бы он написал в письме всякие слова о величии Лермонтова и проч., тогда точно можно было бы заподозрить в этом письме подделку. А так, Акерблом что-то знал о поэте из гимназической программы. Деталей жизни и смерти его ни он, ни его окружение не знало, да и не читал он, видимо, специальных статей о поэте, которые появлялись в столичных, я подчеркиваю — в столичных — журналах.

Письмо Е. Быховец, как теперь стало известно, было адресовано ее двоюродной сестре по материнской линии Елизавете (Лизоньке), дети которой упоминаются в тексте.

В письме рассказывается о событиях очень важных для этого семейства, но совершенно не интересных для потомков. Оно имеет частный характер и, конечно же, совершенно не предназначалось для чтения другими людьми, кроме адресата, а уж тем более для изучения специалистами-лермонтоведами. И это лишний раз говорит о его неподдельности. Больше того, ряд неточностей в датах лишний раз свидетельствует, что многое автор письма писал по памяти. Поддельные документы, как известно, стараются давать точные даты. Ну а проблема, которую сделал Серафимов из бандо, — просто смешная. Давно известно, что бандо называлась не только «диадема в виде повязки или венка из драгоценных камней», как пишет Серафимов со ссылкой на словари XX века. Изначально бандо представляло собой обруч из золота или серебра, который надевали выше лба на волосы. Более богатые люди могли себе позволить золотое бандо, инкрустированное драгоценными камнями. У Быховец — молоденькой девицы незнатного происхождения со скромным статусом — было именно такое: простой золотой тонкий обруч. А не диадема с драгоценными камнями или фероньерка. Для нее это была постоянная ежедневная принадлежность для укрепления прически на голове. И Катенька совершенно правильно его описала: «На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман».

Мне очень жалко, что Серафимов отнес «шнурок, на котором Лермонтов всегда носил крест», к вещам незначительным. Для православного человека такой шнурок является памятью о том человеке, который его носил. О нем никто не знал из родственников Катеньки, потому что находился у нее, вероятно, в таких местах, которые не видны постороннему человеку. Мне известны такие факты из истории XX века.

Письмо Е. Быховец — чрезвычайно интересный эпистолярный памятник последних дней жизни Лермонтова. И у нас нет никаких оснований сомневаться в его подлинности.

Наконец, мы имеем подтверждение того, что Е. Быховец действительно находилась в те дни в Пятигорске. Как уже указывалось выше, мною обнаружено письмо Г. А. Быховца, отца Катеньки, к издателю журнала «Отечественные записки» А. А. Краевскому:

«Милостивый государь Андрей Александрович!

Письмо Ваше от 6-го февраля я имел удовольствие получить, на которое приятным долгом поставляю Вас уведомить, что манускриптов покойного Лермонтова у меня никогда и не было и никто их не видел, и не знаю, из каких источников г<осподин> Еропкин заимствовал сведения, коими Вас известил; это правда, что дочь моя, живущая ныне в Тарусе, кузина и друг покойного милого нашего поэта, писала ко мне, что она будет иметь некоторые последние сочинения его, но не знаю, успела ли она снести что-нибудь из гениальных сочинений несчастного из рук хищников, решивших воспользоваться вслед за роковою пулею моментом, растащить сокровища оставшейся вдохновенной поэзии, излившейся в последние его дни и неизвестные еще публике. Между тем, чтоб угодить Вашему благородному чувству, я через почту напишу моей дочери, которая в то время была на Водах, что буде ей угодно какие-нибудь манускрипты, то отослали бы их прямо к Вам, как достойному другу, обще всеми уважаемого поэта.

Примите искренние уважения мои к Вам, с коими имею честь пребывать.

Милостивого государя покорный слуга Григорий Быховец.

17-го февраля 1842. Таруса Калуж<ской> Губер<нии>».

Что же нам еще известно о Екатерине Григорьевне Быховец?

В начале 40-х годов она вышла замуж за Константина Иосифовича Ивановского. В 1830 г. Ивановский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую окончил в 1832 г., то есть в год поступления туда Лермонтова. Ивановский был выпущен в лейб-гвардии Московский полк, в котором прослужил 5 лет. Выйдя в отставку в 1837 году, Ивановский был некоторое время лесным ревизором Кавказской области, а затем уехал в Казань.

Скорее всего, именно на Кавказских Минеральных Водах в начале 40-х годов он познакомился с Е. Быховец, которая стала его женой. В 1845 г. у них родился сын — Лев, ставший впоследствии ученым-археологом.

Умерла Екатерина Григорьевна Быховец 22 октября 1880 г., похоронена в Петербурге. Ее сын умер в мае 1892 г.

Рябов и Алексеев писали в своей последней дополненной статье, напечатанной уже в 2004 году: «Прожила свою жизнь Катенька Быховец незаметно, но вот ни странно ли: ни разу не заявила она во всеуслышание о своем родстве и близком знакомстве с Лермонтовым, которого, как следует из ее письма, «любила как родного брата». Но мы знаем, что в семидесятых годах XIX века резко возрос в обществе интерес к личности поэта, и в печати замелькали воспоминания его друзей и знакомых. А ведь Катеньке, если верить ее письму, было чем поделиться с почитателями Лермонтова: поэт провел с ней последние часы перед дуэлью, только ей рассказывал о своих сложных отношениях с царем и великим князем Михаилом Павловичем,

только ее посвятил в тайны своей любви к Вареньке Лопухиной! Мало кто вообще догадывался об этом потаенном чувстве Михаила Юрьевича. Что, наконец, помешало Льву Ивановскому описать драматическую встречу своей матери и поэта перед его гибелью!».

Это обвинение авторов в отсутствии у Катеньки Быховец мемуаров удивляет любого исследователя. Кто может взять на себя смелость с уверенностью утверждать, что их не существовало. За прошедшие сто пятьдесят с лишним лет в России произошло немало страшных катаклизмов, войн, пожаров, случайных и специальных уничтожений документальных материалов. Одна революция 1917 года и последующее изменение государственного строя, идеологии да и менталитета жителей России очень дорого обошелся ее прошлому, ее истории. Пропало безвозвратно такое количество разнообразных источников — писем, дневников, мемуаров, заметок и т. д., — что утверждать, что чего-то не существовало, было бы, мягко говоря, опрометчиво.

Екатерина Григорьевна Быховец умерла через сорок лет после гибели поэта. За последующие прожитые ею годы она видела, как год от года росла слава Лермонтова. Того самого Мишеля, с которым она смеялась, веселилась и совсем не чувствовала, что он Великий Поэт. В такой ситуации любой нормальный человек подумает: а что он лично может рассказать не о Михаиле Лермонтове, а о Великом Русском Поэте? И насколько объективен будет этот рассказ, а уж тем более письменные мемуары? К тому же Быховец, думаю, читала в тогдашней прессе многие воспоминания, читала и ту перепалку, которую затевала Эмилия Шан-Гирей со всеми, кто только упоминал ее имя, в том числе и с Николаем Раевским. Мы не можем в полной мере доверять воспоминаниям, написанным через 30–40 лет. В них не будет уже той документальной подлинности. Мемуаристы, как правило, устраивают путаницы с датами, именами, событиями. И их тексты уже необходимо проверять по каким-то дополнительным сведениям, верно ли, что именно в том году или в тот день, как они указывают, была та или иная встреча или происходило описанное у них событие. Это можно проверить на своем личном опыте. Попросите двух, а то и трех лиц описать одно и то же событие, и вы получите три разных описания, в чем-то схожих, но и в чем-то различающихся один от другого. Самый яркий пример в истории — четыре евангелиста, которые были современниками и свидетелями описываемых ими событий, но каждый описал их по-своему.

Анализируя письмо Катеньки Быховец, мне бы хотелось немного порассуждать вот о чем. Прежде всего, не следует забывать, что это письмо было адресовано ее кузине и Катенька отвечала Лизоньке на ее письмо, в котором содержалась информация о событиях, очень важных для их семейства, но совершенно неинтересная потомкам. Но откуда же ей было знать, что письмо сохранится и его будут читать, анализировать, даже изучать?

Я позвонил из Тамани Э.Г. Герштейн и стал ей рассказывать о появлении новых исследований, подвергающих целый ряд уже известных документов критическому анализу, считающих их подделками. На что Эмма Григорьевна ответила, что ничего страшного в этом нет, поскольку подобный анализ как отдельных произведений, так и документов делался еще с дореволюционных времен. А в подделках участвовал даже сам Висковатый, сам писал стихи, выдавая их за лермонтовские. Хорошо, что его еще тогда разоблачил Мартыанов. Но надо смотреть, что это за кри-

тики, насколько они находятся в теме, насколько хорошо знают жизнь и творчество Лермонтова. Но самое главное заключается в том, какими документальными свидетельствами они подкрепляют свою новую точку зрения. Важен методологический подход исследователей, ведь прежде чем что-то отвергать, надо очень внимательно проанализировать существующий документ и взвесить, насколько предлагаемые новые доказательства убедительны. Нужно не огульное шельмование, а необходимо проводить тщательный анализ документа с привлечением подлинных, не подлежащих сомнению свидетельств.

На мой вопрос, не желает ли она прочесть работы новых критиков, Эмма Григорьевна ответила, что у нее нет свободного времени читать разную белиберду. «Я слишком занята, чтобы тратить на них свое время, а его у меня становится все меньше и меньше. Вашей рукописи я могу уделить внимание, но опусы других не желаю читать». Тут я перешел на совершенно другую тему, и еще минуту мы потратили на какие-то личные разговоры. Уже прощаясь, Эмма Григорьевна вдруг спохватилась и сказала, что забыла что-то мне сообщить, и обещала написать в письме.

Не скрою, мне очень хотелось знать точку зрения одного из старейших лермонтоведов на новые разыскания Рябова и Алексеева. Я в то время был еще молодым лермонтоведом и думал: ну кто может прислушаться к моему мнению, а вот Эмма Григорьевна — это же айсберг. И тут мне пришла на ум одна мысль, не совсем хорошая. Я решил устроить маленький розыгрыш. Поскольку Эмма Григорьевна сказала, что прочтет только мою работу, а я имел разрешение Алексеева поставить свою подпись, я так и сделал. Перепечатал статью Рябова и Алексеева, поставил ниже еще и свою фамилию и, ничтоже сумняшеся, послал пакет Герштейн.

Ответ не замедлил себя ждать. 27 мая 1983 года я получил целую бандероль, в которой на 7 листах был напечатан довольно пространственный ответ. Я никогда не публиковал его, но сейчас, когда г-н Алексеев попросту распоясался, выпустив тенденциозно подобранную хрестоматию версий гибели Лермонтова и много чего другого, настало время, чтобы мнение старейшины лермонтоведения стало достоянием гласности. Вот что писала Эмма Григорьевна:

«Дорогой Владимир Александрович!

Ваши претензии к милой девушке Катерине Быховец смешны, но типичны для некоторых исследователей вроде Недумова. Этот почтенный человек уверился во враждебности Столыпина к Лермонтову на том основании, что Монго не оставил воспоминаний о своем друге. То же относится и к Екатерине Быховец.

Не нравится Вам, каким тоном она описывает Лермонтова и его гибель. А мне, например, очень нравится. И с такими же претензиями я тоже сталкиваюсь не впервые. Так, покойный Мих. Яшин обвинял Ив. Гагарина, что в письме к Самарину он не растекается в восклицаниях, сожалениях и междометиях по поводу гибели Лермонтова, а говорит лаконично. Так всегда мужчины поступают, особенно когда пишешь по почте, где принято читать чужие письма (А. Я. Булгаков), а Самарин прекрасно знал, что значил Лермонтов для Гагарина, и не ждал от него высоких слов, понимая его горе и без них. Таким образом, Яшин, будучи безвкусен, требует того же от Гагарина. Увы! Тот же упрек можно адресовать и авторам, — писала Эмма Гри-

горьевна. — Вам не нравится, что она раньше писала о пикнике, а потом о смерти Лермонтова? Но она не писательница. Ей хотелось объяснить сестре, почему она была так огорчена и поражена, показать характер ее отношений с поэтом в последние дни его жизни. Тут другое. Действительно, обращает на себя внимание какой-то, может быть, пропуск в тексте. Второй абзац начинается сразу: «Как же весело я провела этот день». Какой день? Тут возможны три отгадки. 1. Сестра знала о готовящемся празднике и что-то написала ей об этом в своем письме. — Маловероятно из-за сроков прохождения корреспонденции между Минеральными Водами и Таруссой. 2. Катя писала сама о готовящемся празднике в предыдущем письме и, торопясь, сразу приступила к его описанию, не поясняя, о чем идет речь. 3. Редакция не разобрала какого-то слова и напечатала «этот», забыв, что читатель не знает, какой «этот». И, наконец, допускаю, хотя это очень сомнительно, что редакция что-то выпустила. А самое верное, что в письме на восьми страницах трудно было соблюсти при прочтении правильную последовательность (девушка писала на обороте).

Теперь о путаницах в датах. Это вещь очень обыкновенная для молодой девушки. Если бы письмо писал мистификатор, поверьте, у него все было бы проверено, и он такой ошибки не сделал бы. И все эти «через четыре дня», «потом» и проч. — так путают все женщины.

Вы требуете, чтобы все окружающие Лермонтова подтвердили, что он четыре раза заходил к Кате Быховец. Неужели он обязан был отчитываться?! Мало ли где он был. Ведь не сыск над ним учредили его друзья.

И вот ваша основная методологическая ошибка. Вы проверяете письмо современное событиям воспоминаниями Н. П. Раевского, записанными через 40 лет после событий. А надо наоборот: проверять воспоминания по современным документам. Да и кто такой Раевский? Видно, что он действительно участвовал в некоторых общих развлечениях лермонтовской компании, но говорит обо всем очень поверхностно, к тому же это не его прямой рассказ, а запись весьма безвкусной писательницы Желиховской. С чего Вы взяли, что этот доктор Раевский является достоверным свидетелем жизни и смерти Лермонтова в Пятигорске? И еще проверяют такие мелочи, которые посторонний человек не может помнить по прошествии десятилетий. Побежала ли Быховец за бандо или его забрал Дмитриевский, чтобы ей отдать? Очень возможно, что она действительно прибежала на похороны и просила свое бандо, а Дмитриевский ей его обещал потом отдать и вот — потерял (а может быть, хотел сам сохранить для себя?). Во всяком случае, такие подробности сдвигаются в памяти у всех людей, тем более что Раевский в ту минуту думал не о Быховец, а о Лермонтове. А что Вы скажете про ошибку памяти Арнольди? Он уверял, что дуэль была 17 июля, потому что он помнит, как ехал поздравить с семейным праздником своих родных в этот день и по дороге встретил Столыпина и Глебова. Поскольку он пожелал им убить орла, я верю в достоверность его рассказа, а вот в памяти его сдвинулись, очевидно, две поездки, одна 15-го, другая — 17-го. Это не значит, что Арнольди лгун.

Серьезный довод — имя Бахметьевой, которого не должно было бы быть в письме девицы. А вы разве не видите, что оно вставлено Семевским

и Висковатовым? Оно набрано курсивом и с инициалами, откуда у Катеньки вдруг такая официальность и точность? Лермонтов открывал ей свою душу, будучи в особенном встревоженном и вдохновенном состоянии весь этот последний период своей жизни. А Катенька Быховец, видно по ее письму, была сердечной, красивой, невинной девушкой, и этого было достаточно, чтобы Лермонтов обращал к ней свои прекрасные слова, которые каким-то надутым педантам кажутся пошлостью (имею в виду Рябова и пр.).

Теперь по существу. Вы подозреваете мистификацию. С какой целью? И кто автор? Семевский? Висковатов? Гимназист или реалист Аккерблом или директор реального училища в Самаре А. П. Херувимов?

Что же заставляет вас подозревать мистификацию? Дата была переправлена самим Аккербломом, он сравнил календарные данные 1841-го года с письмом Быховец и называет его письмом 4 августа, понедельник, а не 5-го, как ошибочно написала Быховец. Прислав копию в «Русскую старину», дослал и подлинник по рекомендации директора училища. Кого тут можно подозревать? Все чисто.

А вот почему письма не оказалось в Лермонтовском музее, хотя Семевский печатно сообщил, что оно было им передано туда, вот тут начинаются вопросы.

Вы обращаете внимание на расхождения в упоминаниях о бандо Катеньки Быховец между свидетелями, а не замечаете главного. Того, что заставило верноподданного заподозрить подлинность этого письма: «Государь его не любил, великий князь ненавидел, не могли его видеть». Это было написано в самое реакционное время, в 1892 году, причем Лермонтов как классик русской поэзии уже был утвержден и давно включен в учебные программы. Вот тут-то и зарыта собака. Теперь посмотрите, как это место напечатано. Насчет великого князя — недоумение: «(Михаил Павлович?)», не знали, что наследник мог иметь основания ненавидеть Лермонтова, и уж совсем не обратили внимания на великую княгиню Марию Николаевну, «по заказу» которой Соллогуб написал «Большой свет». А ведь слово «они?» тоже вставлено под вопросом. И действительно странно: вначале проводится некая дистанция между отношениями к поэту царя и великого князя (уж, конечно, не Михаила Павловича, ведь мы знаем, что он неплохо относился к Лермонтову), а потом они уравниваются: «не могли его видеть». Не было ли там написано «не могла его видеть»? И не было ли написано сокращенно: «вел. Кн.» «ненавидела»? Вот какие вопросы я себе задавала, когда рыскала в поисках этого письма по архиву «Русской старины» и Семевского.

Если это так, тогда ясно, почему письмо пропало и почему сохранилась только первая половина наборного экземпляра аккербломовской копии (аккербломовской ли?). Ответы на эти вопросы надо искать в материалах девяностых годов — переписке частной и официальной, может быть, цензурного комитета или других подобных учреждений, не было ли у Семевского неприятностей за публикацию этого письма? А что там препираться из-за бандо, из-за того, что Быховец называет свою спутницу Обыденной, а Эмилия Карловна — Прянишниковой? Зачем же было бы мистификатору выдумывать новую фамилию, в то время как о Быховец и Прянишниковой уже было указано в печати?

И, наконец, писать такие работы, как Ваша и Рябова, можно только в том случае, если автору действительно посчастливилось обнаружить и бесспорно доказать, что на страницах «Русской старины» появилась мистифика-

ция. Но ведь ничего не доказали? Кому же нужна такая работа? Чтобы запутывать бездельников? Давать им пищу для судачения и разглагольствований?

Я вспомнила, что я хотела Вам сказать.

Во-первых, у меня есть список участвующих в китайском маскараде-спектакле 6 января 1837 г., там есть Траскин и название его роли. Если Вы не будете будировать свою Быховец, я Вам скажу, а Вы сошлетесь на меня в своей публикации дневника декабриста Толстого.

Во-вторых, я получила заказное (почему-то аккуратно вскрытое) письмо некоего Ленорина из лермонтовской библиотеки в Ростове-на-Дону, в которое вложена ксерокопия переписки Мануйлова с «Литературной газетой» и прочие материалы к публикации «Осторожно, сенсация!». С какой стати я должна читать чужие письма? Я хотела ответить этому старцу из уважения к его девяноста годам, но теперь раздумала. Вот это письмо, которое я написала только что, отняло, по крайней мере, два часа времени, а то и больше. С какой стати я буду объясняться со склочниками, рассылающими чужие письма? Он, видите ли, уверен, что бандитская записка, которую приписывает Чекалин Васильчикову, должна меня кровно интересовать и я должна вступить в спор с Мануйловым и особенно Латышевым, которого сей Ленорин почему-то особенно презирает. Что за бред!

Приветствую Вас.

Прошу Вас, задумайтесь о моих словах по поводу критики письма Быховец.

Кстати, почему Вы пишете, что Быховец-Ивановская прожила незаметную жизнь? Если ее сын стал известным археологом, то жизнь матери не такая уж незаметная. И почему знакомая Лермонтова должна выделяться в обществе? Что это, такой титул?».

Вот такое интересное письмо, хотя его получению предшествовал небольшой розыгрыш. По поводу воспоминаний Э. А. Шан-Гирей и Н. П. Раевского я лишь повторю свое мнение.

Сейчас, спустя 160 лет после гибели Лермонтова, зная больше и документированнее о событиях тех дней, мы не можем во всем положиться на свидетельства Эмили Александровны, память подвела ее, но вполне возможно и что-то другое. Зная подлинные события, она умышленно навела тень на ясный день. Чего греха таить, причины для такого поведения были, Лермонтова она недолюбливала, хотя позже вышла замуж за троюродного брата поэта Аким Павловича. Мог что-то перепутать и Раевский, тем более что были опубликованы не его рукописные воспоминания, а их изложение, сделанное с его слов мадам Желиховской.

Так что ссылки Рябова и Алексеева на этих мемуаристов для проверки письма Быховец просто невозможны. Это все равно, что проверять написанное кем-то сообщение о сегодняшнем происшествии, пусть даже с субъективным видением, лет через двадцать, спрашивая у тех, кто тоже был его очевидцем. Воспоминания бывших очевидцев, написанные спустя годы, никогда не совпадут с теми свидетельствами, которые были написаны по горячим следам.

И в заключение снова вернемся к статье Н. Серафимова. Автор писал: «Сумбурность изложения повествования, корявость стиля, грамматические ошибки, со-

ответствующие образу молоденькой девушки, не могут служить доказательством её авторства, так как талантливые писатели могли говорить языком человека любого пола, возраста, сословия, образования, профессии и т. п. Поэтому эпистолярному мастеру создать контрафакцию большого труда не составляет, но намного сложнее и едва ли возможно ему избежать каких либо огрехов, изобличающих фальсификат.

Большой загадкой является тот факт, что Е. Быховец в течение всей жизни никогда ни устно, ни в прессе не озвучивала рассказ о последних днях и часах Лермонтова, изложенный в найденном В. Акербломом письме от её имени. Прижизненные воспоминания Е. Быховец о родственнике-поэте, которого она любила «как родного брата», почему-то никому не известны. Чем это можно объяснить?

Даже не читая и не анализируя письмо, но лишь по одному сообщению В. Акерблома о месте находки письма, то есть на «толкучке», можно усомниться в подлинности представленного раритета. «Блошинные рынки», или «толкучки», ранее и по сей день остаются удобным местом для выдуманных ссылок на них и для реального вброся неизвестного происхождения фальшивых купюр, монет, наградных знаков, разного рода документов, предметов археологии и прочих артефактов для извлечения прибыли или для достижения иных целей».

Сумбурность письма, допущенные грамматические ошибки, корявость стиля, ничуть не свидетельствуют о его подложности, а наоборот, говорят о том, что автор писала быстро, не очень-то задумываясь над содержанием, поскольку торопилась ответить своей родственнице, прежде всего о том, что касалось их лично. Кроме того, в письме содержались такие мелкие детали вечера в Цветнике, о которых поддельщики даже в 50-е годы, а уже тем более в 90-е годы XIX века не могли знать. Поэтому все обвинения к Катеньке Быховец, как и поиски «подлинного» автора этого письма, не только пустое занятие, но вымыслы, ни на чем не обоснованные.



Екатерина ПОЛУМИСКОВА

ФАТАЛИСТ

Кому судьба готовит смерть от пули,
Тому не быть поверженным клинком.
Кого в любви однажды обманули,
Того к венцу не привести силком.

Так думал он, легко в седло взлетая,
Навстречу ветру торопил коня.
А горизонта строчка золотая
Вытягивалась в линию огня.

Неуязвим! Не силой ли молитвы,
Не в искупленье ль девичьей слезы
Он невредимым выходил из битвы
И жил одним предчувствием грозы?

Но, словно пилигрим, томимый жаждой,
Святой источник зря искал во мгле.
Кто бросил вызов небесам однажды,
Уже не будет счастливым на земле.

Дуэль. И выстрел в воздух... Что ж так плохо?
Посланник смерти — пуля иль кинжал?
Он будто бы своим последним вздохом
Испытывать фортуна продолжал...

О, беспощадный век!
О, век жестокий!
Кто жаждал бури, тех судить не нам.
Как в ту грозу, мятежных молний строки
Раскалывают небо пополам.

И нет покоя...
И лучами славы
Прошиты грозовые облака.
И снова безутешно плачут травы
На молчаливых склонах Машука.

ДОМИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В ПЯТИГОРСКЕ

Сад. Крыльцо. Камышовая крыша.
Темень в окнах — не видно ни зги.
Только в полночь как будто бы слышен
лёгкий скрип половиц и... шаги.

Словно поздней порой с вечеринки
возвратился опальный поэт,
проскользнул через двор по тропинке
и тихонько прошёл в кабинет,

чтобы вновь над заветной тетрадкой
при свечах колдовать у окна
и беседовать с Музой украдкой,
и писать до рассвета, без сна.

И пока темнота не растает,
будет снова метаться душа.
Он всю рукопись перелистает,
пожелтевшей бумагой шурша,

спешно примется за акварели
и стихом заболует опять.
И уже ни враги, ни дуэли
не посмеют ему помешать...

Жизни отнятой, жаль, невозможно
отыграть по мгновеньям в ночи.
Оттого ли так бьётся тревожно
вдохновенное пламя свечи?

Как в тумане, года промелькнули —
Мчится время своим чередом.
И стоит сиротою в июле
с камышовой крышею дом.

НАКАНУНЕ ДУЭЛИ (монолог М. Ю. Лермонтова)

Скажи, Монго, фортуною храним,
доколе на земле скитальцем буду —
опальный бард, печальный пилигрим,
царём гоним, но мил простому люду?

Готов я смерть принять.
Да где же та,
что в смертный час, меня любя, оплачет?
Иль ждёт меня иная красота,
и мир иной, где будет всё иначе?

О, верный друг мой!
Беспробудным сном
мне жизнь моя казалась поначалу.
И сколько б я ни думал о былом,
мой парусник не находил причала!

А в эту ночь, пожалуй, не уснуть...
Дуэль — великий грех, не прегрешенье.
Я чувствую, что мой тернистый путь
неотвратимо близок к завершенью.

Я всё яснее слышу голоса
далёких звёзд.
Иду на зов опять я.
В грозу меня оплачут небеса,
и мать-земля мне распахнёт объятия.

Замешан век на войнах, на крови.
Жестокое пари со смертью — в силе!
Возрадуются недруги мои
и пир устроят на моей могиле.

Но прежде — пусть поспразднуют друзья
в компании со мной, а не на тризне!
Пусть скажут, что бывал и весел я
в своей короткой и мятежной жизни.

Что каждый миг свой, как последний час,
и в дружбе, и в бою я прожил честно.
И я молю, чтобы к Вратам Небесным
меня умчал крылатый мой Пегас.

Облака, степные кобылицы,
вновь уходят в бронзовый закат.
И слагают люди небылицы,
кто был прав тогда, кто виноват.

Кто нарушил правила дуэли?
Был ли выстрел в воздух или нет?
И какие призрачные цели
видел в этой смерти «высший свет»?

Только солнце, вспомнив об обете
сохранить и правду, и покой,
как немой, единственный свидетель,
каждый день восходит над землёй.

Дуэль? Убийство? Недоразуменье?
Стеченье обстоятельств роковых —
И обернулось вечностью мгновенье...
Лишь только выстрел строчек огневых
Теперь остался навсегда за Вами.
Пророчествам былым наперекор
Стреляйте же без промаха словами!
Промчитесь над землёй во весь опор
Верхом на скакуне своём крылатом,
А не листком, что бурей унесло,
Являя миру с грозovým раскатом
Поэта вековое ремесло.
Пусть будут эполеты в звёздной пыли!
Презрев покой и на пределе сил
Любите тех, кого не любили,
Прощая тех, кто Вас не любил.
И ангел Ваш иль демон тьмы и света,
Быть может, заслонит ещё крылом
Уже другого дерзкого поэта,
Ведущего теперь дуэль со злом.

Сергей
БЕЛОКОНЬ

НЕИЗБЕЖИМЫЙ ЖРЕБИЙ (отрывок)

(Версия гибели Тенгинского пехотного полка поручика
Михаила Лермонтова)

Развязка: июль 1841 года

В то утро спалось.

Давеча вечером он хотел подняться по-раньше и прокатиться на Черкесе.

Однако проспал. Был уже десятый час.

Михаил Юрьевич подошел к отворенному окну и сорвал горсть черешен. Ему нравилась пятигорская черешня.

Увидев во дворе гурийца Саникидзе, приказал ему подавать чай.

Заглянул в комнату Столыпина.

Монго еще спал.

Тогда Лермонтов запустил в него черешней и под недовольное ворчание Монго продекламировал:

Смело в тире жизни надо

Пить фиал свой до конца.

Но лишь битве смерть — награда,

Не под стулом для бойца.

— Погоди, он тебя еще достанет, — хмуро отозвался Столыпин, вспомнив потемневшую от гнева физиономию Мартынова, которому на недавней пирушке адресовал свой очередной экспромт Лермонтов.

Саникидзе принес чай.

Лермонтов пил, присев на смятую постель. Слышал, как ворочался Монго. Крикнул в открытую дверь:

— Не забудь на обед мороженое заказать. Я уйду брать ванну, — и засмеялся неожиданно для себя. — Не забудь, Монго, что вечером мы званы к Верзилиным.

— Не лучше ли к Найтаки в казино? — отозвался после небольшой паузы Столыпин. В дверь вылетела раздавленная черешня и подкатилась к ногам Лермонтова.

— Ты же знаешь, я не люблю проигрывать, а мне в последнее время не везет. Туз червей меня подводит. Это верный признак, что надо переждать.

— Черви не только Пушкину улыбаются, но и Мартышу, — сострил Монго, но Лермонтов уже вышел.

Монго не обманул, и на обед действительно было мороженое.

Так или примерно в таком ключе можно было бы и развивать дальнейшее повествование вплоть до резкого толчка в бок и покачнувшегося неба. Соблазн велик. Однако сам жанр «Версии» требует некоего критического голоса, размышления, беседы с читателем, совместного поиска. Ибо основные документальные материалы широкодоступны, нет недостатка и в беллетристике, посвященной жизни Лермонтова, поставлены спектакли и сняты художественные ленты. И все же в результате мы имеем зачастую некий сусальный образ поэта, лишенный светотени, присущей ему глубины.

В литературе вообще нередко изображение трагической ситуации оборачивается фарсом. В жизни же фарс порой заканчивается трагедией. Так было, так случается и по сей день.

Как же, по всей вероятности, развивались события?

Ссора Мартынова с Лермонтовым произошла 13 июля 1841 года на вечеринке в доме Верзилиных. Вот так описывает ее Э. А. Шан-Гирей, урожденная Клингенберг, падчерица генерала Верзилина:

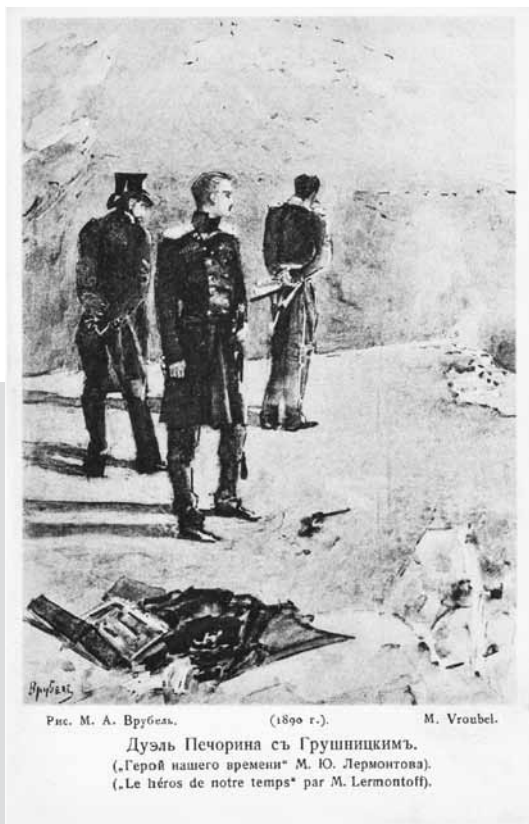
«Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин, порешили не ехать на собрания, а провести вечер дома, находя это приятнее и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменяв тон насмешки, он сказал мне: «Mlle Emilie! Je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la dernière fois de ma vie»¹.

«Ну уж так и быть, в последний раз, пойдемте». Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить на свой язык а *guî mieux*². Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «*montagnart au grand poignard*»³. (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал.)

Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «*poignard*» раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз я просил вас оставить свои шутки при дамах», — и так

быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание «Язык мой — враг мой» Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Ce n'est rien; demain nous serons bons amis»⁴. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уже рассказывали мне, что когда выходили, то в передней Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?». Мартынов ответил решительно «да», и тут же назначили день».

За исключением некоторых деталей это объяснение вызова совпадает с воспоминаниями Н. И. Лорера, В. И. Чилыева, Н. П. Раевского, Полеводина,



Врубель М. А.
(1856–1910).
Дуэль Печорина
с Грушницким
(иллюстрация
к роману
М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего
времени»).
Бумага, черная
акварель, белила.
1890–1891 гг.

Рис. М. А. Врубель. (1890 г.). M. Vroubel.
Дуэль Печорина съ Грушницкимъ.
(„Герой нашего времени“ М. Ю. Лермонтова).
(„Le héros de notre temps“ par M. Lermontoff).

Н. Ф. Туровского, А. П. Смольянинова, А. И. Васильчикова и других. Да и сам Мартынов, отвечая на «вопросные пункты Следственной комиссии», писал: «С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом, все, чем только можно досадить человеку, не касаясь его чести.

1 Мадмуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни (фр.).
2 Наперебой (фр.).
3 Горец с большим кинжалом (фр.).
4 Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями (фр.).

Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума; но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отщучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее. На вечере в одном частном доме, за два дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома я удержал его за руку, чтобы он шел рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если он еще вздумает выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэлей, следовательно, ты никогда этим не испугаешь». В это время мы подошли к его дому. Я высказал, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта, и возвратился к себе. Раздеваясь, я велел человеку попросить ко мне Глебова, когда он придет домой. Через четверть часа вошел ко мне в комнату Глебов. Я объяснил ему, в чем дело, просил его быть моим секундantom и по получении от него согласия сказал ему, чтобы он на другой же день отправился к Лермонтову».

Как же объяснить такую реакцию Мартынова на шутки Лермонтова, ведь он в «опросном листе», говоря об «остротах, колкостях и насмешках» поэта, тем не менее отмечает, что они «не касались до его чести»?

Несомненно, его подогревали в чувстве неприязни, как незадолго перед тем пытались столкнуть с Лермонтовым одного из поклонников Надежды Верзилиной Лисаневича. И в данном случае семена упали на благоприятную почву, ибо честь Мартынова была у многих под сомнением. Да и окружение Мартынова в лице Васильчикова, Мерлини было заинтересовано раздуть ссору, чтобы удовлетворить свое честолюбие. Наконец-то в их руках оказалась подходящая фигура.

Хотя установилось мнение, что секунднтов было четверо и что Столыпина-Монго и Трубецкого решили просто не вмешивать в эту историю, вряд ли это так. Скорее всего, Столыпин и Трубецкой наряду с другими лицами являлись просто свидетелями поединка, но никак не его прямыми участниками. Только этим можно объяснить то, что в редакционной заметке одной французской газеты, поместившей в 1843 году столыпинский перевод «Героя нашего времени», говорится: «Г-н Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными». Атрибуция данного высказывания Б. Эйхенбаумом и Э. Герштейн не вызывает сомнений.

Итак, остаются два секунданта: Васильчиков и Глебов.

Глебов — со стороны Мартынова, Васильчиков — Лермонтова.

Впрочем, есть еще основания предположить, что у Лермонтова вообще не было секунданта. По капризу случая его интересы должен был представлять тайный недруг.

В троице — Мартынов, Васильчиков, Глебов — наибольшего доверия заслуживает Глебов. Однако и у него имелись в это время основания испытывать чувство

недоброжелательности к поэту. Судя по эпиграмме «Милый Глебов», Лермонтов не упускал возможности метнуть остроту и в его адрес. Важные факты о характере одной из последних встреч Глебова с Лермонтовым содержатся в «Дневнике» Дикова. Напомним сцену вызова на дуэль. Глебов ищет Лермонтова, чтобы обговорить условия поединка, и находит его за игрой в карты в круту офицеров.

«На него, конечно, никто не обратил большого внимания. Между тем Глебов подошел к столу и просил внимания у присутствующих здесь. На минуту все опустили карты и умолкли. Глебов в коротких словах объявил, что он выбран секундантом со стороны Мартынова, который просит Лермонтова быть в пять часов пополудни вблизи того кургана, о котором уже упоминал и который находится не далее семи верст от Пятигорска.

— Буду, — сказал Лермонтов машинально и продолжал метать.

— Выслушайте условия, — повторил секундант.

— Пожалуйста, после. Теперь некогда мне до ваших условий. Игра мне дороже и Мартынова, и вас».

Не абсолютизируя достоверность приведенных Диковым фактов, тем не менее отметим, что они позволяют предположить, что, во-первых, Лермонтов перед поединком весьма нелюбезно обошелся с Глебовым, а во-вторых, предоставил самим секундантам установить условия поединка, то есть, отправляясь к Машуку, он ничего еще не знал о деталях предстоящей дуэли.

Глебов уходит, несомненно, оскорбленным, рассказывает Мартынову и Васильчикову о своем посещении. Не тут ли родился у тройки заговорщиков (вероятнее всего, генератором идеи был все-таки Васильчиков) дьявольский замысел?!

Арестованным после убийства поэта Мартынову, Глебову и Васильчикову, как ни странно, была предоставлена возможность переписки, чем они не преминули воспользоваться для согласования показаний. Естественно, факты корректировались не в пользу Лермонтова, всячески затеняли истину.

Так, Глебов и Васильчиков пишут Мартынову в тюрьму: «Посылаем тебе брелок 8-1 статьи; ты к нему можешь прибавить по своему разумению, но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не на дрожках беговых со мной; ты так и скажи... Признаться тебе, твое письмо несколько было нам неприятно. Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и во всем, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю (все это знают, судьба так хотела, тем более что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолета; второй, когда у тебя пистолеты рвало в руке, и это третий), и совсем не потому, чтобы ты хотел пролить кровь, в доказательство чего приводим то, что ты сам не походил на себя, бросился к Лермонтову в ту секунду, как он упал, и простился с ним. Что же касается до правды, то мы отклоняемся только в отношении к Т. и С., которых имена не должны быть упомянуты ни в каком случае. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали».

Из приведенных выше отрывков переписки можно сделать вывод, что секунданты, вопреки утверждениям, не предпринимали особых попыток примирить сто-

роны, иначе ни к чему было бы напоминать Мартынову: «Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали».

Обращает на себя внимание и фраза Мартынова о «бестии стряпчем» (это был некто Олышанский), который о чем-то догадывался.

О чем?

Выяснить истину Олышанскому не удалось, ибо по указанию Николая I дело было передано из Пятигорского окружного суда в военный и завершено в четыре дня.

Основной, на наш взгляд, вопрос поединка — о его дистанции. Это ключ к тайне.

На каком же расстоянии были установлены барьеры?

Сравним данные различных источников.

Васильчиков: «Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде «Марш!». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «Сходишь!».

Из акта от 16 июля 1841 года об осмотре места дуэли: «Привязав своих лошадей к кустарникам, где приметна истоптанная трава и следы от беговых дрожек, они, как указали нам, следователям, гг. Глебов и князь Васильчиков, отмерили вдоль по дороге барьер в 15 шагов и поставили по концам одного по шапке, потом от этих шапок еще отмерили по дороге в обе стороны по 10 шагов и на концах оных также поставили по шапке, что составилось уже четыре шапки. Поединщики сначала стали на крайних точках, т. е. в 10 шагах от барьера: Мартынов от севера к югу, а Лермонтов от юга к северу».

Отметим несогласование показаний: 10 шагов и 15.

Полеводин: «Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пять шагов в сторону, развели их по крайний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходиться».

Булгаков: «Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил в воздух, желая кончить глупую эту ссору дружелюбно. Не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце».

Любомирский: «Мартынов вызвал его на дуэль. Положено стреляться в шести шагах».

В «Дневнике» Дикова также говорится «о ничтожном расстоянии».

Таким образом, наиболее вероятной дистанцией поединка являются 6–8 шагов!

Случай для такого пустячного оскорбления невероятный. Вспомним, что Пушкин с Дантесом стрелялись на 10 шагах, а ведь там была задета честь жены, честь семьи!

Почему же 6–8 шагов, а не 15?

В такой ничтожной дистанции и скрывается, на наш взгляд, иезуитский расчет. Она объясняет и противоречивое поведение Лермонтова, и резкую смену его настроений перед поединком и на месте дуэли.

Поэта заманили в ловушку.

Во-первых, расстояние в 6–8 шагов автоматически отсекает путь к примирению.

Во-вторых, у стреляющего первым практически нет возможности промахнуться. А демонстративный выстрел в воздух означает новое оскорбление противнику и требует продолжение поединка. (Не отсюда ли упоминание об условии трех выстрелов?)

Стреляющий первым Лермонтов не может, учитывая ничтожность размолвки и тяжесть грозящих ему последствий, целиться в Мартынова. Это было бы, по сути, обыкновенное убийство, на которое он, конечно, не пошел бы ни при каких условиях. Но и выстрелить мимо Лермонтов не мог, ибо дистанция столь ничтожна, что трудно выполнить безукоризненно эту процедуру.

Для Мартынова же дуэль на указанных условиях превращается попросту в фарс.

Что и говорить, ситуация сложилась весьма напоминающая поединок Печорина с Грушницким, с тем лишь отличием, что тут условия диктует Мартынов — Грушницкий. Вообще, возможность данной параллели мы вряд ли вправе игнорировать, ибо слишком много совпадений.

Незадолго до дуэли, как известно, Лермонтов был настроен весьма оптимистично, делился замыслами новых произведений, шутил с Катенькой Быховец и положил, между прочим, в карман ее золотое бандо.

На месте дуэли настроение поэта резко меняется. Он, похоже, растерян, отсюда — раздражение и желчность.

Лермонтов ищет выход из сложившегося положения и не находит его. Душевные колебания поэта хорошо отражены в записях Дикова: «Лермонтов хотел казаться спокойным, но на его лице выражалось болезненное состояние. Он поднял пистолет и опустил его тотчас же:

— Господа! Я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю хорошо, такое ничтожное расстояние не позволит мне дать промах: убить его — то же, что раздавить муху».

Исследователи до сих пор спорят о том, как выстрелил Лермонтов и стрелял ли вообще. Общепринята версия, что он демонстративно выстрелил в сторону в воздух, как бы давая Мартынову понять свои дружеские намерения. Надо ли повторять, что подобное поведение было просто невозможно. Лермонтов делает единственный выбор: стреляет над самой головой Мартынова, соблюдая тем самым этикет.

Кстати, в дуэльных правилах на этот счет четко оговорено: «Стрелять в воздух имеет право только противник, стреляющий вторым. Противник, выстреливший первым в воздух, если его противник не ответил на выстрел или также выстрелил в воздух, считается уклонившимся от дуэли». А.Я. Булгаков в этой связи совершенно справедливо оценивает подобную ситуацию: «Он (Мартынов. — С.Б.)

поступил противу всех правил чести, благородства и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить».

Но Лермонтов выстрелил, соблюдая форму и тем самым открыв Мартынову возможность ответного выстрела. В «Дневнике» Дикова читаем: «Лермонтов, злобно улыбнувшись, взглянул на него, поднял пистолет и выстрелил вверх над его головой». Здесь уместно вспомнить и дуэль Ставрогина с Гагановым в «Бесах».

Мартынов действительно имел право выстрелить в воздух и таким образом разрешить конфликт. Но он не сделал этого.

Почему? Жаждал крови? Отмщения?

Вряд ли.

Просто он должен был довести до конца спектакль, задуманный накануне.

Мартынов выстрелил в ногу противника.

(Вспомним попутно, что Грушницкий был ранен именно в ногу).

Вряд ли в планы тройки входило убийство Лермонтова. Скорее всего, дело обстояло гораздо прозаичнее: они хотели пустить ему кровь, проучить «выскочку».

Потому и врача не взяли, что надеялись на легкую рану.

Так бы оно и было.

Если бы в кармане мундира Лермонтова не лежало золотое бандо кузины.

Произошел рикошет.

Естественно, участники дуэли, не предвидевшие подобного исхода, были шокированы. Они приписали смерть Лермонтова неудачному выстрелу Мартынова. Отсюда и слова «приписываем этот выстрел несчастному случаю». Откуда им было знать, что Мартынов попал именно туда, куда целил.

Окровавленное бандо было обнаружено в кармане мундира. По свидетельству Н. П. Раевского, «в день похорон m-ле Бытховец как сумасшедшая прибежала, так ее эта новость поразила, и взяла фероньерку как она была, даже вымыть, не то что почистить не позволила». По другим сведениям, Дмитриевский, взявшийся передать бандо Быховец, потерял его. Во всяком случае, следы бандо—фероньерки потеряны, а жаль, ведь эта золотая вещица могла много прояснить в истории гибели поэта.

Хлынул проливной дождь, смешивая кровь с пылью. Затухающее сознание Лермонтова еще фиксировало холодящие струйки воды и ватные громовые раскаты. Какие-то бесплотные, но земные тени мелькали перед взором.

Исполнилось, подумал он.

*В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладящей струей.*

Участников поединка арестовали. Впрочем, Мартынов вскоре понял, что ему ничего серьезного не грозит, и быстро оправился от потрясения.

Царь благосклонно отнесся к убийце и секундантам. Наказания они получили минимальные, если не символические. От публичной эпитимии синод освободил Мартынова уже 25 ноября 1846 года — всего через пять лет после смерти Лермонтова вместо 15, назначенных Киевской духовной консисторией.

Рассказывают, правда, что по старости лет Николай Соломонович стал чрезвычайно набожным и завел обычай 15 июля ежегодно ездить в один из окрестных монастырей, чтобы отслужить там панихиду по убиенному поэту.

Возможно, он все-таки осознал, что в истории Отечества ему так и суждено остаться убийцей Лермонтова.

Погибшего на дуэли, как и самоубийцу, запрещалось хоронить по церковным обрядам.

«Принесли и гроб, — вспоминал Н. П. Раевский, — и хорошо так его белым глаzetом обили. Мы уже собрались тело в него класть, когда кто-то из публики сказал, что так нельзя, что надо сперва гроб освятить. А где нам святой воды достать! Посоветовали нам на слободку послать, потому что там у всякой казачки есть святая



Опекушин А. М.
(1838–1923).
Памятник
М. Ю. Лермонтову
в Пятигорске. 1889.
Бронза, гранит
(первый памятник
поэту в России).

вода в пузырьке за образом, да у кого-то из прислуги нашлось. Мы хотя, в гроб тело положивши, и пропели все хором «Святы́й Боже, святы́й крепкий...» и покрестились, даром что не христиане были, но полагали, что этого недостаточно, и очень беспокоились об отсутствии священника. Тут же из публики и подушку в гроб сшили, и цветов принесли, и нам всем креп на рукава навязали. Нам бы самим не догадаться.

На другой день опять мы со Столыпиным пошли к священнику. Матушка-то его предупредила, но он все же не сразу согласился, и пришлось Столыпину ему вместо пятидесяти двести рублей пообещать. Решили мы с ним, что коли своих

денег не хватит, у Верзилиных занять, а уж никак не скупиться. Однако батюшка все настаивал на том, что по какой-то-де главе Стоглава дуэлисты причтены к самоубийцам, потому Михаилу Юрьевичу никакой заупокойной службы не полагается и хоронить его следует вне кладбища. Боялся он очень от архиерея за это выговор получить. Мы стали было уверять его, что архиерей не узнает, а он тут и говорит:

— Вот если бы комендант дал мне записочку, что в своем доносе он обо мне не упомянет, я был бы спокоен.

Мы попробовали у Ильяшенко эту записочку для священника выпросить, но он сказал, что хуже будет, когда узнают, что такого человека дали без заупокойных служений похоронить. Сказали мы это батюшке, а он опять заартачился...».

В общем, очень русская история с похоронами получилась. Батюшке для верности пришлось икону Михаила Юрьевича посулить — в серебряной ризе и камнями драгоценными. Но он все-таки чуть не подвел. Опоздал. Литию и панихиду вызвался отслужить случившийся на похоронах католический ксендз. Лютеранский священник гроб благословил. Только тут наш батюшка объявился. И сразу кинулся музыкантов прогонять...

И все же похороны вышли торжественные.

С могилы брали землю, камешки на память.

Только недолго лежал Михаил Юрьевич в пятигорской могиле.

Через полгода добилась-таки Елизавета Алексеевна Арсеньева у царя разрешения перевезти тело внука в Тарханы.

Во второй раз Лермонтова похоронили в семейном склепе 23 апреля 1842 года.

Тут можно было бы поставить точку, однако не могу не привести один маленький штришок в заключение повествования. В архивах Кавказской духовной консистории хранилось пространное кляузное дело по поводу тех самых злосчастных 200 рублей, взятых батюшкой за погребение Лермонтова. Священник Пятигорской Скорбященской церкви Василий Эрастов фискалил на сей счет архиепископу Новочеркасскому Афанасию: «Усматривая, что протоиерей Александровский, погребши в июле месяце сего года тело наповал пулею убитого на дуэли г. поручика Лермонтова, в статью метрических за сей год книг об умерших означенного Лермонтова не вписал доселе и данные, как слышно и как видно из прилагаемого при сем от чиновника мне уведомления, двести рублей ассигнациями в доходную кружку при чта не внес».

В затянувшейся на 13 лет бюрократической переписке по духовной линии бросается — не может не броситься в глаза — одна деталь: нигде даже мельком не упоминается о том, что похоронили великого русского ПОЭТА.

А Лермонтов глядел со своих горных высот на всю эту земную подлость и суету, любовался величественными вершинами Кавказа, слушал шепот звезд.

Кончилась его брэнная жизнь, пришло его бессмертие.

Сергей РЫБАЛКО

СУД НАД СЕКУНДАНТАМИ

*Эта дуэль никогда бы состояться не могла,
если б секунданты действительно сделали
всё возможное для её предотвращения.*

Лев Пушкин

А где вы были, господа,
Вы, заряжая пистолеты,
В неотвратимый миг, когда
Ещё спасти могли поэта?

Столыпин, Глебов, Трубецкой,
Как вы такое допустили,
Что в час дуэли роковой
Вы друга сердцем не закрыли?

Чего вы ждали, господа,
Шаги отмерив без зазрения?..
Нет, не ценили никогда
Вы в нём могучий русский гений.

И разве было вам к лицу,
Свои пятная эполеты,
Дать право трижды подлецу
С восьми шагов стрелять в поэта?

Друзья.. Какие вы друзья?!
Вы просто жалкие педанты.
К поэту зависть затая,
Вы подвизались в секунданты.

Вы, понадеясь на «авось»,
Вложив в стволы спокойно пули,
Врага невольно вызвав злость,
Поэта к гибели толкнули.

Не ты ль, Столыпин, в стороне
Убийце крикнул, не подумав,
Как будто в жутком, страшном сне:
«Стреляйте или разведа вас!»

Не вы ль, храня мундира честь,
Вы, офицеры с колыбели,
Уж доказали, кто вы есть,
Поэта бросив на дуэли?

Мартынову прощенья нет!
Но нет прощенья равнодушью
Тех, кто подвёл под пистолет
Поэта, чести долг нарушив!

* * *

Пройдут, как сонм, столетья и века,
Но, лермонтовской музою согретый,
Мир будет у подножья Машука
Склоняться перед памятью Поэта.

НОЧЬ ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

**(отрывок из драматической поэмы
«Гроза над Машуком»)**

Что наши страсти и страданья
Пред неизбежностью конца?
Всё прах... Лишь в вечном мирозданье
Бессмертна мысль и дух творца.
Когда пробьёт мой час последний
И я уйду во цвете лет,
Я знаю: зависть, ложь и сплетни,
Как змеи, выползут на свет.
И на безвременной могиле
Они гнездо себе совьют.
Но чувства те, что в сердце жили,
Со мной бесследно не умрут.
В них дух мятежный и свободный
Навек останется витать
В сердцах и душах благородных
И к воле, к разуму звать.
С тяжёлой думой, как на тризне,
Познав всю боль душевных ран,
Я с отвращеньем в книге жизни
Читаю подлость и обман.
В любви и дружбе лицемерье,
Притворство, маски без лица...

Слепую зависть, недоверье
 И лесть в улыбке подлца.
 Но я рождён для битв, для славы,
 Душой мятежной наделён.
 Зачем ко мне, о Боже правый,
 Несправедлив судьбы закон?
 Как лист, оторванный от ветки,
 Так я судьбой своей гоним.
 Живу, как птица в тесной клетке,
 И воли жду, тоской томим.
 Душа свободы жаждет, света,
 Без пут увидеть этот мир...
 Как тяжелы мне эполеты,
 Как душен царский мне мундир!
 Эх, унести бы в край далёкий
 Под сени липовых аллей,
 Чтоб вновь увидеть тёмный локон
 И звёздный блеск родных очей!
 Чтоб, заглушив тоску и муку,
 Отраду в сердце обрести
 И перед вечною разлукой
 Сказать последнее «прости».



**Портрет М. Ю. Лермонтова.
 Гравюра на стали Ф. А. Брокгауза.
 Лейпциг, 1891 г.
 С акварельного
 автопортрета М. Ю. Лермонтова.
 1837–1838.**

Ужель я так и не увижу
 Черты любимые, глаза?
 О, Варя, Варя...*
 Гром всё ближе...
 Ужель сгущается гроза?..

* Варя — Варвара Лопухина, юношеская любовь поэта

часть III.

«Как сладкую песню Отчизны моей,
люблю я Кавказ»



**«Венец певца,
венец терновый!»**

Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ

КАВКАЗ: ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ЦИТАТЫ НАД ПРОПАСТЬЮ

По горной дороге, возможно, ведущей к утриюмому грозному Богу,
Я шёл осторожно — кочевник, безбожник... А пропасть, которая справа,
До боли сжимала уставшее грешное сердце, которое слева...

«Кавказ подо мною...» Поэт, доверяя высокому лёгкому слогу,
Однажды попробуй пройти по дороге, которой родная держава
Себя привязала и к белому снегу, и к Чёрному морю — задолго до ЛЕФа.

Задолго до левых тропинка, возможно, ведущая к сытому пьяному Чёрту,
Струилась, троилась, дробилась — задолго до правых — в оскалах кинжала.
И только любовь к небесам выручала на грани скандальных истерик...

«Как сладкую песню отчизны моей...» — ясновидцы, ищите мальчонку,
Способного строчку продлить из ущелий Дарьяла к отрогам Урала,
Готового честную песню сложить о кровавых ручьях, переполнивших Терек!

Казбек и Эльбрус хороводы водили, меняясь местами лукаво,
Поскольку дорога-тропинка кружила гигантской безумной юлою,
А Скифское-Русское-Чёрное море мерцало в пещерах понтийских секретов.

Кавказ, что мне делать с чужими стихами, орлами парящими справа,
И славой чужой, и печалью чужой — над закатом, зарёю, золою,
Над безднами помня ушедших, грядущих и вечно живущих поэтов?

«Я СЧАСТЛИВ БЫЛ С ВАМИ, УЩЕЛИЯ ГОР...»

(Кавказ в судьбе и творчестве М. Ю. Лермонтова)

Лермонтов был связан с Кавказом всю свою недолгую жизнь и посвятил ему свои лучшие творения, созданные в стихах и прозе. Все примечательные места, которые посещал поэт, странствуя по кавказским дорогам, запечатлены на его живописных полотнах и многочисленных рисунках. Здесь, на Кавказе, поэт провел свои последние дни, здесь была пролита его кровь, здесь он окончил свой земной путь, полный мучительных раздумий и неразделенной любви. За строками таких непревзойденных лермонтовских шедевров, как «Завещание», «Валерик» и «Сон», стоит его драматическая боевая судьба.

**Николай
МАРКЕЛОВ**

**«ИМ БОГ СВОБОДА, ИХ ЗАКОН —
ВОЙНА»**

На Кавказе Лермонтов побывал еще в детские годы. Сюда, к целебным кавказским ключам, его привозила бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. В Пятигорске, у самого подножия Горячей горы, вблизи источников, располагалась усадьба ее родной сестры Екатерины, по мужу Хастатовой. Побывали бабушка с внуком и в имении Хастатовых — Шелкозаводском, на левом берегу Терека. На правом же — находились еще не замиренные чеченские аулы. Здесь юный Мишель узнал много интересного: о казаках, горцах, ночных набегах и отчаянных схватках, услышал имя грозного «проконсула Кавказа» — генерала Ермолова. Все это давало пищу фантазии. Младший товарищ поэта по Юнкерской школе князь Николай Манвелов запомнил «по содержанию многие рисунки Лермонтова, отличавшие собственно интимное настроение его: его личные планы и надежды в будущем, или мечты его художественного воображения. К этой категории рисунков относятся многочисленные сцены из военного быта и преимущественно на Кавказе с его живописною природою, с его типическим населением, с боевой жизнью в том крае...»

Кавказу посвящены многие из первых поэм Лермонтова, в том числе и поэма «Измаил-Бей». Эта «восточная повесть», как определил ее жанр сам автор, — самое крупное его стихотворное произведение. Поэма Лермонтова, разумеется, не хроника исторических событий и его Измаил не во всём похож на своего прототипа. Но выбор поэта здесь не случаен: романтические мотивы его ранних произведений требовали ярких образов и необычных обстоятельств. Незаурядная личность и причудливая судьба реального Измаила, стоявшего в центре многих важных событий на Пятигорье и в Кабарде, как нельзя лучше подходили для этой цели.

Князь Измаил Атажуков (иногда встречается написание Атажукин, в кабардинском звучании — пши Исмель Хатакшоко) происходит из знатного кабардинского рода. Год рождения Измаила неизвестен, предположения же биографов весьма расходятся в определении этой даты: называют и 1750, и 1771 год. В юности он был послан отцом в Россию, хотя последний никакими симпатиями к северным соседям никогда не отличался. Измаил, как полагают, был просто выдан русским в качестве аманата (то есть заложника), что являлось обычной практикой тех лет. Такими же аманатами были, например, и двоюродные братья Измаила — Темирбулат и Рослаббек Мисостовы. В России Измаил получил светское и военное образование, служил в Бугском казачьем полку и за отличия при штурме Очакова удостоился чина подполковника. В качестве одного из «депутатов и посланников народов кавказских» состоял в свите Г. А. Потёмкина. За храбрость, проявленную при взятии Измаила, князь по представлению А. В. Суворова был награжден орденом святого Георгия 4-й степени, и его имя впоследствии было вырезано на одной из мраморных досок в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Когда в 1794 году Атажуков вернулся в Кабарду, там сложилась напряжённая обстановка: притеснения со стороны русских военных властей вызывали протесты кабардинского населения. Управляющий Кавказской областью И. В. Гудович счёл за лучшее выслать отсюда в Екатеринославскую губернию Измаила и ещё двух офицеров-кабардинцев, в том числе и его родного брата майора Адильгирея Атажукова. Адильгирей бежал из ссылки в Крым и, вернувшись оттуда в Кабарду, возглавил борьбу против русских. Измаил же предпочёл обратиться с прошением к Павлу I, ответный рескрипт которого ничего в судьбе князя не изменил. И только с воцарением Александра I с Атажукова сняли опалу: он был произведен в полковники и получил разрешение вернуться на родину.

Вернувшись осенью 1804 года в Кабарду, Измаил оказался здесь в сложной ситуации, еще более драматичной, чем герой лермонтовской поэмы. Покинув родину почти двадцать лет назад, теперь он был не только чужой среди своих, но и среди чужих тоже не свой. Он чувствовал опасность со стороны враждебно настроенных к России кабардинских князей, в том числе — своего двоюродного брата Рослаббека Мисостова. В то же время и местные военные власти не доверяли ему до конца, хотя Атажуков официально был направлен сюда для службы на Кавказской линии. Он был даже подвергнут аресту, а его кош в Пятигорье уничтожен. Один из кавказских генералов, пристав при кабардинском народе И. П. Дельпоццо характеризует его в осуждающем смысле: «Владелец полковник Измаил Атажуков служил в армии и был послан вместе с тем в Екатеринослав; после того долго жил в Петербурге; пожалован кавалером ордена святого великомученика Георгия 4-го класса и брильянтовой медалью; говорит и пишет по-русски и по-французски и имеет жалованья 3000

рублей. Получивши столь много милостей, как бы надлежало мыслить о нем? Правда, что он живет в Георгиевске, но в прочем всё напротив: он жену свою держит в Кабарде, сына родного, который имеет 10 лет от роду, отдал на воспитание одному своему узденю, молодому и весьма глупому человеку. Когда едет в Кабарду, снимает с себя крест, медаль и темляк: положит в карман».

Черный шелковый темляк с серебряными каймой и кистью был в то время обязательной принадлежностью офицерского холодного оружия. Тем более понятно и нежелание Атажукова, находясь среди соплеменников-мусульман, носить на груди знак отличия в виде креста. Вспомним, что и лермонтовский Измаил прятал свою награду под одеждой. «Белый крест на ленте полосатой», то есть эмалевый орден на чёрно-оранжевой георгиевской ленте, который черкесы ошибочно принимают за символ принадлежности христианству, на самом деле есть давняя боевая награда Измаила, орден святого Георгия 4-й степени.

В отличие от героя лермонтовской поэмы, Измаил Атажуков никогда не переходил в стан противников России. Напротив, он не оставлял усилий, чтобы убедить своих соотечественников в необходимости прочного союза с северным соседом, исходя при этом вовсе не из абстрактных соображений «дружбы народов» и не из слепой преданности российскому престолу. Атажуков проявил себя как трезвый прагматик, дальновидно оценивая сложившуюся в регионе геополитическую реальность. В речи, произнесенной на народном собрании кабардинцев в мае 1805 года, он призывал их оставить междоусобные распри и «замешательства противу России»:

«Богатство, силы и могущество российского государства невероятны, оно имеет тридцать шесть миллионов жителей и, если государь захочет, почти третья часть оно могут быть воинами. Положение нашего края подле сильного государства должно обратить всё наше внимание, дабы сохранить себя и пользоваться нашим имуществом в спокойствии. Поверьте мне, любезные соотечественники, что нам, не потеряв разума, нельзя и думать раздражать сих сильных соседей... Я видел готовые громы упасть на главы наши. Остановитесь, несчастные народы...»

Дальнейший ход истории подтвердил правоту Измаила, Россия установила своё безраздельное владычество на Кавказе. Иное дело, что имперские амбиции военных властей, требовавших от кабардинцев безусловного послушания и подкреплявших эти требования потоками пролитой крови, а с другой стороны и «воинственный разбой», который исповедовала значительная часть горской феодальной знати, вели к тому, что грозное зарево Кавказской войны полыхало ещё несколько десятилетий, и в ее бесконечных битвах в чередочке прочих русских писателей принимал участие и сам автор «Измаил-Бей».

Двоюродный брат Измаила — князь Рослаббек Мисостов также некоторое время жил в России. Подобно Измаилу, Рослаббек состоял и среди горских «депутатов» при светлейшем князе Г. А. Потёмкине-Таврическом и дослужился до чина полковника. Однако дальнейшие его действия показали, что он вполне оправдывает эпитеты, которые сопровождают имя Рослаббека в лермонтовской поэме: лукавый, злобный, жестокий, вероломный. Несколько страниц измене Рослаббека посвятил в первом томе «Кавказской войны» В. А. Потто, где речь идёт о весенней экспедиции 1804 года генерала Г. И. Глазенапа: «С самого начала похода в русском отряде был виден кабардинский князь Рослаббек Мисостов, считавшийся полковником в лейб-гвардии казачьем полку и принадлежавший к одной из лучших кабар-

динских фамилий. Вдруг, к общему изумлению, он скрылся из лагеря. Оказалось, что Рослаббек бежал за Кубань вместе с подвластными ему аулами и что мотивом к тому послужила канла — кровомщение за смерть родного племянника, убитого в одном из кабардинских набегов на Линию». За Рослаббеком отрядили в погоню егерский полк. У Каменного моста в верховьях Кубани произошло кровопролитное сражение. Егеря вынуждены были отступить и на переправе потеряли в реке артиллерийское орудие. Рослаббек неожиданно вступил в переговоры, изъявляя желание примириться и вновь служить русскому царю. Он обещал даже поднять из воды затонувшее орудие. На деле же все обернулось новой изменой и нападением из засады с большими потерями для русских. «Рослаббек, — заканчивает Потто, — остался в горах и с тех пор сделался одним из самых отчаянных и бешеных абреков».

Но опасная острота отношений Измаила и Рослаббека определялась не только их различным расположением к России. Давняя распря двух ветвей одного рода завершилась, в конце концов, кровавой развязкой. Лермонтовская версия (Рослаббек — убийца Измаила) долгое время сомнений не вызывала. Так, известный советский лермонтовед С. А. Андреев-Кривич, не имея никаких документальных её подтверждений, высказал тем не менее осторожное предположение о том, что «Лермонтов был окружен людьми, которые могли настолько хорошо знать обстоятельства жизни и деятельности Измаил-Бея, что они, эти люди, могли сообщить такие факты, которые не получили широкой огласки».

Лермонтов, разумеется, знал о своем герое несколько больше того, что мог рассказать ему безвестный «старик-чеченец». Со временем обнаружили и факты, не получившие «широкой огласки», но совершенно противоположные догадкам Андреева-Кривича. Сегодня, основываясь на документальных данных, можно судить уже о том, насколько далеко от реальности увела поэта его фантазия: в январе 1812 года Рослаббек был убит по приказу и в присутствии Измаила. Как видим, Лермонтов довольно свободно обращался с «историческим материалом», имея в виду особые художественные цели. Избрав Измаила своим главным героем, он до последних строк поэмы сохранял логику созданного образа: защитником отечества от сильного и опасного врага поэт хотел видеть отважную и гордую натуру, не запятанную себя низким предательством и коварством.

Следовал ли неотступно Лермонтов тем сведениям, которые у него имелись, или смело вносил изменения в реальную судьбу Измаила — в любом случае он смог добиться в своём творении высокого художественного эффекта. Вспомним запись Льва Толстого в дневнике, сделанную под впечатлением лермонтовской поэмы: «Я нашел начало Измаил-Бея весьма хорошим. Может быть, это показалось более потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно хорош этот край дикой, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода». И хотя Лермонтов не предназначал поэму для печати, многие её строфы поражают выразительностью и силой:

И дики тех ущелий племена,
 Им бог свобода, их закон — война,
 Они растут среди разбоев тайных,
 Жестоких дел и дел необычайных;

...
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

«ПОКА РУССКИЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ РУССКИМ ЯЗЫКОМ...»

Сезон 1837 года на Кавказских водах выдался на редкость удачным, а в литературном смысле даже перспективным: молодой Белинский познакомился в Пятигорске с Лермонтовым и впоследствии мог по личным наблюдениям судить о реалистических достоинствах «Княжны Мери». Кстати, те же минеральные ванны принимал здесь тогда и штаб-ротмистр Отдельного Кавказского корпуса Лев Пушкин. «Здесь в Пятигорске служит брат Пушкина, Лев Сергеевич; — отозвался о нем Белинский в пятигорском письме, — должен быть, пустейший человек».

Трудно понять, по какой причине, но кавказские офицеры ему вообще не понравились: «Что за лица, что за рожи съехались в Пятигорск...— восклицал он. — А господа офицеры! Боже мой, я теперь начинаю ценить их настоящим образом». Возможно, тут виною и сам Лермонтов, затеявший с критиком притворно-серьезный диспут по поводу французской философии. Вот как этот эпизод передает в своих мемуарах их общий знакомый Н. М. Сатин:

«Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать... В одно из таких посещений он встретился с Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках; они даже открыли, что оба — уроженцы города Чембара (Пензенской губ.).

Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистав, он с увлечением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками.

— Да я вот что скажу вам об вашем Вольтере, — сказал он в заключение, — если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры.

Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты.

Лермонтов разразился хохотом... Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга».

Тем летом на Кавказе Лермонтов задумал цикл повестей, связанных между собой общим героем...

19 февраля 1840 года чиновник Петербургского цензурного комитета Петр Корсаков закончил чтение рукописи, представленной молодым гвардейским офицером. Вещица эта с несколько претенциозным названием была Петру Александровичу знакома и раньше: именно он цензуровал столичный журнал «Отечествен-

ные записки», где роман печатался по частям. Речь там шла о любовных похождениях одного кавказского офицера, не более того, и с политической стороны все обстояло вполне благонадежно. Вымарав проформы ради несколько строчек, где автор имел слишком смелое суждение о делах потусторонних, Корсаков сделал пометку: «Печатать позволяется» и отложил перо в сторону. Тревожно заняло, затрепетало чувствительное цензорское сердце. И — не обмануло: вскоре книга легла на стол высочайшего цензора всей России — государя императора Николая Павловича...

Сочинение, составленное из нескольких повестей, в типографии Ильи Глазунова отпечатали быстро: в середине апреля первая тысяча книг появилась на прилавках. Тут же откликнулись «Отечественные записки», поместив небольшую заметку без подписи. Это В. Г. Белинский первым приветствовал «сильный и самообытный» талант молодого писателя. Пути романа и его автора вскоре разошлись: опальный поручик отправился во вторую ссылку на Кавказ, а роман обрел свою необыкновенную судьбу. Книга вышла вторым изданием, потом третьим, и выходит так уже полтора столетия.

А из той, самой первой, тысячи книг, отпечатанной в марте-апреле 1840 года, сохранились считанные экземпляры. В пятигорском музее поэта их два...

Белинский, вспоминая пятигорское лето, в рецензии на роман заметил, что «бывшие там удивляются непостижимой верности, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности», и осторожно намекнул на военную ситуацию в регионе: «Тут не одни черкесы: тут и русские войска и посетители вод, без которых не полна физиономия Кавказа...» В оценке Лермонтова великий критик проделал довольно быструю эволюцию. В одном из его писем той поры звучат еще снисходительно-одобрительные нотки: «Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь...» В том же 1840 году в своей пространной, даже огромной, статье о «Герое», равной по объему «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисту» вместе взятым, Белинский хотя и нашел отдельные «недостатки художественности», но уже пересказал роман полностью и, что называется, близко к тексту, а многие страницы выписал целиком и, более того, высказал сожаление, что размеры статьи не позволяют ему выписать еще больше. Спустя три года, уже после смерти поэта, в рецензии на третье издание «Героя» Белинский писал об этой книге, что «никто и ничто не помешает ее ходу и расходу — пока не разойдется она до последнего экземпляра; тогда она выйдет четвертым изданием, и так будет продолжаться до тех пор, пока русские будут говорить русским языком...»

Император Николай усмотрел в романе только одно светлое пятно — характер Максима Мыксымыча. Вторую часть нашел «отвратительной, вполне достойной быть в моде». Сентенция, изложенная монархом в письме к императрице, прозвучала резко и раздраженно: «Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать эти наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора...»

Проницательнее же всех из критиков оказался Фаддей Булгарин, в «Северной пчеле» сразу назвавший «Героя» лучшим романом на русском языке.

«В ПОЛДНЕВНЫЙ ЖАР В ДОЛИНЕ ДАГЕСТАНА...»

Имени этого человека в хрониках Кавказской войны всегда сопутствует эпитет «храбрый». Ранений у него было больше, чем наград. При штурме Варшавы, ещё молодым офицером, он потерял глаз. На Кавказе получил пули в ногу, голову и в грудь навывлет. В Севастополе — две контузии и ещё одну рану. Его наградили золотым оружием с надписью «За храбрость». Но более памятной, чем все ордена и награды, была для него маленькая серебряная медаль за Ахульго. Звали этого человека Мориц Христианович Шульц.

Путешествуя по Кавказу, знаменитый писатель Александр Дюма не упускал случая порасспросить кого-нибудь из бывалых кавказцев — с тем чтобы заполучить ещё одну невероятную историю для своих путевых записок. В Хасав-Юрте судьба свела его с молодым офицером — сыном генерала П.Х. Граббе, командовавшего в 1839 году штурмом «орлиного гнезда» Шамиля — крепости Ахульго.

По рассказам ветеранов, дополненным молодым Граббе, Дюма составил картину небывалого сражения, разгоревшегося в день решительного приступа.

«Сей день, — пишет Дюма, — был днем кровавой сечи, какой ни орлы, ни коршуны, парившие над вершинами Кавказа, никогда не видывали. Противники буквально плавали в крови; лестницы, с помощью которых влезали на стены, были составлены из трупов. Не слышно было воинственной музыки для ободрения сражающихся, она умолкла. Хрипение умирающих заменяло ее».

Присутствие музыкантской команды в этой гигантской мясорубке, в которой обе стороны сражавшихся потеряли несколько тысяч человек, можно отнести к пылкой фантазии французского беллетриста, но в том, что при Ахульго состоялась одна из самых грандиозных битв Кавказской войны, сомневаться не приходится. В бою принимал участие и тридцатитрёхлетний штабс-капитан Генерального штаба Шульц. Имя этого храброго, толкового офицера, дослужившегося потом и до генеральских погон, могло бы, пожалуй, затеряться в кавказских хрониках, если бы не одно особое обстоятельство, отметина судьбы: Шульц стал прототипом или, в данном случае позволительно сказать, прототипом лермонтовского «Сна».

Прежде чем поведать читателю этот драматический эпизод из его боевой судьбы, попробуем восстановить картину отчаянного штурма высокогорной твердыни Шамиля, благо в нашем распоряжении имеется такой подробный и достоверный источник как «Описание военных действий 1839 года в северном Дагестане», составленное полковником Генерального штаба Д.А. Милютиным. (В скобках напомним, что Дмитрий Алексеевич Милютин — товарищ Лермонтова по Московскому университетскому пансиону, а в будущем — генерал-фельдмаршал и военный министр России).

Блокада и осада Ахульго продолжались 80 дней. Военные действия достигли на этот раз тех мест, замечает Милютин, «куда до этого времени еще никогда русское оружие не проникало; они сопряжены были с такими затруднениями естественными и с таким упорным сопротивлением со стороны неприятеля, какие прежде едва ли встречались...»

...Шамиль собрал в Ахульго около четырех тысяч своих приверженцев, из которых более тысячи имели прекрасное вооружение. Человек сто самых отчаянных мюридов заперлись в Сурхаевой башне.

Силы русских состояли из нескольких батальонов регулярных кавказских полков, усиленных казаками и конной милицией. По горным перевалам к стенам Ахульго были доставлены три десятка артиллерийских орудий. Общая численность войск превышала десять тысяч человек. Руководил осадой генерал Павел Христофорович Граббе (в прошлом адъютант Ермолова), поклявшийся своим именем («граб» по-немецки значит «могила»), что возьмет Шамиля живым или мертвым. За голову имама было обещано сто червонцев.

Кольцо глухой блокады сомкнулось вокруг Ахульго 12 июня. По ночам саперы вели осадные работы, артиллерия без устали беспокоила неприятеля, в передовых секретах были собраны лучшие стрелки.

Первые попытки штурма не увенчались успехом, а только принесли ощутимые потери. Вскоре Сурхаева башня была разрушена русскими ядрами. Атака, предпринятая 17 августа, заставила Шамиля выкинуть белый флаг, а потом и выдать аманатом (заложником) своего старшего сына Джемалэддина.

Переговоры, на которые ушло несколько дней, не дали результата, и Граббе отдал приказ к решительному штурму. Ахульго пал. Над вершинами скалистых утесов развивались русские знамена. Граббе доносил в рапорте: «28 августа был днем развязки экспедиции против Шамиля; я считаю дело конченным, хотя бы... возмутитель и успел спастись. Нет более ему веры в горах; нет более для него пристанища ни на утесах, ни в ущельях; нигде не может он найти место недоступнее бывшего гнезда его Ахульго и приверженцев храбрейших тех, которые жертвовали собою за него. Партия его истреблена вконец...»

Но цели своей русские всё же не добились: Шамилю с семьей и горсткой преданных мюридов удалось укрыться в пещере на берегу реки Койсу, а потом ночью совершить побег, пробившись с боем через русские посты. Он ушел, оставив в руках гяуров любимого сына и потеряв во время прорыва жену Джавгарат. Ушел, растаяв без следа, как пороховой дым среди скальных уступов.

Что касается Шульца, то под Ахульго он получил несколько пуль. В день последнего сражения, указывая путь штурмовой колонне, он был тяжело ранен в грудь навылет. В горячке боя о нём не сразу вспомнили, и он ещё долго лежал под палящими лучами среди павших. В минуты, когда сознание возвращалось к нему, он вспоминал о любимой девушке, оставшейся в России.

Граббе полагал наградить героя следующим чином. Но царь Николай I собственноручно начертал резолюцию о производстве Шульца в полковники. Его перевезли в госпиталь в Темир-Хан-Шуру, потом он лечился на водах в Пятигорске и за границей.

Вернувшись на Кавказ, Шулец встретил Лермонтова и рассказал ему свою историю. Это было в Ставрополе (или Пятигорске — здесь сведения расходятся) и, скорее всего, в 1840 году. Лермонтов, переведенный тогда из гвардии в Тенгинский пехотный полк, участвовал в экспедициях в Чечне и Дагестане под командой генералов Граббе и Галафеева, в памяти которых ещё отчётливы были апокалиптические картины разрушенного боем Ахульго. О Шульце заставляет вспомнить строка лермонтовского «Завещания» («Скажи им, что навылет в грудь я пулей ранен, был...»), написанного в это же время.

Свою историю Шулец рассказывал много раз, прибавляя уже и ту замечательную подробность, что Лермонтов использовал её как поэтический сюжет... Моло-

дым офицером наш герой сделал предложение родителям любимой девушки, но получил отказ. Его сочли не слишком выгодным женихом. Но она обещала ждать. Шульц отправился на Кавказ — заслужить чины и награды. За Ахульго он получил Георгиевский крест. Возвращаясь из-за границы, в Дрездене, возле Рафаэлевой Мадонны чудесным образом встретился со своей возлюбленной. Потом, на Кавказе, рассказал об этом Лермонтову. «Рассказал, — продолжает Шульц, — и Лермонтов спрашивает меня:

— Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитых и раненых?

— Что я чувствовал? Я чувствовал, конечно, беспомощность, жажду под палящими лучами солнца; но в полузабытьи мысли мои часто неслись далеко от поля сражения, к той, ради которой я очутился на Кавказе... Помнит ли она меня, чувствует ли, в каком жалком положении очутился ее жених.

Лермонтов промолчал, но через несколько дней встречает меня и говорит:

— Благодарю вас за сюжет. Хотите прочесть?

И он прочёл мне свое известное стихотворение:

«В полдневный жар в долине Дагестана...»

До 1855 года Шульц служил на Кавказе, в чине генерал-майора занимал пост коменданта Александропольской крепости. Это был, по словам современника, «весьма эксцентричный, но увлекательный и храбрый человек». Испросив отпуск якобы для лечения старых ран, он устремился в осажденный Севастополь, откуда привез новое ранение, две контузии и золотую саблю с бриллиантами и надписью «За храбрость». Потом был комендантом крепости Динамюнде, участвовал (в возрасте 70 лет!) в русско-турецкой войне и окончил службу в чине генерала от кавалерии.

Приведем ещё одно воспоминание о Шульце — генерала Девеля, встречавшегося с ним при штабе М.Т. Лорис-Меликова во время турецкой кампании:

«Как теперь его вижу, небольшого роста, тоненький, с седой бородою, в конно-артиллерийском сюртуке, с «Георгием» в петлице и «бриллиантовою» саблею сбоку, едущего в стороне от всех на небольшой светло-рыжей лошадке... Я подъехал к генералу Шульцу с целью обменяться событиями дня, и он вдруг меня спросил:

— Вы видели, как переносили раненного майора Гоппе?

На мой утвердительный ответ он возразил:

— Черт знает, как при переноске беспокоят раненого, и советую вам, если вас ранят, то лежите спокойно.

Я удивился и из уважения к старику-генералу не возражал.

— А на Ахульго, — продолжал он, — я был ранен в грудь навывлет и целую ночь пролежал среди убитых и этому только обязан, что остался жив, — кровь сама собой остановилась. В Пятигорске, где я лечился от ран, я рассказал Лермонтову про свою рану и посоветовал ему, так же как и вам, не позволять себя трогать, если он будет ранен в экспедиции против горцев. А через несколько дней он мне прочёл свое чудное стихотворение, написанное им по поводу моего рассказа...»

За Ахульго Шульц получил в награду Георгиевский крест. Была установлена и серебряная медаль на георгиевской ленте — единственная, насколько нам известно, за всю шестидесятилетнюю историю Кавказской войны медаль, посвященная отдельному сражению. На одной ее стороне значилось: «За взятие штурмом Ахульго 22 авг. 1839 г.» Другую украшал вензель Николая I. Не берусь судить, можно ли отнести

к боевым наградам Шульца стихотворение Лермонтова. Если да, то эта награда, как и все остальные, была оплачена кровью...

Храбрец Шулец передавал слова Лермонтова о том, что он сам хотел бы пройти через испытания, выпавшие на долю нашего героя: «Какая жалость, что я не попал под Ахульго, это, говорят, была удивительная экспедиция... Ах, я желал бы все испытать. Конечно, я пережил бы, так же, как и вы, тяжелые минуты, но все-таки желал бы их испытать...» Кто знает, какие бессмертные творенья мог оставить нам поэт, пройди он через адское пламя, польхавшее на вершинах Дагестана. Но Ахульго — не Бородино, и дальше зарево этой битвы теперь едва различимо в исторических потемках. Нерукотворным же памятником ее героям навсегда остался лермонтовский «Сон».

«СКАЖИ ИМ, ЧТО НАВЫЛЕТ В ГРУДЬ Я ПУЛЕЙ РАНЕН БЫЛ»

В повести «Княгиня Лиговская» Лермонтов дает характеристику своему главному герою, принимавшему участие в войне с поляками: «Печорин в продолжение кампании отличался, как отличался всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат...» Эти же слова в полной мере можно отнести и к самому Лермонтову, никогда не ронявшему чести русского офицера. Говорить о его возможной военной карьере трудно даже предположительно. Он собирался выйти в отставку, издавать свой журнал и писать большой роман из кавказской истории. Двое из его однокашников, А. И. Бярятинский и Д. А. Милютин, повоевав на Кавказе, закончили ратный путь в звании генерал-фельдмаршала, многие дослужились до генеральских погон. Лермонтов же так и остался в нашей памяти в скромном звании поручика Тенгинского пехотного полка.

Выйдя из Юнкерской школы корнетом, первого (и единственного) повышения в чине он дождался только через пять лет. «Ученье и маневры, — признавался поэт, — производят только усталость». Как-то раз наш корнет появился на разводе с короткой, чуть ли не игрушечной саблей. Шеф гвардейского корпуса великий князь Михаил велел сабелку снять и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, а Лермонтова отправил на 15 суток гауптвахты. В другой раз поэт поплатился арестом за неформенное шитье на мундире. Если не считать дисциплинарных взысканий в Школе, то за время службы Лермонтов был арестован не менее четырех раз и провел в заключении в общей сложности около трех месяцев. За дуэль с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом был предан военному суду. Дважды его могли разжаловать в рядовые. На постоянные переезды поэт потратил за свою короткую жизнь целый год. Болезни, отпуска, а потом и практически самовольная отлучка на воды в 1841 году — все это заставило Лермонтова провести вне строя еще несколько месяцев. Он успел послужить в четырех разных полках, а из своего родного, лейб-гвардии Гусарского, был исключен дважды и отправлен в армейские части «тем же чином», что на деле означало все-таки понижение, так как гвардейский офицер имел «старшинство» перед армейским того же звания.

«Вкус войны», о котором Лермонтов, явно бравируя, писал другу, оказался солноватым от крови и безмерно горьким. Она накладывает на душу свой мертвящий отпечаток, и герой «Валерика» наблюдает ее чудовищные сцены уже «без кроважного волнения», просто как «представленье» или «трагический балет» и с горечью замечает:

Меж тем товарищей, друзей
 Со вздохом возле называли;
 Но не нашел в душе моей
 Я сожаленья, ни печали...

Впоследствии, передавая в доверительной беседе события того давнего страшного дня, Лермонтов пережил состояние, близкое к нервному срыву. «Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой... — вспоминал Ю. Ф. Самарин. — Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь».

Земной путь поэта оказался коротким и трудным. Саднящее чувство внутренней боли сопровождало его до самой могилы. «Что же мне так больно и так трудно?» — спрашивал он себя накануне роковой дуэли. Герцен писал, что у Лермонтова «стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь».

В стихотворении «Завещание», написанном по боевым впечатлениям 1840 года, можно увидеть предсказание Лермонтовым своей собственной судьбы:

Наедине с тобою, брат,
 Хотел бы я побыть:
 На свете мало, говорят,
 Мне остается жить!..

А если спросит кто-нибудь...
 Ну, кто бы ни спросил,
 Скажи им, что навылет в грудь
 Я пулей ранен был!..

Пораженный Белинский пытался понять, в чем же заключается впечатляющая сила этих строк. В стихотворении, писал он, «голос не глухой и не громкий, а холодно спокойный; выражение не горит и не сверкает образами, но небрежно и прозаично...» Возможно, поэт уже томило предчувствие близкого конца, а может быть, и то, что самая горькая проза, облеченная в его стихи, сама по себе становилась пророчеством.

«Я МАЛО ЖИЛ И ЖИЛ В ПЛЕНУ...»

Не многие, думается, из современных русских читателей догадываются, что лермонтовский Мцыри, один из самых ярких и любимых персонажей отечественной классики, по национальности — чеченец! Написав когда-то в детстве, в подражание Пушкину, «Кавказского пленника», теперь Лермонтов ситуацию совершенно перевернул: пленником у него становится не русский, а горец. Мцыри, конечно, чеченец не этнический, а, можно сказать, литературный. Для Белинского он — «пленный мальчик черке» (черкесами тогда часто называли всех горцев), у Шевырева — «чеченец, запертый в келью монаха», а в советской критике появилась уже и совершенно отвлекенная формула — «юноша-горец». Сам Лермонтов нигде в тексте поэмы об

этом определенно не говорит, но по ряду деталей можно все-таки судить и о национальной принадлежности его героя. Вспомним сцену поединка с барсом и слова Мцъри: «Как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков...» Все это замечательно перекликается со строками «илли» — чеченской героической песни:

Мы родились той ночью,
Когда щенилась волчица,
А имя нам дали утром
Под барса рев заревой...

(Перевод Николая Тихонова).

По одной из версий, в поэме Лермонтова отразилась судьба известного художника Петра Захарова. По рождению Захаров чеченец, его родной аул Дады-Юрт в наказание за набеги и в назидание всей остальной незамирной Чечне в 1819 году был уничтожен русскими войсками. Упоминание об этой масштабной операции имеется в записках Ермолова. «В сем намерении, — откровенно повествует кавказский главком, — приказал я Войска Донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск, присоединив всех казаков, которых по скорости собрать было возможно, окружить селение Дадан-юрт, лежащее на Тереке, предложить жителям оставить оное, и буде станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами.

Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы столько значительной потери, ибо кроме офицеров простиралась оная убитыми и ранеными до двухсот человек. Со стороны неприятеля все, бывшие с оружием, истреблены, и число оных не менее могло быть четырехсот человек. Женщин и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования (но гораздо большее число вырезано было или в домах погибло от действия артиллерии и пожара). Солдатам досталась добыча довольно богатая, ибо жители селения были главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к линии, почти ни одно воровство и грабеж не происходили; большая же часть имущества погибла в пламени. Селение состояло из 200 домов; 14 сентября разорено до основания...»

Облитого кровью трехлетнего ребенка, взятого из рук умирающей матери, солдаты доставили Ермолову, который захватил мальчика с собой в штаб-квартиру корпуса. Об этом потом в поэме «Мцъри» и упомянул Лермонтов:

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести...

Первоначально автор избрал эпиграфом к поэме французское изречение: «On n`a qu`une seule patrie» (Родина бывает только одна), но впоследствии заменил его строкой из Библии.

Пленника Ермолов крестил и передал под присмотр казаку Захару Недоносову, откуда пошла и фамилия — Захаров. Когда ребенок подрос, его взял на воспитание двоюродный брат Ермолова — генерал П.Н. Ермолов, командир 21-й пехотной дивизии. Обнаружив незаурядные способности, Захаров учился в Петербургской академии художеств, завершив курс с серебряной медалью. Стал известным живописцем, за портрет Ермолова, выполненный в 1843 году, был удостоен звания академика. На портрете Ермолов изображен как человек своей эпохи, а вернее, как человек и эпоха, то есть личность столь же грандиозная, как Кавказские горы за его спиной, а эпоха — столь же грозная, как черное грозное небо над ними. На полотне художник сумел передать внушительный облик генерала, отразив в нем всю мощь его исполинской и властной натуры. Суровое, хмурое лицо повернуто к зрителю. Тяжелый, подавляющий взгляд; выдержать долго такой взгляд невозможно, и, может быть, поэтому он направлен не прямо на зрителя, а чуть в сторону. В выражении лица генерала читается оттенок недовольства, неудовлетворенности или даже горечи. В то время, когда создавался портрет, Ермолов давно находился не у дел и был лишен реальной власти. Но у Захарова он по-прежнему полон сил и нестигаемой воли, по-прежнему неуступчив и упрям.

Считают, что Петр Захаров был знаком и с Лермонтовым и даже написал его прекрасный портрет в мундире лейб-гвардии гусарского полка. Позднее по фотографии, сделанной с этого портрета, фирмой Брокгауза в Лейпциге и была выполнена гравюра, которая с первым отдельным изданием лермонтовской «Песни про купца Калашникова», вышедшем в 1865 году, распространилась по России и стала известна читающей публике. В особом же послесловии от издателя сообщалось следующее: «К настоящему изданию мы прилагаем новый портрет М. Ю. Лермонтова, отличающийся особенным сходством, как утверждают лица, близко знавшие покойного поэта». Оригинал портрета хранится ныне в Институте русской литературы в Петербурге, однако авторство его не считается бесспорным.

Перед схваткой с барсом Мцыри испытывает «жажду борьбы и крови», причем испытывает неожиданно для себя, ибо прежде, говорит он, «рука судьбы вела меня иным путем». Чеченец, ставший русским художником, — это судьба, и рукой судьбы тут послужил сам Ермолов; может быть — не слишком доброй рукой, так как аул Дады-Юрт был уничтожен именно по его приказу. Портрет генерала художник подписал так, как и обычно это делал: «П. Захаров, из чеченцев». С трех лет не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне русской культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне: чеченец. Родина бывает только одна.

В ходе военной операции в Дады-Юрте в русский плен попал еще один двухлетний малыш — Озебай Айбулат. Его взял на воспитание прапорщик Нижегородского драгунского полка барон Михаил Карлович Розен. После Кавказа он служил в Польше. В Варшаве мальчика крестили и нарекли по имени восприемника — великого князя Константина. Под этим именем Константин Михайлович Айбулат-Розен вошел в историю русской поэзии. Его романтической лирике были свойственны восточные мотивы, а стихотворение «Смерть» часто перепечатывалось и даже приписывалось Лермонтову.

«НА ЕГО ВЕРШИНЕ ЧЕРНЕЛСЯ КАМЕННЫЙ КРЕСТ...»

Осенью 1837 года Лермонтов возвращался домой «из теплых и чужих сторон», из первой кавказской ссылки. «Я ехал на перекладных из Тифлиса» — так незатейливо начнет он впоследствии свой знаменитый роман. Здесь, на Военно-Грузинской дороге, Кавказ открылся поэту во всем своем мрачном величии. Вид окрестных гор и ущелий с тех пор едва ли изменился. Пристальный взгляд поэта выделил на этом фоне и ряд кавказских древностей, некоторые сведения об исторической судьбе которых нам удалось разыскать.

Путевые впечатления поэта отразились не только на страницах «Героя нашего времени». «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, — пишет Лермонтов с дороги Святославу Раевскому, — и везу с собою порядочную коллекцию...»

В середине декабря во Владикавказе поэт видел его товарищ по юнкерской школе Василий Боборыкин: «М. Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая... я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в двадцати-сорока верстах, француз на ходу, вылезши из перекладной телеги, делал *grosius* (наброски. — Н. М.) окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделявали и даже, кажется, иллюминировали эти очертания».

Кавказскую коллекцию Лермонтов, добрая душа, раздарил родственникам и друзьям. Со временем почти все картины нашли пристанище в столичных музеях. Одна, написанная поэтом для бабушки, осталась в родных Тарханах. Другая — «Крестовая гора» — оказалась волею судеб в далеком и столь любимом Лермонтовым Пятигорске. «Крестовая гора» — одно из лучших его живописных творений. Слева и справа на полотне поднимаются крутые гранитные утесы, обрамляя заснеженный склон Крестовой, реющей на фоне голубого неба. Сразу вспоминаются строки из повести «Бэла»: тут и «груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье», и «глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням». У подножия горы — военный пост и чуть поодаль — одинокая повозка, поднимающаяся на перевал. Таковую обстановку осенью 1837 года здесь, видимо, и застал поэт, странствующий «с подорожной по казенной надобности». Подлинность картины не вызывает сомнений и удостоверена писателем В. Ф. Одоевским, сделавшим на ее оборотной стороне следующую надпись: «Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору — место его смерти. Кн. В. Одоевский».

Все так, кроме одной явной ошибки: Лермонтов погиб не у Крестовой в Грузии, а у подножия Машука в Пятигорске. Но сам Одоевский на Кавказе никогда не был и о месте гибели своего младшего друга имел весьма смутное представление. А вот в том, что на картине изображена именно гора Крестовая, сомнений нет: и на полотне, и в реальном ландшафте ее отличает высокий каменный крест, установленный на вершине.

О каменном кресте, поставленном здесь «по приказанию г. Ермолова», Лермонтов упоминает и в романе «Герой нашего времени», описывая переезд через Кавказские горы. Максим Максимыч указывает своему спутнику на «холм, покрытый

пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога...»

В упомянутом уже письме к Святославу Раевскому Лермонтов сообщил, что «лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; отсюда видна половина Грузии как на блюдечке...» Вот тогда, видимо, поэт и прочитал то, что «на кресте написано крупными буквами». Текст этой надписи сохранили для нас записки известного в прошлом на Кавказе журналиста Е. Вердеревского: «Во славу Бога, в управление Грузиею Генерала-от-Инфантерии Ермолова, управляющий горскими народами майор Давыд Кананов, 1824 г.»

Получилось так, что трое из великих русских поэтов — Грибоедов, Пушкин и Лермонтов — не только сами проделали путешествие по Военно-Грузинской дороге, но и провели этим путем своих героев: Чацкого, Онегина («Он видит: Терек своенравный крутые роет берега...») и Печорина.

Чтобы собрание русских поэтов, обративших внимание на перевальный крест, было полным, назовем еще одного из них, чья воинская слава вот уже более полутора столетий соперничает с литературной, — Дениса Давыдова. Его записки о персидском походе 1826 года дарят нам еще несколько замечаний об истории креста, тем более ценных, что они могли быть сделаны со слов Грибоедова или самого Ермолова:

«Крестовая гора, самая возвышенная точка высот, по коим едешь от Коби до Тифлиса, есть истинный пункт перевала через Кавказ. Вокруг нее находятся горы гораздо выше ее. Она получила сие название от креста, который был водружен на ней первыми русскими, перешедшими за Кавказ во время Екатерины, но так как крест деревянный сгнил, то Ермолов заменил его огромным крестом, высеченным из гранита с таким же подножием».

...Осененная крестом высшая перевальная точка Военно-Грузинской дороги надолго врезывалась в память каждому путнику. Причиной тому служило и важное ее местоположение — в самых недрах Кавказа, и впечатляющий горный ландшафт вокруг, и ореол таинственных легенд и преданий. Не случайно Лермонтов, прекрасно владевший жанром пейзажа и в живописи, и в литературе, навсегда запечатлел Крестовую гору на полотне и в романе «Герой нашего времени».

Фазу АЛИЕВА

МАШУК

О, Пятигорск! Пять прекрасных высот —
Рука твоя с пятью пальцами...
Пришла я отведать целебных вод.
Так что ж мне ночами плачется?
Ах, почему мне здесь нету сна,
Не нахожу покоя я?
Наверное, так плакала Мери, княжна,
Покинутая Печориным.
Почему, как Тамара, тяжело дышу,
Жду Демона в этом мире?
Почему меня манит к себе Машук,
Как свобода манила Мцъри?
О Машук, почему на груди твоей
Стряслась такая трагедия,
И сердце остыло, чья кровь горячей
Была, чем источники эти вот.
О Машук, на твоей груди
Находят выздоровление.
Как же ты не сумел спасти
Поручика в чине гения?
И я опоздала прийти сюда,
Меня ещё просто не было.
...Перед глазом, целящимся тогда,
Опустила бы чёрное небо я,
Перед поэтом встала бы я,
Стала б мишенью, панцирем,
Перехватила бы пулю я
Пятью горячими пальцами!
О Пятигорск! Пять прекрасных вершин...
Мцъри... Тамара... Мери...
Не излечить здесь своей души,
Не вернуть потери.

Перевод с аварского И. Лиснянской

О РАННЕМ РИСУНКЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

**Александра
КОВАЛЕНКО**

Среди творческого наследия М. Ю. Лермонтова его живописные произведения занимают важное место. На протяжении всей его жизни художник жил в нем рядом с поэтом. Многие современники отмечали способности Лермонтова-рисовальщика.

«Соображения Лермонтова сменялись с необычайной быстротою, — вспоминал Святослав Раевский, — и как бы ни была глубока, как ни долговременно таилась в душе его мысль, он обнаруживал ее кистью или пером изумительно легко». «Главная его прелесть, — отмечала Е. П. Ростопчина, — заключалась преимущественно в описании местностей; он, сам хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем». Его рисунки, его акварели, картины зачастую являются самостоятельными живописными произведениями. Они в достаточной мере реалистичны. При изучении некоторых из них невольно возникает мысль о том, что иногда вначале созданы были тот или иной рисунок, картина, а затем уж литературное произведение. Создается впечатление, что Лермонтов вел как бы живописные дневниковые записи, которые впоследствии помогали в творческом процессе. Вспомним письмо к Святославу Раевскому от 1838 года: «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию».

Уже после того, как в первой ссылке была создана эта коллекция, в творчестве Лермонтова появляются те стихи, та проза, которые ассоциируются со многими его рисунками и картинами. Картина «Вид Пятигорска» написана в 1837 году, а мы вспоминаем строки из «Княжны Мери», созданные гораздо позже: «Вид с трех сторон у меня чудесный. Внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шу-

мит разноязычная толпа, а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом». Или другая аналогия: картина «Военно-Грузинская дорога близ Мцхета» и начало поэмы «Мцыри».

Остается только сожалеть о том, что сохранилось так мало живописных произведений Лермонтова. Не все они изучены в достаточной мере. И если сейчас мы можем довольно точно сказать, какие конкретно места изображены на картинах «Вид Пятигорска», «Вид Тифлиса», на рисунках «Балтинское ущелье», «Бештау около Железноводска», то некоторые, особенно ранние, работы остаются загадочными.

Так, например, в Институте русской литературы РАН хранится детский рисунок М. Ю. Лермонтова, который условно называется «Отряд древних воинов». В альбоме «М. Ю. Лермонтов. Картины, акварели, рисунки» (М., 1979 г.), в комментарии к нему, обозначенному № 4, говорится, что здесь на фоне Кавказского пейзажа изображена русская мать. Но русские ли изображены здесь? А не горцы ли в военных доспехах, какими он мог видеть их здесь на Кавказе в детстве? Невольно напрашивается аналогия с более поздним рисунком 30-х годов — иллюстрацией к «Аммалат-Беку» А. А. Бестужева-Марлинского, где один из героев изображен в таком же одеянии. Можно допустить, что рисунок «Отряд древних воинов» создан к какому-то раннему кавказскому произведению, например, поэме «Черкесь», либо иллюстрирует рассказы о жизни горцев, услышанные в детстве и поразившие воображение мальчика. Во всяком случае, вопрос этот остается открытым и требует изучения.

Или же другая акварель, «Парус», которую обычно связывают с одноименным стихотворением Лермонтова. Исследователи, в частности и Н. Рыбкин, который впервые описал его в 1881 году, считают, что на рисунке изображен морской пейзаж, и относят его к 1832 году, ко времени переезда М. Ю. Лермонтова в Петербург. Ностораживает карандашная подпись, может быть, сделанная самим Н. Рыбкиным со слов родственника поэта Павла Петровича Шан-Гирея: «Его же Лермонтова, виды Кавказа». Вполне возможно, что этот рисунок создан не в 1832 году, а ранее, в 1825-м, когда Е. А. Арсеньева с внуком отправилась на Кавказские Минеральные Воды. Такие лодки с парусом они могли видеть на какой-то реке, может быть, на Дону.

Рисунки эти еще ждут своих исследователей.

Наше внимание привлёк рисунок, считающийся самым ранним из известных художественных произведений Лермонтова, подписанный по-французски «М. Л. 13 июня 1825 года на Теплых водах». Он находится в альбоме Марии Акимовны Шан-Гирей на листе № 65. Впервые рисунок был описан Николаем Рыбкиным в 1881 году в статье «Материалы о биографии Белинского и Лермонтова». Находясь по делам в Пензенской губернии в 60-е годы XIX века, Н. Рыбкин побывал в имении полковника П. П. Шан-Гирея, в то время уже престарелого и больного человека, который охотно говорил о своем племяннике. Передавая Рыбкину альбом, который он ошибочно относил к М. М. Лермонтовой, Павел Петрович сообщил: «Только одно достоверно, что Лермонтов, будучи ребенком и даже взрослым рисовал кое-что в этот альбом. На некоторых рисунках Лермонтов ставил в альбоме год и заглавные буквы своего имени и фамилии. Быв десяти лет, он, например, нарисовал здесь, разумеется, с дозволения бабушки, «Кавказские горы». Далее, описывая рисунки Лермонтова, находящиеся в этом альбоме, Рыбкин останавливается на 65-й странице, где 10-летний мальчик нарисовал одну из картин природы, виденных на Кавказе, и под этой

картиной подписался детской рукою: «М.Л. июня 13 дня, 1825 года, Теплые воды». «Нужно думать, пишет далее Рыбкин, — что рисунок поправлен более опытной кистью, потому что он очень хорош. Здесь изображено море, окруженное горами, и на этом море белеет вдали одинокий парус, невдалеке от берега небольшой зеленеющий островок. По берегу тянется почтовая дорога с верстовым столбом, проходит с палочкою женщина и опять чета белеющих берез». Почти все рисунки Лермонтова в альбоме имеют однотипную карандашную подпись: «Его же Лермонтова». И только под интересующим нас рисунком подпись более подробная: «Рисунок юного Лермонтова с натуры».

В 1938 году альбом поступил в Государственную Публичную библиотеку им. П. Е. Салтыкова-Щедрина от родственников Н. Рыбкина. О том, что это альбом матери поэта Марии Михайловны Лермонтовой, Рыбкину сообщил еще П. П. Шан-Гирей. Но в 1979 году В. Б. Сандомирская убедительно доказала, что альбом принадлежал тетке поэта — Марии Акимовне Шан-Гирей. Мария Акимовна, долгое время жившая на Кавказе, вместе со всем своим семейством в 1820-е годы поселилась в имении Апалиха, находившемся неподалеку от имения Тарханы. Она была очень близким для Лермонтова человеком, заменяла ему рано умершую мать. Лермонтов дарил ей свои рисунки, которые она любовно вклеивала в свой альбом. Первое воспроизведение рисунка было сделано в книге А. Н. Михайловской «Рукописи Лермонтова. Описание».

Более точное, чем у Рыбкина, описание рисунка сделано Н. П. Пахомовым в работе «Живописное наследство Лермонтова»: «Пейзаж изображает озеро с парусной лодкой; на переднем плане холм с пестрым верстовым столбом и дорога с идущей по ней женщиной, одетой в красную кофту, с корзиной на спине; направо мост, на мосту мужчина в красных штанах и синей куртке, слева деревья». «Неясно, — говорит далее Пахомов, — представляет ли собой лермонтовская акварель попытку десятилетнего мальчика сделать зарисовку с натуры или это обычный для детей отвлеченный вид с озером». Далее он утверждает, что акварель «является просто отвлеченным кавказским видом, подсказанным окрестностями Пятигорска, или Горячеводска, как тогда он назывался».

В комментарии к акварели в альбоме «Лермонтов. Картины и акварели. Рисунки» (М., 1980) Елена Александровна Ковалевская утверждает, что «именно Горячеводск, первое пристанище юного Лермонтова, изображен на самой ранней из дошедших до нас лермонтовских акварелей. Неумелый пейзаж с озером и горами — то ли попытка мальчика сделать зарисовку с натуры, то ли игра детского воображения».

В своем мнении, что на рисунке именно Горячеводск, Елена Александровна опирается на подпись Лермонтова под рисунком «М. Л. 13 июня 1825 года на Горячих Водах». Однако так ли уж правы исследователи, утверждая, что это плод детского воображения? Ведь десятилетние дети в своих, пусть неумелых, работах стремятся конкретно изобразить то, что они видят перед собой. Тем более талантливый ребенок, каким был Лермонтов, проявивший страсть к рисованию уже в раннем детстве.

Вспомним свидетельства друга детства, его троюродного брата А. П. Шан-Гирея: «Вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из окрашенного воску целые картины»⁶.

Сотрудники музея «Домик Лермонтова» не раз делали попытку найти то место, которое зарисовал М. Ю. Лермонтов в детстве. Для всех нас, живущих на Кав-

казских Минеральных Водах, ясно, что на рисунке изображен не Горячеводск, как утверждает Елена Александровна, кстати, вернее назвать, Горячие Воды, а какой-то район в окрестностях нынешнего Пятигорска.

Еще старший научный сотрудник музея С. И. Недумов высказывал предположение, что здесь изображена дорога, ведущая сейчас в город Нальчик мимо озера Тамбукан. Но с этим предположением нельзя согласиться. И не только потому, что со стороны Тамбуканского озера открывается совсем другой пейзаж, но еще и потому, что здесь почтовой дороги в те времена просто не существовало. К сожалению, Сергея Ивановича давно нет в живых, и мы, наверное, никогда не узнаем, чем он мотивировал свое предположение.

Очень интересную версию высказала в 1969 году старший научный сотрудник музея В. Я. Симанская в статье «Детский рисунок поэта», опубликованной в газете «Кавказская здравница» 30 сентября. Вера Яковлевна отвергала предположение, что рисунок изображает окрестности Тамбуканского озера, считала, что не могли быть здесь изображены так называемые Лысогорские соленые озера, и высказывала предположение, что на рисунке изображены окрестности коло-



М. Ю. Лермонтов. Сани, запряженные тройкой. 1830-е годы.
Бумага, карандаш. 21 × 26,5. (Лист из альбома Н. И. Поливанова — товарища М. Ю. Лермонтова по юнкерской школе).

нии Каррас, или Шотландки, находившейся неподалеку от Пятигорска. Здесь, в окрестностях, находились когда-то два озера. «Посещая с родными Шотландку, Лермонтов мог гулять по берегу Каррасского озера и зарисовать его и силуэты окрестных гор. По приезде домой мальчик мог вносить еще некоторые поправки, дополнить рисунок собственной фантазией, а потом перерисовать его в альбом матери», — утверждала Симанская.

Однако в окрестностях этих озер нет почтовой дороги, и гора Бештау с этой стороны имеет совсем другие очертания.

Занимаясь изучением истории Пятигорска лермонтовского времени, мы обратили внимание на целый ряд документов, описывающих дорогу, связывавшую город Георгиевск — до 1822 г. бывший административный центр Кавказской губернии, и Горячие Минеральные Воды. Пытаясь разыскать район, где она проходила, мы обратили внимание на то, как похож здесь окружающий пейзаж на лермонтовский рисунок. Дороги этой уже не существует. Сейчас здесь находятся виноградники совхоза «Машук». Если от станицы Лысогорской, огибая с севера эту гору-лакколлит, идти по полю в сторону горы Машук, то на горизонте выстроятся в ряд гора Бештау с остроконечной средней вершиной и двумя боковыми скалистыми. Далее следуют Железная, Развалка, Змейка. На определенном отрезке пути между Бештау и Железной будет видна еще одна вершина. Величественная панорама невольно вызывает в памяти строки Лермонтова из поэмы «Измаил-Бек»:

Кругом, налево и направо,
 Как бы остатки пирамид,
 Подъемлясь к небу величаво,
 Гора из-за горы глядит.
 И дале, царь их пятиглавый,
 Туманный, сизо-голубой
 Пугает чудной вышиной...

Здесь же находятся и лысогорские соленые озера, о которых упоминала В. Я. Симанская. Дорога, которая проходила здесь когда-то, являлась единственным относительно безопасным трактом, соединявшим административный центр Кавказской губернии с Константиногорской крепостью.

Первое описание этой местности и соленых озер было сделано в 1773 году И. А. Гильденштедтом: «Вокруг горы Бештау находится несколько горько-соленых озер. Сегодня я осмотрел одно из соленых озер, которое по-черкесски называется Шамгата, что в переводе означает «корова умерла». Это озеро лежит на высокой равнине, простирающейся от подножия горы Машук на северо-восток. Горько-соленое озеро Шамгата находится в трех верстах от подножия Машука, а от горы Шепсикой (Зменная), оно лежит на юго-восток больше 3-х верст. Соленое озеро имеет в глубину до полутора сажень, а в поперечнике около 300 шагов... К северу в нескольких стах шагах от этого озера лежит другое такое же озеро по размерам немного менее».

Сразу же после устройства Константиногорской крепости из Георгиевска была проложена дорога, которую охраняли казачьи пикеты. По ней в 1793 году и проезжал и путешественник П. С. Паллас, который писал: «Чтобы попасть из Георгиевска в Бештаугорский край, надо ехать на запад и на юго-запад»... Дорога все время идет по равнине, покрытой великолепной травой, а по мере приближения к Константиногорску эта равнина постепенно повышается... Миновав Лысую гору, или Барамлык, расположенную по ту сторону течения реки Подкумка, мы увидели казачий пикет... Отсюда мы стали подниматься по равнине, покрытой редким и часто прерывающимся лесом...»

В 10-е годы XIX века у подножия горы Машук стал стремительно расти поселок Горячие Воды, или Горячеводск, как его называет Ковалевская. Впоследствии он получил статус города и название Пятигорск. До 1825 года в него въезжали по

этой дороге, которая шла между Машуком и Бештау. Затем была сделана новая, которая облегчила и сократила путь. Она шла вдоль южного ската Горячей горы и непосредственно приводила в Пятигорск. Эту новую дорогу описал в 1831 году Ф. Конради: «Теперь, проехавши Лысую гору, вместо того чтобы поворотить влево между Машуком и Бештау, дорога идет несколько левее, около соленого озера, и потом проходит между левым берегом реки Подкумы и подошвой Машука»... Именно по этой дороге, миновав Лысогорский пост, мимо одного из соленых озер и ехала на Горячие Воды Е. А. Арсеньева с внуком, именно это место изобразил юный Лермонтов на своем рисунке.

Еще одна любопытная деталь на рисунке, на которую исследователи не обращали внимания. В правой части рисунка у подножия одной из гор видны красные крыши какого-то селения. Это не что иное, как один из ногайских аулов, с его саклями и мечетями, находившихся в этой местности, у подножья горы Змейка. Он обозначен на плане этой местности 1828 года. Вид необычного для русского глаза селения, очевидно, поразил мальчика. Он запомнил его и отметил на рисунке.

Итак, Лермонтов изобразил на своей ранней акварели конкретное место в окрестностях Горячих Вод. Тщательно прорисовал дорогу, по которой ехал, верстовой столб, встретившийся на пути, камыши у озера, тщательно зарисовал остроконечную и каменистую вершины Бештау, окружности соседних гор, крыши аула, дерево у дороги. И все же это рисунок десятилетнего, хотя и талантливого мальчика. Он не сумел справиться с перспективой. Поэтому горы на его рисунке оказались находящимися ближе друг к другу, чем в натуре, и озеро получилось необъятных размеров. Не случайно Рыбкин, очевидно, никогда не бывавший на Кавказе, принял его за море. Совершенно с детской непосредственностью на озере Лермонтов изобразил лодочку донских казаков «чайку», виденную им на Дону во время путешествия на Кавказ. Эту же лодочку, так поразившую его впечатление, мы видим и на рисунке «Парус» из этого же альбома М. А. Шан-Гирей. Не случайна и подпись Н. Рыбкина под рисунком. Он описывал рисунки Лермонтова со слов П. П. Шан-Гирея, который, несомненно, хорошо знал окрестности Горячеводска и мог указать на то, что этот рисунок сделан с натуры. Необходимо отметить, что П. П. Шан-Гирей в 1825 году был также на Горячих Водах, вместе с семьей: супругой Марией Акимовной и детьми и мог знать причину появления рисунка Лермонтова в альбоме «любимой тетиньки».

Татьяна
КОРНИЕНКО

ПОРУЧИКУ ЛЕРМОНТОВУ

1. К любым вольнодумцам блистательный свет
В своем осужденье всегда был неистов.
Одна только фраза «опальный поэт»
Из уст царедворцев звучала, как выстрел.

От скольких невежд доставалось ему!
Надежды на счастье разорваны в клочья.
Но тот, кто поставил на честь и судьбу
Высокую ставку, тот все не ропщет.

И вот он в кибитке летит средь степей
Избранником мести, изгнанником фальши.
И Ставрополь пыльный крестами церкви,
Встречает его, вопрошая: «Что дальше?»

А дальше невзгоды военной поры,
Да верных друзей предпочтённая горстка,
Да вид неприступный ближайшей горы,
Да небо свинцовое над Пятигорском.

Нет, он не боится почить на пиру,
Его не пугают с противником схватки.
Ему ли не помнить, что смерть на миру
Краснее, чем роза у девы на шляпке?!..

Но, слушая труб вдохновенный призыв,
Он с грустью заметит, как в воздухе раннем
Уже ощущается запах грозы,
И сердце замрёт, как в минуту прощанья.

2. Как беспечно мечты
Безрассудная молодость тратит,
Суетою сует наполняя летящие дни!
Сколько юных надежд
Разбивается жизнью нехвата!
И, чем дольше пути,
Тем бесценней для сердца они.

Эх, судьбы карусель!
Слишком быстро в боях мы умнеем.
Скоротечность во всём —
Как боимся мы жить не успеть!
А война — есть война,
Мы черствуем душой вместе с нею:
Обесценена жизнь,
Если рядом так буднична смерть.

Вас фортуна вела:
Не брала Вас ни сабля, ни пуля,
И в бою выручал
Неизменно калёный клинок.
Но на склоне горы
На часах грозового июля
Отсчитала судьба
Расставанья назначенный срок.

Для того, кто страдал,
Ни к чему в трудный час сожаленья,
Словно вестник беды,
Чёрный ворон над склоном кружит.
И спрессована жизнь,
Как пружина, до боли мгновенья,
И уже под откос
С высоты покаянья летит.

3. Что за выдумки: Слово и Честь?
У свинца не в почёте таланты.
Бой идёт не на жизнь, а на смерть —
Оттого ль так грустны дуэлянты?

Но, как прежде, гусар — на коне —
Перед роком удачей блефует!..
Кабы помнить, что здесь, на земле,
Всё решаемо на мировую!

Но оставлены «если б, кабы»,
И в холодном рассвете июля
Раскалённое жерло судьбы
Покидает голодная пуля.

4. Трагично — печальны истории
нашей изъяны.
Но сколько ты факты времен
и судеб не тасуй,
На смену тиранам приходят иные тираны,
Но незаменимы поэты,
что гибнут от пуль.

Опальным поэтам, увы, не дается иного.
Но дух воскресает, и вновь
осеняет зенит,
Проходят столетья, но каждое
вещее слово
В прозреньях пророков опять
колокольню звенит.

5. Среди этих просторов, от зноя немых,
Застывших навеки в забвенье дремотном,
Бывает, услышишь пронзительный крик,
Расслышишь вдруг голос, зовущий кого-то.

Увидишь, как в небо взмывают орлы
Под рокоты ветра, в смиреннии красок
Торжественно катят валами холмы
К белеющим в дымке вершинам Кавказа.

Разгладило время здесь тропы веков.
Наполнило реки свободой бескрайней,
Здесь всё — от курганов до воя ветров —
Окутано бью, опутано тайной.

Цари и народы великой земли,
Что в этих просторах когда-то селились,
В полынных рассветах взошли, отцвели,
И в мареве Леты навек растворились.

И там, где заметить пытаются взгляд
Загадочный профиль горячего горца,
Печальной песней струится закат,
Над тающим ликом плакучего солнца.

А в час, когда бездна звездами горит,
И грезят ущелья далёким рассветом,
Задумчивый Демон над миром парит,
Когда-то воспетый великим поэтом.

«ЗВЁЗДЫ — ЭТО ГЛАЗА ПРЕДКОВ...»

**Вячеслав
ГОЛОВКО**

В

повести «Фаталист», завершающей роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», есть один загадочный и неизбежно притягивающий к себе внимание читателей эпизод.

Печорин, главный герой этого романа, рассказал на страницах своего «Журнала» о событии, свидетелем и участником которого он оказался во время двухнедельного «проживания в казачьей станице на левом фланге». Он поведал историю гибели поручика Вулича, ставшего, казалось бы, случайной жертвой пьяного казака, ударившего его шашкой на «тёмной улице». Это трагическое происшествие Печорин невольно связывает с размышлениями о том, «может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому... заранее предназначена роковая минута...».

Повесть «Фаталист» занимает ключевое положение в жанрово-композиционной системе философского романа Лермонтова: поставленный в ней вопрос о том, predetermined ли человеческая судьба свыше, является не только предметом напряжённых дискуссий персонажей, но и, будучи фактором сюжетных мотивировок, предоставляет автору возможность раскрыть во всей сложности и глубине мировоззренческие позиции «героя времени». Вся система описываемых событий приобретает целесообразность, когда обнаруживается, что рефлексия лермонтовского героя восходит к давним традициям философского скептицизма, к той идее *сомнения*, которая определяет суть его миропонимания. «Я люблю сомневаться во всём: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперёд, когда не знаю, что меня ожидает» — такой вывод делает герой романа после того, как сначала Вулич «испробовал на себе»,

существует ли предопределение, затем после его нелепой и неожиданной гибели, кстати, в полном соответствии с предчувствием и предсказанием об этом самого Печорина, наконец, после того, как и он, «подобно Вуличу», «испытал судьбу», решившись «взять живым» и обезвредить вооружённого казака, убийцу поручика.

В романе М. Ю. Лермонтова идея *сомнения* выступает как методологический принцип критики старого и утверждения нового, нарождающегося. В «герое времени» синтезированы черты личности переходного периода, когда *осознается архаичность традиционного мировоззрения и необходимость выработки новой общности взглядов*. В произведении репрезентирован именно такой архетип: индивидуализм Печорина не случайно становится формой утверждения исторически нового самоощущения личности, поисков не религиозного, не «астрологического» («метафизического»), а принципиального иного воззренческого обоснования нравственного смысла жизни. Для героя Лермонтова, в опыте апробирующего и закрепляющего универсалии случайного и необходимого, обретение подлинной свободы невозможно без осознания личной ответственности за всё происходящее. Закономерным этапом внутреннего развития героя становится *скептицизм*, представленный в «Фаталисте» как некая альтернатива всякого рода, как выразился в «Журнале» Печорин, «метафизическим прениям».

Именно с этими «метафизическими прениями» по поводу веры в предопределение, и связан тот загадочный эпизод в повести «Фаталист», о котором мы говорили в самом начале. Своего рода эксперимент Вулича, выстрелом из пистолета, направленного на себя, пытавшегося испытать «неизбежность судьбы», казалось бы, заставляет Печорина «поверить предопределению»: «доказательство было разительно», как признавался он сам себе. Однако сомнение не позволяет герою «останавливаться на какой-либо отвлечённой мысли», и он не может ответить однозначно, «верит ли теперь предопределению или нет». Именно в этот момент и пытается Печорин противопоставить «людей премудрых», которые «думали, что светила небесные принимают участие в... ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права», их «потомкам», к числу которых причисляет и своё «поколение», «не способное... к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного... счастья» и «равнодушно переходящее от сомнения к сомнению». В программном монологе Печорина «Я возвращался домой пустыми переулками станицы...», философской доминантой как раз и является проблема *amor fati*, «фатума», «предопределения». Истоки «астрологической» темы этого монолога, в котором «зablуждениям предков» (веривших предопределению и тому, что судьбы человеческие зависят от «светил небесных») противопоставляется «равнодушное сомнение» их «жалких потомков», не имеющих «убеждений», до сих пор не установлены, а сам монолог не комментировался с этой точки зрения. Мы не найдём разъяснений по поводу того, к какому источнику обращался Лермонтов, устами Печорина говоривший о великой «силе воли» «предков», веривших в то, «что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным», даже в специальной книге одного из наиболее авторитетных лермонтоведов В. А. Мануйлова «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова: Комментарий» (М.; Л.: Просвещение 1966. — С. 262–263). «Астрологическая» «метафизика» этих раздумий героя романа непосредственно перекликается с образными аргументациями предопределения в «Опытгах» одного из ярких философов скептической школы эпохи Возрождения Мишеля

Монтеня. «Подумайте о том, какую огромную власть и силу имеют эти небесные тела... над нашей жизнью и превратностями нашей судьбы», — писал Монтень. Но что ещё весьма любопытно, французский писатель и мыслитель в свой текст вводил развернутые цитаты из произведений античных авторов, в частности, из поэмы «*Astronomicon libri*» Марка Манилия (начало I века н. э.), в основном из тех частей (III, IV), в которых речь шла об астрологии: «Человек понимает, что эти издали глядящие светила властвуют над ним в силу сокровенных законов, что вся вселенная движется благодаря череде причин и что исход судеб можно различить по определенным знакам». Это важно подчеркнуть потому, что «древние мсудрецы» и писатели (особенно стоики и скептики) оказали заметное влияние на мусульманскую философию, на характер истолкования проблемы предопределения человеческой судьбы в восточном исламе (9 век), использовавшем как религиозную космологию древнего Востока, так и мыслительный аппарат античности. К космологическим традициям стоической философии и восточных (мусульманских) религий восходит — через Манилия, Монтеня и других — сюжетный узел «Фаталиста» Лермонтова: ведь герои повести «рассуждают о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между... христианами многих поклонников». Но если даже у скептика Монтеня эта идея выступает как тезис в системе умозаключений о власти «небесных тел» над человеком, то у Лермонтова — как антигезис, как маркер позиции тех героев (в том числе и Печорина), кто сомневается в «предопределении» «судьбы человека» («Все это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти...»).

И это убеждает нас в том, что не только философско-литературная традиция питала мифологию лермонтовского «Фаталиста». Очень существенно для изучения творческой истории этой повести и романа «Герой нашего времени» в целом то, что в основу сюжета «Фаталиста» положено подлинное происшествие, случившееся с родственником Лермонтова Акимом Акимовичем Хастатовым в станице Червлённой: его едва не ирзубил шашкой пьяный казак. Об этом писал в своё время известный биограф Лермонтова П. А. Висковатов. Именно от А. А. Хастатова писатель узнал об истории похищенной Бэлы, которая некоторое время жила в имении Хастатовых, и этот рассказ был положен в основу повести, названной по имени героини.

А. А. Хастатов — личность примечательная во многих отношениях. Он был сыном сестры бабушки Лермонтова Екатерины Алексеевны. Её имение — Шелкозаводское — находилось в 65 верстах от Кизляра, на самой границе так называемой Линии, где на левом берегу Терека издавна жили гребенские казаки, несшие трудную сторожевую службу. На Шелкозаводское часто нападали горцы, и Екатерина Алексеевна бесстрашно защищала своё имение вместе с его обитателями, и не случайно родные в шутку именовали её «авангардной помещицей». Известно, что рассказы Е. А. Столыпной-Хастатовой о кавказских горах нашли отражение в ранних поэмах Лермонтова («Черкесь», «Кавказский пленник», «Аул Бастунджь» и др.). Биографы поэта считают, что в детстве Лермонтов гостил в Шелкозаводском, когда приезжал с бабушкой на Кавказские минеральные воды. А. А. Хастатов которому это имение перешло по наследству, обладал характером матери — решительным, действенным, он был человеком отчаянной храбрости. В 1837 году Лермонтов посетил имение А. А. Хастатова, именно тогда и узнал о нападении на него пьяного казака в станице Червлённой. Существует и другая версия: согласно утверждению В.Х. Хохрякова,

первого собирателя рукописей поэта и биографических материалов о нём, в «Фаталисте» запечатлено событие, участниками которого были сам М. Ю. Лермонтов и его друг А. А. Монго-Столыпин, двоюродный дядя и друг поэта. Важно то, что в основу сюжета «Фаталиста» положено происшествие, случившееся именно в Червлённой, и что действие в этой повести происходит в станице гребенских казаков. Мы подчёркиваем это потому, что Лермонтов живо интересовался фольклором и «станичными суевериями» гребенских казаков, в которых отразились особенности уклада их жизни, быта, характеров, нравов, обычаев, их традиций, православного вероисповедания. Существует предание, что знаменитую «Казачью колыбельную» поэт написал в хате казака Ефремова, коренного жителя натеречной станицы Червлённой.

К мифосимволике фольклора южнорусского казачества не остались равнодушными писатели-классики, побывавшие в нашем крае. Глубинные, порождающие идеи-образы его бытийных художественных концепций стали источниками философского символизма многих литературных произведений. Загадочный астрологический сюжет лермонтовского «Фаталиста» — один из подобных, очень выразительных примеров.

Уже в наше время известный ставропольский поэт, фольклорист, переводчик Витислав Васильевич Ходарев, создавая книгу «Станичные суеверия» — антологию казачьих поверий, примет, мифологических символов, бытующих в русской народной культуре Северного Кавказа, записал удивительный сюжет «Звёзды — это глаза предков», который сохранился в устном творчестве гребенских казаков.

Издавна существовал у них обычай: когда ребенку исполнялось пять лет, мать обязательно вела сына ясной звездной ночью в степь и говорила, что звёзды — это «глаза предков, которые всегда следят, как ведёт себя человек на земле, и каждый его поступок либо осуждают, либо благословляют. Казаки верили, что сколько живёт казак, он всегда чувствует над собой внимательный взгляд предков». Где же встречается этот образ, где мы могли прочесть о вере людей в то, что их жизнь сопровождает этот «взгляд предков»? Ну, конечно же, в лермонтовском «Фаталисте», где этот образ составляет сердцевину монолога Печорина: «Я возвращался домой пустыми переулками станицы...».

При сопоставлении фрагмента книги Витислава Ходарева с монологом Печорина возникает обоснованное предположение, что автор «Героя нашего времени», работая над повестью «Фаталист», вспомнил это предание станичных казаков! Печорин, глядя на звёзды, которые «спокойно сияли на темно-голубом своде», невольно задумался над тем, что «наши предки» верили, будто «целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!...». В черновом варианте этого монолога героя связь с поверьем станичников проявляется ещё более отчетливо. Первоначальный вариант фразы «...целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным...», содержащийся в черновом автографе, значительно отличался по смыслу от процитированного, вошедшего в канонический текст. Звучала эта фраза так: «...целое небо... на них смотрит с надеждою в ожидании...». Писатель, добываясь точности в раскрытии философской идеи, в диалоге с которой находится Печорин, отказался от этой формулировки первоначального варианта, так как в этом случае выражалась, в сущности, мысль, прямо противоположная: получалось, что не «премудрые люди» смотрят с надеждою на «светила», а «светила» ждут от людей «участия». Изменив

фразе в каноническом тексте, Лермонтов приблизился к фольклорному источнику «Звёзды — это глаза предков» в максимальной степени. Без этого изменился бы весь смысл монолога Печорина и стало бы невозможным утверждение героя: «И что ж? эти лампы, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ним...». Совершенно очевидно: во многих народных «суевериях», которые привлекли внимание многих писателей, в том числе и Лермонтова, не столько мистики, сколько поэзии и самоценного стремления к добру! Эстетическое всегда неразрывно связано с этическим — такова диалектика человеческого осознания мира.

Если мы предполагаем, что писатель использовал при работе над «Фаталистом» одно из поверий гребенского казачества, с которым он мог познакомиться во время пребывания именно в Червлённой, ставшей прообразом «казачьей станицы» в повести, то возникает вопрос: где распространен и был записан В. В. Ходаревым сюжет «Звёзды — это глаза предков»? Пишущий эти строки, прочитав впервые книгу «Станичные суеверия», сразу же задал этот вопрос её автору. Ответ был просто ошеломляющим: сюжет записан в станице Червлённой, а бытует в анклаве как этой, так и станицы Александрийской. В других местах Ставрополья и шире — Северо-Кавказского региона он не встречается. Круг, как говорится, замкнулся. Таким образом, благодаря «Станичным суевериям» устанавливается один из источников заключительной повести романа Лермонтова «Герой нашего времени». Именно *один из источников*, потому что творческий процесс любого писателя характеризуется синтезом разных импульсов и информационных ресурсов. «Астрологический» сюжет «Фаталиста» воплощает в себе архетипическое, содержащееся в разных культурных феноменах.

Печорин как «автор» «Журнала» в качестве альтернативы «вере в предопределение» выдвигает идею активности и ответственности человека. Не случайно «заблуждения» «предков», как и то, что он сам «попал невольно в их колею», почти поверив в «предопределение», вызывают у Печорина иронию и самоиронию: он «остановил себя вовремя на этом опасном пути», «посмеявшись над... предками и их услужливой астрологией». Благодаря сомнению, приверженности традициям философского скептицизма, герой лермонтовского романа выработал в духе философии скептицизма, «правило», как пишет об этом сам, «ничего не отвергать решительно и ничему не веритьяся слепо». Это и помогло ему «отбросить метафизику в сторону». Печорин смог противопоставить «фатализму» ту философию поступка, которая стала выражением нового мировоззрения, постепенно вырабатывавшегося поколением «героя времени». С самого начала развития коллизии в «Фаталисте» «предопределению» он не случайно противопоставлял веру в человека: «И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок?». В сопоставлении/сопряжении «веры» и «воли» осуществляется апробация идеи ответственного поступка как духовно-деятельного акта, благодаря которому в романе Лермонтова утверждается ценность человеческого деяния, человеческой свободы.

Иван АКСЁНОВ

ЛЕРМОНТОВ

Два сонета

1. Столичная окраина. Застава...
Изгнанника под хриплый гвалт ворон,
Под безотрадный колокольный звон
Уносит тройка на Кавказ кровавый.

Похвал журнальных сладкая отрав,
Балы, салоны — всё прошло, как сон.
И горько знать, что так бездумно он
Пожертвовал любовью ради славы.

Что ждёт его? Почтовый пыльный тракт
И стычки беспощадные в горах,
Где смерть свершает жатву неустанно.

И видится ему: в конце пути
Под жарким солнцем, со свинцом в груди,
Он распостёрт в долине Дагестана.

2. Томит июльский предвечерний зной.
Близка гроза, храпят пугливо лошади.
Уставился в упор, как замороженный,
Глаз кухенрейтера — зрачок стальной.

Встревожило сонливый мир лесной
Сороки стрекотание истошное.
С немым укором смотрит в душу прошлое
Глазами Вареньки Лопухиной.

Расплатою поэту за пророчества
Всегда в России было одиночество,
Непонимания китайская стена.

Не дорожат у нас в стране поэтами...
Тюрьма, верёвка, пуля пистолетная —
И в вечном мраке жизнь погребена.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЛЕРМОНТОВА

**Михаил
ПЕТРОСЯН**

ОДНА СТРОКА

Творчество любого крупного писателя шире одного, пусть самого значительного, произведения. «Война и мир» — ещё не весь Лев Толстой, «Евгений Онегин» — не весь Пушкин, а «Герой нашего времени» и «Демон» — не весь Лермонтов... А тут всего лишь одна строка!

Может ли одна строка передать всё самое характерное в творчестве того или иного автора?

Нет, не может.

И всё-таки... Если допустить, что эта строка, взятая из отдельного стихотворения, неминуемо тянет за собой другие строки, всё стихотворение, а за ним незримо встаёт всё творчество автора, то почему бы не попытаться выделить строки, особо пленяющие тебя волшебной магией слова.

Если бы меня спросили: есть у тебя такая строка из Лермонтова, я бы ответил утвердительно.

Она из стихотворения «Родина».

«Люблю отчизну я, но странную любовь» — так начинается это стихотворение. Когда-то в школе его учили наизусть. В автографе оно названо иначе — «Отчизна». Но при первой же публикации название было изменено. И вот почему.

За два года до появления лермонтовского стихотворения, датированного 1841 годом, было опубликовано получившее большую известность стихотворение поэта-славянофила А. С. Хомякова «Отчизна». Хомяков в своём стихотворении видит величие России в смирении русского народа, в его верности православной религии, царю и отечеству. Разумеется, Лермонтов знал это стихотворение. Но мог ли он согласиться с такой трактовкой любви к своей отчизне? Ему претило казённое славословие николаевской империи. И вот он пишет своё стихотворение «Отчизна», явно полемическое по отношению к хомяковской «Отчизне».

«Люблю отчизну я, но странную любовью! — пишет Лермонтов. — Не победит её рассудок мой.

Ни слава купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни тёмной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья».

Это было сказано очень смело для того времени.

Чтобы понять, как воспринималось это признание современниками, можно провести такую параллель.

Представьте себе, что в период культа личности Сталина, да и в позднейшие брежневские времена, когда было принято гордиться тем, что мы живём в первом в мире государстве рабочих и крестьян, что мы являемся продолжателями великого дела Маркса-Энгельса-Ленина, что мы строим коммунизм, появляется вдруг стихотворение, автор которого заявляет, что он любит отчизну, но вовсе не за то, за что надо бы её любить. Это явный вызов официальной идеологии. Диссидентство! Да, Лермонтов был, говоря современным языком, действительно диссидентом, не принимающим существующий порядок вещей таким, какой он есть.

Но пойдём дальше... «Но я люблю — за что не знаю сам — её степей холодное молчанье, её лесов безбрежных колыханье, разливы рек, подобные морям». Казалось бы, ничего острого в политическом смысле не сказано, но каждая лермонтовская строка здесь — опровержение официальной казённой любви к отчизне, которая насаждалась в то время... И дальше... «Просёлочным путём люблю скакать в телеге и, взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, мечтая о ночлеге, *дрожащие огни печальных деревень...*»

Вот она, эта лермонтовская строка!

«Дрожащие огни печальных деревень»... Вроде бы ничего особенного в смысле использования поэтических тропов — средств художественной выразительности. Две простенькие метафоры — и всё. Но как много они говорят, как точно дорисовывают образ многострадальной крестьянской Руси!

Это как музыка, не передаваемая словами.

Всего лишь одна строка, одно стихотворение...

ЛЕРМОНТОВ-ХУДОЖНИК

Конечно, Лермонтов прежде всего художник слова. Тем не менее исключительный интерес представляет его творческое наследие и в области изобразительного искусства.

По двум причинам.

Во-первых, как иллюстративный материал к его литературным произведениям. И, во-вторых, как одна из первых попыток запечатлеть природу Кавказа средствами изобразительного искусства — в живописи и в графике. Ведь во времена Лермонтова Кавказ оставался для большинства населения России «terra incognita» — землёй неизвестной. Фотографии ещё не существовало. А путешествия по Кавказу были связаны со многими опасностями. Так что в каком-то смысле Лермонтову принадлежит честь первооткрывателя Кавказа и в русском изобразительном искусстве.

Сохранился детский рисунок Лермонтова, сделанный на Горячих Водах в 1825 году, когда его впервые привезли в Пятигорск и он был поражён дикой первозданной природой Кавказа. На рисунке изображены горы, среди которых сразу угадывается Бештау. Но это ещё не рисунок с натуры, а как бы рисунок по памяти — этакое обобщённое воспроизведение панорамы гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод, которые произвели неизгладимое впечатление на мальчика, выросшего в Сред-

ней полосе России. И впоследствии, приезжая на Кавказ, Лермонтов никогда не расставался с пугевым блокнотом и рисовальными принадлежностями.

Особенно плодотворен в этом отношении период первой ссылки на Кавказ в 1837 году — в наказание за брошенный именной петербургской знати вызов в стихотворении «Смерть поэта». «Бесстыдное вольнодумство, более чем преступное», — написал царю про эти стихи шеф жандармов Бенкендорф. «Приятные стихи, нечего сказать, — отвечал ему Николай I. — Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить того господина и удостовериться, не помешан ли он, а затем поступим с ним по закону».

Судьба поэта была предрешена: прапорщик Лермонтов получил назначение в действующую армию на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, расквартированный недалеко от Тифлиса.

К месту назначения Лермонтов прибыл только к первой половине октября. А спустя два месяца ему вышло прощение, и он из Тифлиса отправился назад, в Санкт-Петербург.

«С тех пор, как я выехал из России, — незадолго до этого писал Лермонтов своему близкому другу Святославу Раевскому, который тоже понёс наказание — за распространение стихотворения «Смерть поэта», — поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладных, то верхом; изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии; одетый по-черкесски, с ружьём за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал. И везу с собой порядочную коллекцию...»

Из всех рисунков, привезённых поэтом в 1837 году с Кавказа, уцелело всего восемь. Шесть из них сделаны в Грузии: автолитография «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби», карандашный рисунок «Развалины на берегу Арагви в Грузии» и четыре, названия не имеющих. На них изображены башня в ущелье (очевидно, Дарьяльском), другое ущелье с движущейся по дороге арбой; девушки, танцующие на плоской кровле грузинского дома (его часто используют как иллюстрацию к поэме «Демон»), и тифлисский майдан с видом на Тифлисский замок.

Картины Лермонтова, относящиеся к 1837 году, изображают Эльбрус, какой-то грузинский пейзаж (полотно это известно под названием «Кавказский вид с саклей»), горное ущелье, вид Тифлиса со стороны Авлабарского предместья и караван верблюдов возле скалы, находящейся недалеко от Царских колодцев в Кахетии.

Все эти работы имеют помимо эстетического географическое и этнографическое значение.

Известный лермонтовед Ираклий Андроников, совершивший летом и осенью 1952 года путешествие по тем самым местам, где бывал в 1837 году Лермонтов, документально установил, что все зарисовки сделаны с натуры и по ним можно восстановить, как эта местность выглядела более ста лет назад.

Для нас, ставропольцев, особый интерес представляет написанная маслом красочная картина «Эльбрус. Вид с Бермамыта». Остаётся только удивляться, с каким безошибочным художественным чутьём Лермонтов угадал, с какой точки надо писать величайшую вершину Европы. Ведь и сегодня считается, что самый величественный вид на Эльбрус открывается именно с Бермамыта.

В 1837 году по дороге на Кавказ Лермонтов заболел и, приехав в Ставрополь, лёг в госпиталь. Но болезнь не помешала ему общаться с находившимися здесь же на лечении ссыльными декабристами, совершать прогулки по городу и его окрестностям. И по уже сложившейся у него привычке стремился занести свои новые впечатления на бумагу. В память о пребывании в нашем городе сохранилось три рисунка. Это Волобуева мельница на речке Ташле в районе Бибердовой дачи. На втором рисунке тот же пейзаж, но сделанный с другой точки, с надписью рукой поэта «После прогулки на Волобуеву мельницу». Особый интерес для историков и этнографов представляет собой третий рисунок — «Сцены из ставропольской жизни» (май 1837 г.), на котором изображены лица, схваченные прямо на улицах нашего города. Примечательно, что все они из числа военнопленных — ещё одно подтверждение репутации Ставрополя как прифронтового города, где находились на лечении раненые и располагалось командование Кавказской оборонительной линии.

Позже стараниями того же Ираклия Андроникова стали известны другие работы Лермонтова на кавказские темы.

Естественно, Лермонтов-художник оставил нам и драгоценнейшие зарисовки столь любимых им Горячих и Кислых Вод.

Сохранилось несколько карандашных набросков Пятигорска, в том числе городского бульвара, относящийся к 1840 году. Прекрасен написанный маслом вид на Пятигорск с Елизаветинской галереи на Горячей горе. Он датируется 37-38 годом. На переднем плане склон Машука, по которому идёт дорожка к гроту в скале, впоследствии получившему название Лермонтовского. В глубине — раскинувшийся у подножья горы городок. Вдали — серебристая цепь Кавказских гор с возвышающимся над ней Эльбрусом.

Исследователей жизни и творчества поэта давно занимала мысль: как создавались лермонтовские картины, написанные маслом? Возил ли он с собой мольберт? Или брался за кисть потом — по памяти, по сделанным с натуры наброскам?

Счастливый случай помог Ираклию Андроникову дать на этот вопрос совершенно точный ответ.

В 1921 году в Стокгольме на русском языке вышел роман «Герой нашего времени» под редакцией профессора Ляцкого. «Украшением книги, — отмечал автор рецензии на это издание, — служит воспроизведение неизданного рисунка Лермонтова, ещё раз подтверждающего художественные способности Лермонтова». Сорок лет спустя, ознакомившись с этой рецензией, Ираклий Андроников обратился в Русско-Шведский институт и Королевскую библиотеку с просьбой прислать фотокопию той страницы, на которой изображён неизвестный рисунок.

Оказалось, это тот же самый вид Пятигорска с Елизаветинской галереи, что на картине 1837-38 годов. С незначительными изменениями композиции. И это позволяет считать, что и другие живописные полотна Лермонтов создавал на основе своих предварительных зарисовок.

Лермонтов — один из немногих русских писателей, собрания сочинений которых выходят с его собственными иллюстрациями.



Константин ХОДУНКОВ

Легла на травы бурая роса,
Желтеют листья — угасает лето,
И осени печальные глаза
В задумчивости смотрят на поэта.
И кажется мне, что-то есть сродни
В увядшем лете и душе поэта,
Как будто вместе думают они.
О том, что ими не было допето.

Больших поэтов было много,
И впредь не оскудеет свет,
Но Лермонтов у нас от Бога,
Он Божьей милостью поэт.
В его стихах неповторимых
И боль души, и глубина,
И фантастическая сила,

И колдовская новизна,
Что заставляет музу слушать,
Что в мир загадочный зовёт,
Что режет грустью наши души,
Что мощью песни сердце рвёт.
Его стихи для нас святые,
В них русский сказочный напев,
Он Пушкина продлил России,
Он словом прах его согрел.
О, как он не хотел поверить,
О, как не соглашался он,
Что злою пулей срезан гений,
Что Бог поэзии сражен.
Живи, не умирай, не надо! -
Метался стон в его груди,
Свети, нетленная лампада,
Не уходи, не уходи.

Но та трагедия свершилась,
Волшебный чудо-свет угас,
Ночь на Россию опустилась -
Не стало Пушкина у нас.
Таков уж рок судьбы жестокий,
Законы матушки-земли,
Что гнева Лермонтова строки
Ему уже не помогли.
Не помогли, но глас поэта,
Что зло людское заклеимил,
Что бросил вызов козням света,
На всей Руси услышан был.
Ведь это он не постеснялся
Назвать тупой тупую знать,
Ведь это он не побоялся
Царя убийцею назвать.
И вот теперь на Ставрополье,
Где не однажды он бывал
(В неволе, думая о воле),
Взошел поэт на пьедестал.
Взошел затем, чтоб в нашем крае,
Среди равнин, среди полей,
Его стихов не забывали
И было нам от них теплей

Константин ХОДУНКОВ

Заклинатель слова

Наша отечественная литература — это величайшее национальное достояние, истоки которого берут свое начало в неиссякаемых родниках народного творчества. Наиболее ярких вершин она достигла в последние три столетия, когда явила миру целую плеяду замечательных творческих личностей. И особенно характерен в этом плане XIX век, который подарил миру, наряду с другими великими поэтами, Михаила Юрьевича Лермонтова.

Творчество М. Ю. Лермонтова прежде всего характеризуется высочайшей чистотой и правдой. Он был не только ярким художником, но и бесстрашным, честным певцом своего времени. Наряду с безмерной глубиной и фантастической силой слова во всём его творчестве прослеживается благородный призыв к свету, к справедливости, страстное стремление к свободе, что с особой силой проявилось в поэме «Мцыри», которая, по мнению В. Белинского, есть не что иное, как отражение в поэзии тени собственной личности поэта.

Где-то я слышал, что великие поэты — это своеобразные маги. Что они силой своего таланта, интеллекта вкладывают в их детище частицу собственной энергии, которые потом воспринимаются читателями. И это недалеко от истины. Действительно, в стихах больших поэтов, таких как М. Ю. Лермонтов, где всё доведено до совершенства, мы наряду с их философской глубиной и трагичностью будто воочию видим, ощущаем живые картинки.

Слова в строку будто текут с волшебной лёгкостью:

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли,
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листьев...

А какой лирической силой дышат его стихи, строки:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...

Потрясающе! Он будто из космоса посмотрел на нашу землю, спящую в сиянье голубом, — такую, какую её позже, спустя более столетия, увидели наши космонавты.

Знакомясь с наследием М. Ю. Лермонтова, мы видим и то, насколько широк его жанровый диапазон и круг, острота проблем, которые он поднимает.

В «Песне о купце Калашникове» поэт обращает внимание высшего света на простой народ, на социально-нравственное положение российского общества, на то, что в простонародье крепче сидит, держится нравственный стержень, чем у царствующих персон. Показал, как купец благородный отстаивал, защищал честь семьи — православные каноны нравственности. Как он, купец, зная о том, что если скажет царю правду, что убил его любимого опричника «вольной волею», а не случайно, «нехотя», будет казнен, — не покривил душой, сказал правду.

А вот его размышления у моря:

Для чего я не родился
Этой синею волной?
Как бы шумно я катился
Под серебряной Луной.
Ох, как страстно я лобзал бы
Золотистый твой песок...

В стихотворениях Лермонтова чувствуется красота природы — утренняя роса, журчание ручья, палящий зной пустыни, свистящий ветер, бегущее облако, раскаты грома, буйство моря, дыхание Вселенной. . .

И вместе со всем этим, так же как в зеркале, видим, ощущаем состояние его души, отношение ко всему сущему, к тому, что происходит вокруг него, к той эпохе, в которой он жил и творил.


Знал ли он силу своей одаренности? То, что он, как говорят в народе, в чем-то помазанник Божий, конечно же, знал. И это подтверждается строками из письма Лопухиной: «Кто знает, сберегу ли я хоть частицу пламенной души, которою столь некстати одарил меня Бог». А то, что он был поэтом от Бога, у меня нет сомнения. Ибо его творчество воистину божественное, завораживающее, магическое.

И не случайно Анна Ахматова произнесла такую крылатую фразу: «Слово слушалось его, как змея заклинателя».



**Вячеслав
ГОЛОВКО**

Неоконченная повесть М. Ю. Лермонтова «Штосс» как предчувствие «нового идеализма»



Незавершенное произведение, публикуемое ныне под условным названием «Штосс» (1841), остается «островком» в художественном мире автора «Героя нашего времени». С этим романом повесть, начинавшаяся словами «У граф. В*** был музыкальный вечер» связана генетически, прежде всего — на характерологическом уровне. Ее главный герой Лугин — это тип, психологически родственный Печорину. «Душевная усталость», «сплин», «ипохондрия», саморефлексия героя «Штосса» — признаки той же внутренней противоречивости, той же «горькой поэзии», несоответствия «природного таланта», возможностей и их реализации, которые составляют суть характера Печорина. Ему в такой же мере знакомы «поддельность чувств», причудливое сочетание «страсти» и «злости», что и герою лермонтовского романа. Однако «Штосс» и по идейно-художественному

замыслу, и по характеру сюжета заметно отличается от романа, написанного двумя годами раньше. Лугин предстает здесь как характер, синтезирующий качества Печорина и тех «трагических» романтиков, которых автор в предисловии к роману противопоставляет «герою времени». Этот персонаж становится средоточием детерминант конкретно-исторического и одновременно универсального времени-пространства, интегрирует эстетические формы типизации, характерные как для предшествующих литературных эпох (готический роман, «Мельмот Скиталец» Ч.Р. Метьюрина, «Портрет» Н.В. Гоголя), так и для последующих («таинственные повести» И. С. Тургенева 1870-х — начала 1880-х годов, «Белый охотник» (1886), «Попутчик» (1896) А.В. Амфитеатрова, «Невеста-скелет», «Голос крови» и др. произведения 1870—1890-х годов Н.Н. Каразина, «Кентервильское привидение» (1887), «Портрет Дориана Грея» (1891) О. Уальда и т. д.). Образное видение талантливого художника Лугина в такой же мере возвращает его к эстетике «испанской школы», как и «предвосхищает» сюрреалистическую манеру. На протяжении двух недель он видит, например, всех людей «желтыми»: «Мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимонь», — признаётся он.

Культурно-исторические реалии связывают атмосферу самой повести с эпохой романтизма. Но, с другой стороны, сохранившийся черновой набросок программы повести («Сюжет. У дамы; лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью; предлагает ему метать; дочь в отчаянии, когда старик выигрывает. Шулер старик проиграл дочь, чтоб... Доктор; окошко...») и небольшой фрагмент в записной книжке, подаренной Лермонтову В.Ф. Одоевским («— Да кто же ты, ради Бога? — Что-с? — отвечал старичок, примаргивая одним глазом. — Штос! — повторил в ужасе Лугин... Шулер имеет разум в пальцах... банк... скоропостижная...»), дают основания строить предположения о возможном развитии сюжета произведения отнюдь не в традициях традиционно-романтической поэтики (при этом сам главный герой произведения Лермонтова остаётся во многом в «компетенции» романтизма как системы мировоззрения), чем и воспользовались писатель конца XIX века А.А. Соколов и современный литературовед Л.А. Белова, попытавшиеся «дописать» эту «таинственную повесть» за автора. Они, скорее, рассматривали текст «Штосса» как «пыт фантастической повести из современной жизни», как позже и некоторые исследователи и комментаторы произведения. «Современное» проявляется, скорее всего, в психологическом состоянии человека «промежуточной» (А.И. Герцен), переходной эпохи, а «фантастическое» — в описании встречи с потусторонним, недоступным рациональному объяснению, заявляющим тем не менее о себе со всей очевидностью. «Неясное, но тяжелое чувство», дышавшее в картинах Лугина, — это та психологическая мотивировка, которая позволяет соединить несоединимое: социальную достоверность характера и непознанную, а потому и иррациональную сферу бытия, традиционно остававшуюся за рамками реалистического изображения.

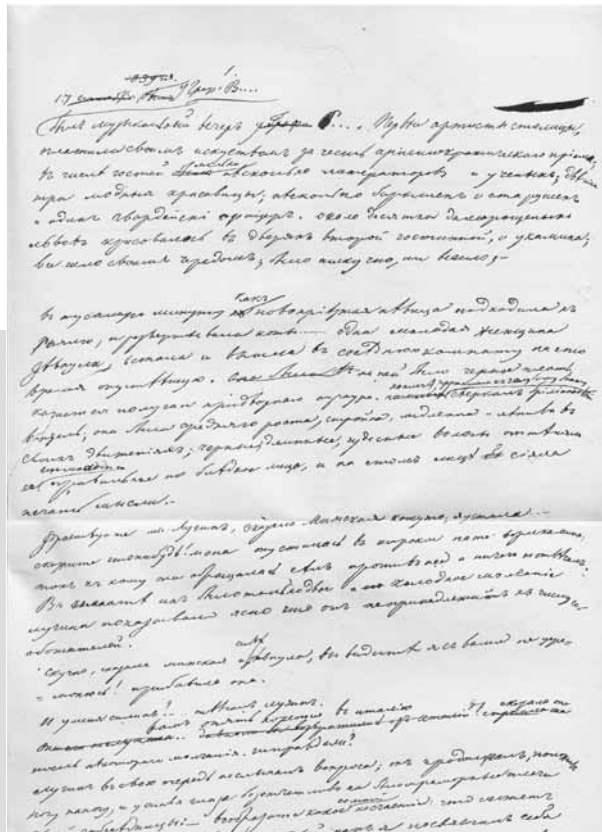
В истории мировой культуры можно найти немало подтверждений тому, что называемое часто «фантастическим» выступает и воспринимается как неопровержимая реальность. Попытки, например, объяснить генезис «таинственных повестей» Тургенева массовым увлечением к концу XIX века спиритизмом и мистицизмом явно не увенчались успехом. Повесть «Штосс» не имеет никакого отношения к увлечениям спиритизмом и т. д., но намеченная коллизия «посмертной влюбленности» героя здесь не менее существенна, чем в «Кларе Милич» Тургенева. Видимо, речь должна

идти о «неизъяснимом», интерес к которому устойчив и не зависит от периодов увлечения мистицизмом. В «фантастике» Достоевского («Сон смешного человека») или Циолковского (повесть 1933 года «Тяжесть исчезла») усматривают сейчас, например, не просто гениальные предвидения, но и эмпирическое знание того, к чему, казалось, до последнего времени человек не имел доступа. Меняется и представление о тех измерениях существования жизни, которые невозможно объяснить с позиций философского материализма. То, что герой Лермонтова «слышит голос», как и сама сюжетная основа повести (предопределённая встреча Лугина с «привидениями»), — вовсе не плод «фантастического» воображения автора. Возможность подобных ситуаций подтверждается многочисленными свидетельствами, фиксировавшимися как в прошлом, так и имеющими место в настоящем. Скорее всего, и для Лермонтова это была та «реальность», в которую погружен герой печоринского типа. Словно в ответ на скептицизм Печорина по отношению к «услужливой астрологии» и «фатализму», автор показывает своего героя в таких экстремальных ситуациях, когда «неизъяснимое» властно вторгается в «современную» жизнь, а мыслимая (у Печорина — вопрос о «предопределении», «фатализме») или чувствуемая (у Лугина — идея воздействия «чужой воли») сущность становится «реальностью».

В повести «Штосс» потусторонние силы, «призраки» ночного мира изображаются как носители разрушительного, демонического начала. Развитие действия сопровождается усилением общей атмосферы тревоги, неблагополучия, надвигающейся беды. 17 сентября 1839 года — время действия по черновому автографу сменилось на позднюю ненастную осень. Поиски дома Штосса в одной из «глухих частей города» начинаются «сырым ноябрьским утром», когда «мокрый снег» не смог прикрыть «грязные и тёмные» дома. Туман придавал предметам «серо-лиловый цвет», лица прохожих были «зелены», жалкими выглядели «бедные клячи» извозчиков. Дом Штосса оказался в «небольшом грязном переулке», на него указал дворник в «грязном фартуке» и с «давно не бритой бородою», причём разговаривал он «грубо» и т. д. Авторские «сигналы» («идейно-эмоциональные вершины текста») «управляют» читательским восприятием. Портретные характеристики подчиняются задаче изображения героя, попавшего во власть враждебных, сверхличных сил, воздействующих на его волю. Через внешние эквиваленты передается внутреннее состояние Лугина: «Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство». Однако, несмотря на «предчувствие несчастья», герой «подбегает» к дому Штосса: «...Что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал». Необратимо сть происходящего (Лугин не может «вовремя остановиться» в поисках загадочного дома) усиливает предопределенность выбора, который, казалось бы, он совершает самостоятельно. Это уже, по сути, не ситуация выбора, и герой подчиняется тем «страстям», во власти которых находится «род человеческий» вообще. Такая степень обобщения придает «покорности» Лугина «таинственным предметам» фатальный характер. «Странно» — это слово-понятие является ключевым, определяющим все действия Лугина (наём квартиры, выбор комнаты, торопливый переезд и т. д.). Отсутствие внешней логики и целесообразности становится важнейшим фактором, определяющим развитие сюжета и особенности раскрытия характера. В мире «странностей» объединяющим началом становится загадочный «поясной портрет», который Лугин странным образом не замечал до того момента, пока, сам «не зная почему», решил, что «берёт» эту квартиру.

На первый взгляд, «поясной портрет» — образная калька из тех произведений предшественников Лермонтова, которые были основаны на мотиве «оживающего портрета» (романтическая западноевропейская беллетристика, «Портрет» Н. В. Гоголя и др.). В этом плане лермонтовского «Штосса» многое сближает с повестью Гоголя: на обоих портретах — «следы работы высокого художника» («гения» или «случая»), и тот и другой являются незаконченными («ученическими»), в них «дышит» та же «страшная жизнь», изображённые мужчины были «драпированы» в «азиатские костюмы» и т. д. Но изобразительная доминанта портрета в повести Лермонтова иная, чем у Гоголя и других писателей, сюжеты которых восходят к традициям «Мельмота Скитальца» Ч. Р. Метьюрина и европейских романтиков (повесть «Кто он?» Н. А. Мельгунова, стихотворение В. Г. Теплякова «Любовь и ненависть», «Княгиня Лиговская» самого Лермонтова и т. д.). В этом портрете главное — не «страшный

Черновой автограф
«Отрывка
из начатой повести
(1841 г.)» [«Штосс»].
Воспроизводится
по изданию:
Полное собрание
сочинений
М. Ю. Лермонтова.
Т. 4 / ред., прим.
проф. Д. И. Абра-
мовича. Академи-
ческая библиотека
русских писателей.
Вып. 5. СПб.:
Издание разряда
изящной словеснос-
ти Императорской
академии наук, 1911.
С. 288.



блеск» глаз, а психологические антитезы, парадоксальное сочетание несоединимых черт (выражение лица было «насмешливое и грустное», «злое и ласковое» одновременно, оно создавало общее впечатление «отвратительной красоты»). Подобная «амбивалентность» соотносима с психологическим портретом Лугина, в котором уживаются «страсть» и «злость», «огонь глаз» и «тайный недуг». Даже в эскизе женской головки — в одной из «недоконченных картин» Лугина — сочетались «прелесть

рисунка» и «неприятное» общее впечатление. (Эта «недоконченная картина» невольно воспринимается как генетический код самой «недоконченной» повести «Штосс»). Психологические антитезы и «сплетение противоположных наклонностей» сближают Лугина с Печоринным и Вернером. Как и герой лермонтовского романа, не другие, а он «сам себя ежедневно обманывал с простодушным ребенком». Печорин признается, что «живет из любопытства», Лугин оказался «покорным необычайной власти таинственного предмета» тоже из-за «первой страсти», «сгубившей род человеческий», — из-за любопытства.

Таким образом, Печорин, Вернер, Лугин предстают как герои одного типологического ряда, но имеющие разные воззренческие и этические позиции. Лугину, в свою очередь, внутренне близок (если иметь в виду психологические лейтмотивы портрета) тот «персонаж», чей образ запечатлен на этом портрете. Иррациональная связь между ними находит неожиданный выход: герой «Штосса», сам не замечая, рисует голову старика, сходство которого с изображенным на портрете его самого заставляет вздрогнуть. Выбор потусторонних сил падает на Лугина не случайно. Однако в повести Лермонтова даже психологическое родство не означает совпадения целей и логики поведения героя и старика-привидения, таинственным образом связанного с портретом. Перед их первой встречей у Лугина все происходит наоборот, опять-таки «странно»: ему нужно было ехать, а он «до вечера просидел дома», хотелось рисовать, читать, но по неизъяснимой причине он не мог этого делать и т. д. Психологическое состояние героя отражает не только внутреннюю борьбу с самим собой и навязываемой линией поведения, но и передает ощущение неопределенности (его «бросало то в жар, то в холод», «непрерывное беспокойство им овладело», «ему хотелось плакать, хотелось смеяться»), безнадежности и даже близкого конца, когда вся жизнь проходит перед глазами («ему представлялось все его прошедшее»). Психологические антитезы всё более сгущаются, становятся все более интенсивными по мере усиления того насилия, которому подвергается воля Лугина.

Но есть и другая, более существенная причина, мотивирующая неизбежность встречи героя с привидениями. Это его «фантастическая любовь к воздушному идеалу», его воображаемая «женщина-ангел», образ которой он создал по антисхеме реальной жизни (на живых женщин он «смотрел как на природных своих врагов»). И в этом он был неисправимым романтиком, у которого «опытность ума не действует на сердце». «Вредность для человека с воображением» такой «невинной» любви и проявилась в том, что, не желая «поддаваться» привидению, вступая с ним в диалог, а затем и в игру скорее из «храбрости отчаяния» и «любопытства», Лугин очень скоро попадает в зависимость даже не от «мертвой фигуры» (старик и «не ожидает от Лугина никакого сопротивления»), а от своей «воздушно-неземной» мечты. Он уже с «лихорадочным нетерпением» ждёт прихода старика и «чудной красавицы», рад тому, что борьба за нее «сделалась целью его жизни».

В описаниях ночной игры в штосс Лугина и старика сохраняется сочетание действительного и ирреального. Появление привидения сопровождается «шорохами», тем, что «хлопают туфли», «беззвучно... отворяются двери», с печи на пол сыплется известка. В лермонтовском описании не зафиксированы попытки нейтрализовать «таинственное» и мотивировать его какими-либо объяснимыми причинами (как, например, в «Кларе Милич» Тургенева). «Фантастическое» является вполне объективным, и только в таком статусе оно обладает здесь эстетическим качеством.

Вместе с тем в описаниях внешнего вида старика обнаруживается такая распространённая в романтической литературе деталь, как глаза с неестественным, «страшным блеском»: у привидения они «пронзительно сверкали», в них «блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем». Портрет к концу отрывка становится доминантным средством раскрытия образов и нравственно-эстетической позиции автора. Появление в нем традиционных до банальности элементов романтической поэтики связано, скорее всего, с задачей изображения соприродности внутренней «романтической» сущности Лугина, готового «творить для себя новую природу», и тех страстей, «бурных и жадных», из-за которых не могут найти себе успокоения существа из другого мира. Портреты трёх персонажей показывают, что все они живут напряженной внутренней жизнью. При этом «внешний вид» привидений, в свою очередь, является эквивалентом отражаемых процессов внутренней жизни, эмоционального состояния главного героя, а потому портретные описания превращаются в подвижное, гибкое средство психологического анализа. По своей природе они полифункциональны: описания внешности старика и его дочери являются одновременно средством выражения авторского отношения к персонажам (к «несносному старику» и к «ней» — «чудному, божественному виденью») и раскрытия их демонических страстей. В таком портрете происходит контаминация разных планов изображения (описание внешнего облика и внутреннего состояния), изобразительности и выразительности, «объективного» воспроизведения через призму видения и восприятия главного героя и оценочного комментария (описание «женской головки», например, перерастает в авторский комментарий: «...То не был... пустой и ложный призрак») и т. д. Психологический портрет главного героя как бы растекается по тексту, в нем выделяются разные аспекты; детали становятся акцентированными, их функциональность и «вход» в сюжетное действие обусловлены изображением психологической динамики персонажа.

В центре авторского внимания постоянно находится Лугин как носитель творческого созидательного начала. Повествователь не отрицает возможности того, что всё происходящее интерпретируется героем в соответствии с его собственным пониманием и восприятием событий. Как, например, реагирует на «карточную дуэль» женщина-призрак? «Она, казалось, принимала трепетное участие в игре...». Но это именно «кажимость», то есть видимое глазами Лугина. Такое подчеркивание не случайно. «Чудное и божественное виденье» — это тот высокий идеал, к которому устремлена чуткая душа художника (тот же «гений чистой красоты», что и в пушкинском стихотворении). «Любовь» становится средством выражения этого томления по идеалу. «Заставить» героя «проиграть душу» (лермонтовский фрагмент и заканчивается словами: «Он решился...») может не просто страсть, а именно идеальность, которая не унижает, а возвышает его. Рисуя еще раньше женский портрет, Лугин вовсе не «вздыхал по небывалой красавице»: «он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела». Для человека, «который сколько-нибудь испытал жизнь», это, как подчеркивает автор-повествователь, «редкая причуда».

Итак, мы видим, что, воссоздавая в неоконченной повести характер печоринского типа, Лермонтов вместо «сомнения» «героя времени» в качестве базисного воззренческого принципа выбирает преданность духовно-нравственному идеалу красоты и поиски истины в художественном творчестве, которые, по сути, осмысливаются автором как выражение «жизнетворчества». В повести особо акцентирован

такой онтологический аспект: «То было... одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована». Не случайно Лугин уже в зрелые годы «пристрастился к живописи», именно в формах художественного жизнетворчества и выразился его «прекрасный талант». Значительно предвосхищая эстетические искания европейского и русского модернизма конца XIX века, Лермонтов объективирует тем самым мысль о развитии эстетического чувства — основы обновления жизни. У Лугина совершенно отсутствует утилитарное отношение к творчеству. Интуитивное постижение самодостаточности красоты как выражения истины, связи эстетического и этического — это, пожалуй, то самое важное в мироощущении героя, в его духовном прозрении, которое свидетельствует о проявлении новых тенденций в общественном самосознании, о выходе из состояния «переходности», маргинальности, в котором находилось печоринское поколение. На основе прежнего «романтизма» у героя Лермонтова формируется новое восприятие жизни, новая вера в идеал. Он уже не может повторить вслед за Печориным: «Я люблю сомневаться во всем...». В его бытийной концепции просматриваются те черты, которые станут определяющими для философско-эстетической методологии культуры Серебряного века.

Обратим внимание на такую важную особенность характеристики «чудного и божественного виденья», данного через чувственное, интуитивное восприятие героя: «Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного... то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак...». Жизнь, таким образом, вовсе не ограничена «земным»; «мыслимое», создаваемое интуицией и эстетическим созерцанием, — это тоже форма бытия. Идея «вечной женственности», актуализированная культурой модернизма конца XIX — начала XX века, формировалась и складывалась постепенно. Художественные инновации Лермонтова в «Штоссе» находятся на этой магистральной линии эволюции и смены форм культур и структур сознания. Стратегия дискурса лермонтовского «Штосса» соответствует логике формирования такой философско-эстетической парадигмы и, более того, является фактом её манифестации.

В данном контексте следует рассматривать появление произведений в духе «неоромантизма» (по Мережковскому, «нового идеализма»), причем в двух аспектах: философско-идеалистическом и символично-импрессионистическом. Это произведения позднего Жуковского, Тютчева, Фета, «гаинственного», «странного» Тургенева, К. Случевского, Н. Минского и т. д. «Новый идеализм» («идеальные порывы духа») художников Серебряного века — с соединением в их художественном мире несоединимого, с их поэтизацией, легендарностью, мифологизацией своего «я», с сочетанием внешней стилизованности под «беспечность» и внутренней истинности трагедийных переживаний, со свойственной героям их произведений раздвоенностью, — явился закономерным «отрицанием» «художественного материализма» (реализма). «Трагедийный эротизм» неоконченной повести Лермонтова — это одна из антиномий, составляющих суть эстетики декаданса и модернизма. По этой причине сама онтология человеческой жизни, специфический способ существования лермонтовского героя близки кардинальной идее культуры новой литературной эпохи — идее «жизнестроительства», «жизнетворчества», а в качестве важнейшего принципа миропонимания утверждается интуитивно-аксиологический. В данном

контексте художественно мотивированной является трансформация коллизии трагической «принудительности», «управляемости» волей героя в ситуацию нравственного выбора («Он решил...»). Тревожные предчувствия тоже сменилось ощущением счастья («Он ожидал вечера, как любовник свиданья...»). Художественный мир повести Лермонтова «живёт», таким образом, по законам амбивалентности, в ней до конца сохраняется антитеза «дневного» и «ночного» бытия и другие мифопоэтические «бинарные оппозиции». Причина этой метаморфозы одна — образ «божественного виденья» и «идеал» Лутина сомкнулись в поразительном единстве. В отличие от Печорина, герою «Штосса» было из-за чего жизнь поставить на карту. В этом смысле он обретает то «постоянство воли, необходимое для действительной жизни», которое, казалось бы, «истощил» в «напряженной борьбе» герой лермонтовского романа.

План «Штосса» дает основания утверждать, что писатель предполагал продолжить работу над повестью, но окончить её просто не успел: он погиб через два с половиной месяца после того, как написал и читал в Петербурге черновой вариант первой части. Малоубедительными являются концепции некоторых литературоведов, пытающихся доказать, что «оборванность [«Штосса»] была сознательным приемом», а повесть как «литературная мистификация» «представлялась Лермонтову законченной».

Попытку завершить это произведение предпринял в 1885 году малоизвестный автор Александр Александрович Соколов. Само название его продолжения — «Призраки» — говорит о том, на чём было сосредоточено внимание беллетриста, претендовавшего на «соавторство» с Лермонтовым. Попытки окончания повести «Штосс» — это своего рода эстетический эксперимент, и он отражает важные тенденции литературного процесса третьей трети XIX века — попытки найти новые измерения действительности и человека, не укладывающиеся в рамки сложившихся к тому времени социологических и философских традиций. Об этом, по сути, писал Д. С. Мережковский, рассматривавший вопрос «о причинах упадка и новых течениях современной» ему русской литературы. Отказ от «удушающего мертвенного позитивизма» в литературном творчестве, от засилья «художественного материализма» — это уже те сформулированные положения, которые обобщают данные живого современного литературного процесса 1880-х — начала 1890-х годов, фиксируют логику исканий писателей в области художественно-философской антропологии и эстетического выражения нового миропонимания.



Тамара ЛАНГУЕВА

НА МЕСТЕ ДУЭЛИ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Певцу — не петь,
священной негой слов
не услаждать безмолвные долины!
Не пролистав и жизни половину,
поэт погиб...возликовало зло.

Земля, где пролилась напрасно кровь,
давно успела горем пропитаться...
Здесь кроткий призрак тщетно ищет кров,
унав по миру грешному скитаться.

Сюда мы приезжаем иногда:
лишь — в юбилей, в память годовщины...
Отсчёта точка — день его кончины,
апофеозом — тёмных гор гряда...

А это место, где была дуэль,
кровавой метой на Кавказе стало.
Там обитают вороны теперь,
как будто им иных пристанищ мало.

... В тот скорбный час, когда погиб поэт,
сама природа гнев свой показала:
гром грохотал и эхом вторил в скалах,
и молнии метали жгучий свет.

Поэт лежал под яростным дождём,
и тем дождём оплакан был навеки,
простым — дождём,
какая тайна — в нём?..
Что ж, и дожди порой питают реки.

О чём он думал в свой последний миг —
о славе, чести, удали беспечной,
о не рождённых строчках новых книг
или о том, как много значит вечность?!

Поэт погиб, но ведь бессмертен дух,
всегда нетленный! Созерцая землю,
он всё в единстве Сущего приемлет:
Кавказ, ...
Тарханы,
гордый Петербург...

Грот Лермонтова, тихий и печальный,
Таинственно листвою припорошённый,
В нём — ветерка заблудшего случайность -
Сродни шагам Поэта воскрешённым...

О, дай мне, Бог, возвысившись, изведать
Его чудесной лиры звук бесценный,
Увидеть лик Поэта вдохновенный...
...и осторожно завести беседу!..



Джамбулат КОШУБАЕВ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ: ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ

Фрагменты эссе

ПЛАЩ И ШПАГА

Глубокая, долгая связь с книгой, с текстом, а следовательно, и с автором возникает на пересечении возраста, чувства и определенного опыта.

В четырнадцать лет стихи и проза Лермонтова – как плащ и шпага для влюбленного мушкетера. Что-то смутное, трагическое волнует сердце, но назвать его ты еще не можешь, растущее самосознание представляется неким уже приобретенным опытом, хотя на деле опыта как такового нет, мнимое одиночество и мнимый груз прошлого давят на плечи...

Не удивительно, что Лермонтов в то время заслонил для меня всю великую русскую и мировую литературу.

— Ты не понимаешь, — доказывал я своей тете, — у него есть все! Он сказал обо всем!

Тетя меня выслушала внимательно, а затем предложила почитать Гоголя вслух. Вслед за Гоголем начали стремительно открываться другие тексты и другие авторы. Это был необозри-

мый континент под названием Литература. Но Лермонтов долгое время оставался недосыгаемым образцом, заповедным островом, с которого началось мое путешествие по морю текстов и к которому я всегда возвращался.

Движение литературы во времени — процесс удивительный. Художественные произведения, первоначально созданные для взрослых, постепенно «омолаживаются» («Собор Парижской Богоматери», «Айвенго», «Три мушкетера», «Двадцать тысяч лье под водой», «Путешествие Гулливера», «Последний из могикиан» и т. д.) и в конце концов переходят в разряд юношеской, а затем и детской литературы.

«Демона» и «Героя нашего времени» не рекомендовалось читать барышням по причине слишком вольного содержания, способного возбудить порочные мысли и желания.

Этот процесс отражает движение нравственного и духовного опыта. Хотя, конечно же, остается вопрос: насколько полно и глубоко можно понять муки Печорина в четырнадцать лет?

Армия. Где-то на севере от Москвы.

Часть, в которой мне довелось служить, считалась образцовой и располагала большой библиотекой. Однако чтение не приветствовалось, да и сами солдаты и офицеры особо не стремились в эту сокровищницу знаний. Насколько они были далеки от книг, рисует один эпизод.

Будучи в городе, я заскочил в книжный магазин. Выходя, слышу отчаянный вопль сослуживца:

— Что ты наделал?! Что ты наделал?!

Оглядываюсь на дверь — никого не прищемил.

— Ты книгу купил! Да лучше бы ты гарбуза купил!

Когда сегодня говорят о читающей и не читающей аудитории, я вспоминаю армию. Тогда тоже не читали. И не потому, что этому препятствовали командиры. Просто-напросто большая часть ребят не имела такой привычки и потребности.

Наш армейский почтальон, добрейший, замечательный парень с походкой фехтовальщика, увлекался радиотехникой. Он читал схемы, как поэмы, а всякого рода транзисторы и резисторы были для него дороже увольнительной и свидания с девушкой. Художественную литературу он не понимал и не любил.

— И Лермонтова? — спросил я осторожно, ожидая, что уж тут-то...

— А что он написал?

Его вопрос застал меня врасплох. Я не сразу поверил, что мой товарищ по оружию говорит правду.

— Ты в самом деле не знаешь?

— А что тут такого?

Я почел своим долгом просветить и приобщить своего друга к творчеству великого русского поэта: в свободное время я приходил в почтовое отделение полка — маленькую комнатку, и пока наш почтальон занимался сортировкой корреспонденции или еще какими-нибудь делами, читал ему вслух «Журнал Печорина».

— Нет, — сказал он, когда я перелистнул последнюю страницу. — Все равно не понимаю. И потом — все это выдумки.

— В смысле?

— Ну, Лермонтов же все это придумал.

— Да, но это же художественная правда! Неужели ты ничего не почувствовал ни к Мери, ни к Печорину?

— Нет. Сказки все это. Вранье.

Затем он достал из ящика стола схему радиоприемника и разложил ее на столе. Глаза его загорелись.

— Смотри! Вот это — здорово! По этой схеме я смогу собрать такую машину, такой приемник! Целую радиостанцию! Может быть, твой Лермонтов и великий поэт, но тот, кто придумал это, — он похлопал ладонью по схеме, — был гений!

Сегодня я понимаю, что в словах почтальона была своя правда. Но я все-таки лщу себя надеждой, что дело было не в Лермонтове. Просто из меня вышел плохой пропагандист, да и книга, впрочем, не книга, — автор нужен был другой.

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

Уже после университета я вновь обратился к Лермонтову. Его творчество обладает притягательной, магической силой. И сколько бы ни выходило книг, исследований, остается все же недоговоренность, словно что-то очень важное, сущностное ускользает постоянно.

Тогда, в 1993 году, мне показалось, что тайна приоткрылась, я нашел ключ к разгадке его творчества. Работа была озаглавлена довольно претенциозно: «Лирический апокалипсис». Но всякий системный подход, системное построение страдает тем, что из поля зрения выпадают надсистемные элементы, и в данном случае, и это очень важно, выпадало существо поэзии.

Но как бы там ни было, выстраивается динамичная система. Лермонтов отвержен своим детским и юношеским художественным образам, он развивает их на протяжении всей своей жизни, доводя до логического конца, до того совершенства, до той черты, за которой объективно уже нет возможности развиваться дальше.

Таков образ Узника. Перед нами несколько стихотворений: «Узник» (1837), «Сосед» (1837), «Соседка» (1840), «Пленный рыцарь» (1840).

Взятые вместе, эти четыре стихотворения образуют определенное драматургическое пространство, — это отдельная история. Назовем ее: ИСТОРИЯ УЗНИКА.

В «Пленном рыцаре» Узник превращается в собственную метафору. Тюрьма со всеми ее атрибутами — решетки, замки, стены — прирастает к телу:

Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.

Выход на свободу мыслится как освобождение духа из плена тела.
Если в «Узнике»:

Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет весел и игрив, —

то в «Пленном рыцаре»:

Конь мой бежит, и никто им не правит.
Быстрое время — мой конь неизменный.

Лермонтов совмещает статику тюремного заключения с динамизмом свободы. Время протекает одинаково свободно и в тюрьме, и на воле. Оно приобретает еще одно качество: «летучее время» — испаряющееся, эфирное, невидимое и неуловимое, но имеющее при этом некие физические характеристики.

Часовой, который присутствует в «Узнике», «Соседе» и «Соседке», в «Пленном рыцаре» уже отсутствует...

Пространство в «Узнике» осязаемо и видимо: поле, терем, скачущий конь, узкое помещение темницы, часовой, меряющий шагами тишину. Тишина приобретает пространственную характеристику.

В «Соседе» присутствует скрытое пространство соседней камеры и пространство воспоминаний. В данном стихотворении пространство пересекает звук песни.

В «Соседке» пространство окон играет главенствующую роль. Оно ограничено ими — окно Узника и окно Соседки.

В «Пленном рыцаре» пространство воплощается в образе Узника-тюрьмы. Оно обретает предметную тяжесть, плотность. Узкие бойницы, высокие, толстые стены, чугунные двери — это все атрибуты самого Узника. Мы имеем определения внутреннего пространства, которое оказывается взорванным, уничтоженным летучим временем. Пространство, предполагающее некие внешние или внутренние ориентиры, переходит в потустороннее ничто.

Стихотворения «Узник» и «Сосед» были созданы в 1837 году. (Правда, было еще раннее стихотворение 1832-го года «Желание». В переработанном виде оно вошло в «Узника».) «Соседка» и «Пленный рыцарь» — в 1840-м. Гипотетическое заключение Узника длилось три года. Смена присутствующих в стихотворениях настроений отражает поэтапное «привыкание» к тюрьме.

В «Узнике» заключенный бравирует при свете дня. Он мечтает о возможном освобождении, возлагает надежды на помощь извне. Но приходит ночь, и он впадает в отчаянье. Кругом лишь голые стены да мерный звук шагов часового.

Со временем Узник начинает прислушиваться к тому, что происходит за соседней стеной и обнаруживает, что он здесь не один. Слабый звук человеческого голоса за стеной, смутные напевы — и Узник погружается в воспоминания. И слезы, предательские слезы, катятся по лицу.

За три года он обжился в своей темнице. У него даже появилась прекрасная соседка, а вместе с ней и надежда на побег. Но надеждам не суждено осуществиться.

Плен превращается в метафизическое состояние души и мира. Все и вся пребывает в плену, и освободиться от него можно лишь через смерть.

В отличие от первых трех стихотворений, где названия носят формальный характер, четвертое — «Пленный рыцарь» — обладает определяющим, смыслообразующим заголовком. Если бы не название, мы имели бы простое уподобление отдельных доспехов тем или иным архитектурным элементам тюрьмы. Именно благодаря названию — «Пленный рыцарь» — плененным оказывается не только лирический

герой, но пленены определенные рыцарские качества — честь, доблесть, отвага, преданность.

Совершенно неожиданен финал стихотворения. Вопреки традиции, рыцарь не вступает в схватку со смертью. Он превращает смерть в своего слугу, пажу:

Смерть, как приедем, подержит мне стремя..
Но у Пленного рыцаря есть своя предыстория.

Западноевропейский институт рыцарства не был характерен для России в том виде, как он сложился и существовал в Европе. Рыцарские идеалы начали проникать в Россию в XVIII веке и трансформировались в дворянский кодекс чести. Эта трансформация произошла равным образом и в Европе, и в России. Взятая отдельно, сама по себе, идея рыцарства воплощала в себе наилучшие устремления человеческой духовности. (Конечно, совершенно другой вопрос — какие формы принимала идея рыцарства на практике.)

Лермонтовский Рыцарь имеет свою родословную. Предположительно, он ведет свой род из Шотландии.

Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
«Гроб Оссиана»

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел.

«Желание»

(Любопытно, что высказанное Лермонтовым предположение о якобы своих шотландских корнях, а он искал своих предков и в Испании, может обрести реальную почву. В 2007 году в информационной программе «Время» прошло сообщение о том, что некий шотландский Лермонтов собирается провести генетическую экспертизу на предмет родства с русским поэтом.)

Лермонтовский Рыцарь, как то и положено истинному рыцарю, — участник священных крестовых походов:

В старинны годы жили-были
 Два рыцаря друзья;
 Не раз они в Сион ходили,
 Желанием горя,
 С огромной ратью, с королями
 Его освободить...
 И крест священный знаменами
 Своими осенить...

«В старинны годы жили-были...»

Появляется даже иконописный образ Рыцаря:

Иль, Божьей рати лучший воин,
 Он был с безоблачным челом,
 Как ты, всегда небес достоин
 Перед людьми и божеством?..

«Ветка Палестины»

В первой же строке стихотворения «Смерть Поэта» обнаруживается присутствие этого героя, «достойного небес»:

Погиб Поэт! — невольник чести.

Невольник чести. Таким же невольником чести окажется и сам Лермонтов. Рыцарь не может не принять вызов, каким бы нелепым он ни казался, от кого бы он ни исходил, какие бы причины ни лежали в его основе. Постфактум допускается выразить свое отношение, но прежде должен быть поступок. Рыцарь — это человек поступка, он — невольник чести.

Поэзия Лермонтова пропитана духом рыцарства. Возможно, это одна из причин неизменно стойкой привязанности северокавказских народов к его творчеству, поскольку нравственно-этические кодексы горцев в своей основе близки к рыцарским.

Черноморское побережье, поселок Лазаревское. На железнодорожном вокзале приезжающих встречает памятник адмиралу Лазареву. Он смотрит в сторону моря, но моря не видит — бронзовый мертвый взор конкистадора упирается в облупленную невыразительную стену складского помещения и привокзальный мусор, произрастающий вдоль стены.

Если идти по улице Победы на север, то справа будет библиотека, расположенная на первом этаже хрущевской пятиэтажки. На ее окнах аршинными буквами значится: «Городская библиотека им. А. И. Одоевского». Чуть ниже по улице из частного двора каждое утро выводят верблюда. Он здесь живет и работает вместе с

фотографом. На верблюда надет холщовый намордник. Корабль пустыни молчалив, терпелив и печален.

Подростком, впервые читая стихотворение Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского», я споткнулся о первые строки:

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока.

Я никак не мог понять, в каких горах востока путешествовали опальные декабрист и поэт. Восток в ту мою пору, да, пожалуй, и сегодня, никоим образом не ассоциировался с Северным Кавказом, в особенности с его центральной и западной частями.

В 2000 году в Санкт-Петербурге вышла книга Я. Гордина «Кавказ: земля и кровь», где в качестве приложения опубликован Дневник поручика Н. В. Симановского, прибывшего на Кавказ в действующую армию в 1837 году.

2 апреля 1837 года поручик делает следующую запись: «Я шатался по городу (Ставрополь. — *Дж. К.*), искал вьюков или переметных сум, но ничего не мог найти; город очень грязный, и совсем нет порядочных строений... Если бы мой Гаврило умел обращаться с верблюдом, то я купил бы скорей, чем лошадь, ибо, кроме того, что он может быть без корму долгое время и питья, на него можно пропасть навалить».

И еще одна запись от 14 декабря 1837 года:

«В Прохладной встретил я Лермонтова, едущего в С.-Петербург».

Действительно, верблюды в ту пору не были экзотическими животными на Кавказе, а для русского человека одна из границ между Востоком и Западом проходила по границе Великой степи.

Лермонтов без всяких поэтических прикрас констатирует реальное географическое и культурное местоположение Кавказа вообще и Северного Кавказа в частности — это другой тип цивилизации, с точки зрения России XIX века — восточный.

АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ

Когда мне впервые довелось лететь самолетом, маршрут пролегал над Главным Кавказским хребтом. В иллюминаторе открывалась поистине величественная панорама. Но еще удивительнее было то, какое точное, скрупулезно точное описание горного пейзажа дал Лермонтов в «Демоне»:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял.

В «Демоне» Лермонтов панорамно и стремительно меняет «планы», создавая ощущение свободного полета. Сначала дается космический план:

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним...

Затем дается вид с высоты орлиного полета: «И над вершинами Кавказа...», а потом — с одной из вершин:

Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали.
и, наконец — ближний план:
Высокий дом, широкий двор.

Лермонтов создает стремительность движения не за счет описания физических характеристик самого полета, а сменой картин. Читатель видит все как бы глазами летящего Демона.

Траектория движения Демона — от космоса до человеческой души — души Тамары.

Демон, пролетающий над Кавказом, — это еще и воплощение духа свободы и познания. Согласно одной из версий о существовании и гибели Атлантиды, Кавказ — одно из мест на земле, где сохранились священные знания атлантов.

Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скалы,
Где гнезда выют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

«Тамбовская казначейша»

«Вольный и роскошный путь» — путь свободы. Кавказ для Лермонтова так же свят, как и Москва, это его две непреходящие любви:

Я сердцем твой, — всегда и всюду твой!

«Аул Бастунджи»

Кавказ мой величавый.

«Измаил-Бей»

Кавказ в изображении Лермонтова — рай. Облака, горы, леса, птицы, звери — все совершенно и безупречно, все сияет необыкновенной красотой.

Один из наиболее часто употребляемых Лермонтовым в описаниях природы эпитетов — «алмаз»: «алмазный венец», «алмазная роса», «алмазная грань». Алмаз выступает как символ истинной красоты, истинного знания, символ безупречности.

КРЕМНИСТЫЙ ПУТЬ

И сегодня еще время от времени всплывают всевозможные версии дуэли и гибели Лермонтова.

Помнится, особое впечатление произвела на меня статья одного психолога, в которой утверждалось, что Лермонтов к моменту ссоры с Мартыновым настолько вошел в созданный им же самим образ Печорина, что не мог остановиться. Версия заманчивая, но теперь, по прошествии времени, она представляется малоубедительной.

Лермонтов был уверен в благоприятном исходе поединка. В этом же были уверены почти все участники дуэли — секунданты и друзья, ведь, на самом деле, каких-либо веских причин убивать поэта у Мартынова не было. Все начиналось с неудачной шутки, представлялось шуткой, но шутка эта зашла слишком далеко. Поэт, в сущности, очень молодой человек, переоценил свое знание человеческой природы. Мартынов жаждал не убить, но — проучить противника, как того хотел и Грушницкий. И если кто-то и вошел в роль, то это скорее всего Мартынов.

И все-таки эта дуэль и смерть поэта навсегда оставили чувство невосполнимой и несправедливо ранней утраты. Когда приходится слышать рассуждения, что так было прописано и определено свыше и что, мол, останься он жив, уже ничего не написал бы, — согласиться, да и знать наверняка, невозможно.

Наш путь познания, путь жизни человеческой — кремнистый, мерцающий путь, уходящий в бездонную звездную высь. Поэт уже прошел по нему, по нему идти и нам, всем, кто любит и чтит Михаила Юрьевича Лермонтова.

Александр ОЧМАН

Поэтический шедевр родился в Пятигорске

О стихотворении М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...»

В конце июня или в начале июля 1841 года в Пятигорске незадолго до роковой дуэли с Мартыновым Лермонтов буквально на едином дыхании создает один из самых замечательных своих поэтических образцов — стихотворение «Выхожу один я на дорогу...». Чтобы понять обстоятельства рождения шедевра, многомерность его смысла и подтекста, необходимо пояснить, почему и как оказался поэт в курортном кавказском городе в это время.

Начнем издалека.

За дуэль с де Барантом в феврале 1840 года по высочайшему приговору Лермонтов отправлен на Кавказ во вторую ссылку, будучи прикомандированным к Тенгинскому пехотному полку. С июля в составе экспедиционного отряда генерала Галафеева поэт участвует в боевых действиях против горцев, в том числе в сражении при Валерике. В конце года ему предоставлен двухмесячный отпуск для свидания с бабушкой, и начало 1841 года он проводит в Петербурге, ощутив настоятельную потребность выйти в отставку, чтобы целиком заняться литературной деятельностью. Однако в отставке ему отказали и велено было вернуться на Кавказ. Вместе со своим родственником Столыпным-Монго он прибывает 9 мая в Ставрополь, где располагался штаб Кавказской линии и Черномории, и оба получают предписание отправиться в Темир-Хан-Шуру (нынешний Буйнакск), где тогда находилось одно из подразделений Тенгинского пехотного полка, задействованного в боевых операциях. По дороге, остановившись в Георгиевске, Лермонтов предлагает спутнику (между прочим, в нарушение приказа) податься в Пятигорск («там сейчас весело», по словам поэта), куда те приезжают 13 мая, получают медицинское заключение о необходимости лечения минеральными водами и остаются здесь «вплоту до излечения». Теперь-то мы понимаем, что

поэт словно специально устремился навстречу собственной гибели. Его Величество Случай распорядился так, чтобы именно в Пятигорске произошла встреча Маёшки (кличка Мишеля в училище) и Мартышки (так называли товарищи Мартынова), бывших с юнкерских времён близкими приятелями. Майор Гребенского казачьего полка Мартынов недавно получил отставку «по семейным обстоятельствам» и, ожидая окончательного оформления документов, попутно принимал ванны (в основном в Железноводске). Лермонтов общался с ним, окунувшись в круговорот курортной жизни, вплоть до злополучной ссоры в доме Веззлиных 13 июля 1841 г., в результате чего и грянуло дуэльное столкновение.

Лермонтовское психологическое состояние в пятигорские летние дни определялось двумя главными факторами: во-первых, всё более нарастающим желанием оставить наконец-то воинскую службу (из ставропольского письма бабушке 9-10 мая: «Я всё надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощение, и я могу выйти в отставку»); во-вторых, подспудно нарастающим предчувствием близкого конца. Так, с одной стороны, он строит планы на будущее: сочинение романов об историческом прошлом России, создание литературного журнала, непосредственно творческие дела, которыми он не переставал заниматься, фиксируя стихотворения в подаренной ему В. Ф. Одоевским большого формата записной книжке перед отъездом из Петербурга; он просит бабушку (в последнем письме из Пятигорска от 28 июня) прислать собрание сочинений Жуковского и «полного Шекспира по-англински» — всё это, как следует понимать, в целях творческого саморазвития.

Вместе с тем поэта не покидает, как личность с феноменально развитой интуицией, ожидание приближающейся катастрофы. Дело в том, что с подросткового возраста в его лирике присутствует, нарастая, постепенно усиливаясь, мотив безвременной кончины на чужбине («кровавая меня могила ждет»), подпитывая формирующийся в нём фатализм. По свидетельству современников, возвращение на Кавказ сопровождалось лермонтовским тревожным ожиданием беды. Глубоко симпатизировавшая ему поэтесса Евдокия Ростопчина вспоминала момент расставания с изгнанником: «Во время всего ужина и на прощенье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце». После его гибели в стихотворении «Пустой альбом» она писала:

О! Живо помню я тот грустный вечер,
 Когда его мы вместе провожали,
 Когда ему желали дружно мы
 Счастливейший путь, счастливейший возврат.

Как он тогда предчувствием невольным
 Нас напугал! Как нехотя, как скорбно
 Прощался он!.. Как верно сердце в нем
 Недоброе, тоскуя, предвещало!

В таком контексте любые известные нам события лермонтовской пятигорской жизни приобретают символическую окраску. Вот он с друзьями 8 июля организует у грота Дианы бал, куда явился едва ли не весь курортный свет — и это видится

своего рода прощанием поэта с земной своей ипостасью. Товарищ Лермонтова по юнкерской школе П. А. Гвоздев говорил, что в разговоре с ним в этот вечер Мишель грустно заметил: «Чувствую — мне очень мало осталось жить». Как не связать с этим появление тогда же пророческого «Сна» («В полдневный жар в долине Дагестана...») с поразительной передачей от первого лица утасяющего сознания смертельно раненного, истекающего кровью на поле боя русского воина.

Поскольку обстановка позволяла поэту уединиться, предаваться размышлениям, именно в ситуации отрешенности от будничной суеты происходит внутренняя концентрация на самом себе с подведением итогов прожитого и пережитого, с вопрошанием будущего. В таких условиях, как представляется, родилось элегическое обращение к «граду и миру» с готовностью принять «довременный конец», уйти в инобытие на условиях созерцательного, «свидетельского» присутствия в покинутой земной обители в шуме вечного, тёмно-зелёного дуба и голоса, поющего о любви, что и стало содержанием великолепных, пронзительных строф «Выхожу один я на дорогу...», звучащих словно реквием, посвящённый самому себе.

Решительным толчком к окончательному оформлению замысла этого в своем роде поэтического завещания могло послужить стихотворение немецкого поэта Гейне из его сборника «Книга песен» (не исключено, что, увлекшийся гейневским творчеством в последний год своей жизни Лермонтов захватил на Кавказ томик его стихов, естественно, в оригинале, ибо превосходно владел немецким, а перед тем в его вольном переложении появились гейневские «На севере диком...» и «Они любили друг друга...»). Лермонтовское внимание было привлечено тематически созвучным его лирике к нескольким концептам: ночь-сон-смерть-любовь. В подстрочнике это состоящее из двух строф в стихотворении из раздела «Возвращение на родину» звучит следующим образом: «Смерть — это прохладная ночь, жизнь — это знойный день. Уже темнеет, мне дремлется, день утомил меня. Над моим ложем поднимается дерево, на нём поёт молодой соловей; он громко поёт о любви, и даже во сне я слышу эту песню»¹.

Отталкиваясь от интимного, локального в первоисточнике, Лермонтов разворачивает основанное на глубинных движениях душевного космоса лирическое повествование едва ли не вселенского масштаба. В его центре — личность (поэт, лирический герой) и мироздание. Что очень существенно — вся эта захватывающая дух небесно-земная, лёгкая, воздушная конструкция вырастает из ландшафтной эмпирики Пятигорья, разумеется, в поэтическом преображении.

Заметим сразу: весь текст может быть осмыслен в «сновидческом» измерении, как своеобразное видение. Итак, первое двустихие:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Лунная южная ночь. Перед взором поэта (лирического героя) открывается подёрнутый туманом «кремнистый путь». Откуда взялся этот образ, восхищавший Льва Толстого как на редкость характерная примета кавказского пейзажа?

1 Впервые связь между этими двумя произведениями — гейневским и лермонтовским — выявил И. М. Болдаков (Сочинения М. Ю. Лермонтова. Т. 2. СПб, 1991. С. 405–406).

Эпитет «кремнистый» впервые введён в русскую поэзию Пушкиным в предисловии к поэме «Кавказский пленник»: «Бешгу кремнистые вершины». В лермонтовском творчестве он использовался не один раз: дважды в «Герое нашего времени» и трижды в поэтических произведениях («Измаил-Бей», «Ангел смерти») и всегда в узко номинативных целях. И только теперь словосочетание обретает метафорическое звучание, где один из смыслов — кремнистый (стало быть, трудный, тернистый) жизненный путь, который предстоит преодолеть путнику.

Какие пятигорские реалии породили в лермонтовском поэтическом сознании эту ёмкую образную деталь? На этот вопрос пытался ответить известный на Кавминводах энциклопедической эрудированности краевед Л. Н. Польский. В книге «Лермонтов в Пятигорске» он выдвигает такую гипотезу: «Кремнистый путь, блестящий сквозь туман, — это тропинка вокруг Машука, подёрнутая дымкой испарений минеральных ключей».

На мой взгляд, это ошибочное предположение. Куда, думается, ближе к истине следующий вариант: это дорога из Пятигорска в Каррас (по иному — Шотландка, Колонка — от: немецкая колония), фрагментарно сохранившаяся до сих пор, по которой неоднократно верхом (в 1837, 1840 и 1841 годах) ездил Лермонтов и которому, естественно, она хорошо знакома. По ней вполне можно было передвигаться даже во время дождя, поскольку её каменистое основание препятствовало образованию непролазной грязи. В сухое время года (весна — лето — осень) белесоватое каменистое ложе в лунном свете становилось отчетливо различимым, даже когда земля, отдающая тепло в жаркие летние месяцы, образовывала в результате испарений нечто вроде тумана. Всаднику открывается вид на «кремнистый путь» в его протяжённости, пространственной перспективе. К тому же дорога в Каррас имеет небольшой, но ощутимый уклон, зримый и сегодня, что помогало видеть «пустыню, внемлющую богу», т. е. безлюдье, отсутствие примет человеческого присутствия, раскинувшуюся до горизонта умиротворённую природную стихию, на фоне которой внятен голос звезд: «и звезда с звездой говорит».

Обратим читательское внимание на очевидное противоречие по отношению к реальности запечатлённой поэтом картины: «Спит земля в сияньи голубом...» Лунная ночь, коль подходить с точки зрения реального представления о природе, по определению исключает «голубое сияние». В наше время, после полёта космонавтов, этот образ истолковывают как гениальное лермонтовское предвидение, поскольку с космической высоты земля выглядит голубой. На самом деле всё обстоит несколько проще, если исходить из особенностей лермонтовской поэтики. Эпитет «голубой» и его соответствующие аналоги (синий, лазурный, сапфирный) — средство, используемое поэтом с большой частотностью, но главное — с неизменной позитивной наполненностью, отсылающее прежде всего к голубому небесному своду — символу божественного света и величия. Потому не следует удивляться смелому смешению «лунного» и «голубого», встречающегося у Лермонтова. К примеру: «Русалка плыла по реке голубой / Озаряема полной луной...» («Русалка», 1832). В подобном образном мышлении заключается высшая — поэтическая правда. Так что объятая в ночной тиши голубым сиянием земля — в символическом плане — есть торжество небесного, божественного, гармонического начала в земном бытии.

Жажда любви («Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, / Про любовь мне сладкий голос пел»), которой поэту при жизни явно было недодано, в посмертном его бытии восполняется нашим тяготением к нему, восхищением его гениальным даром.

Александр МОСИНЦЕВ

Дуэль

Разрядит в воздух пистолет —
Конец приятельской размолвке!
Но глухо грядет гром в ответ,
Лес зашумит,
Померкнет свет,
И дождь пойдет хлестать проселки.

Мальчишка!
Разве не при нем
За гробом гроб тащили следом?
— Кого везете?
— Грибоеда...
— А дальше?
— Пушкина везем...

И станет слышен храп коней,
Их норовят седлать поспешно.
— Мартынов, цельтесь поскорей!
(Итог не важен в дождь кромешный.)
А ближний город сыт и тих.
Сопит, ему и дела нету,
Что паутиною интриг
Опутана вся жизнь поэта.

У склонов Машука

Роняет осень кремешки орехов,
Туманится озерная вода.
В такую пору лучше бы уехать,
Да только не придумаешь куда.

За корпусом отстроенной пожарки
Промышленный дымит микрорайон.
Слепящею дугой электросварки
Белесый купол неба озарен.

А дальше город ссыльного поэта,
И скоро, переплавленная в пар,
Густая память солнечного лета
С листвою облетит на тротуар,

На выбитые каменные плиты,
Вдоль переулков, смазанных вдали.
По ним, быть может, тяжкие копыта
В тот влажный вечер тело провезли.

Колеса на ухабинах стучали,
Вздыхали молча кучер и денщик.
Они смертей довольно повидали,
Но кто к ним, прости господи, привык.

Нелепа смерть, как всякая утрата.
А эта свыше определена:
Судьба певца трагедией чревата
Была во все века и времена.

Он в жизни поднадзорной,
Подконвойной
Чем дальше от столицы, тем спокойней,
А лучше, если вовсе погребен.

И вот уже достаточно предлога,
Усмешки снисходительной, кивка,
И нет пути иного, чем дорога,
Ведущая на склоны Машука.

**Георгий
ЯРОПОЛЬСКИЙ**

КРЕМНИСТЫЙ ПУТЬ

Венок строф

1

Восходит над юдолью краткой
высокий, как звезда, вопрос,
и застываешь над тетрадкой:
неужто, думаешь, дорос?
Был крохотен и малокровен —
неужто станешь с небом вровень?
Считал, что годы в сток сольют,
ан — окликает Абсолют?
А ведь казалось, весь ты взвешен
и найден лёгким, аки пух.
Соседкам улаждая слух,
свищи себе среди орешин:
там не пробьёшь ограды лбом,
где крылья сложены горбом.

2

Где крылья сложены горбом,
там и сюртук до подбородка,
и уморительным гербом
считаться может сковородка.
Там крыша к темени впритык,
но каждый к этому привык
и вызубрил два поворота,
чтоб остротой слыла острота.
Добиться места в банке шпрот —
вполне достойная задача,
но, удержав себя от плача
вплоть до улыбчивых широт,
шаг укрепляешь в яви шаткой
ошеломительной догадкой.

3

Ошеломительной догадкой
 приходит мысль о временах,
 спрессованных единой кладкой,
 но обратимых, как во снах.
 Минувшее достигнешь с тыла,
 а всё, что будет, прежде было —
 охота к перемене мест
 творит бесщётный палимпсест:
 во время перелёта птицы
 пересекаются с собой,
 все воплощения гурьбой
 спешат на прежние страницы,
 и рядом со стишком в альбом —
 земля в сиянье голубом.

4

Земля в сиянье голубом,
 увиденная словно с лунной
 поверхности, где астроном,
 воздав восторженности юной,
 мир прозревает сквозь века:
 как слиток, светится строка,
 весома и неоспорима —
 помета духа-пилигрима.
 Неукротим свободный дух!
 Парит, не скованный ничем, он —
 не важно, ангел или демон,
 лишь то значительно, что вслух
 твердит о знании особом,
 пронизан истины ознобом.

5

Пронизан истины ознобом
 ток, исходящий от вершин,
 и вряд ли сделается снобом
 Кавказских гор приёмный сын —
 тому порукою провалы
 ущелий, сумрачные скалы,
 чей неуступчивый гранит
 от хворей душу охранит.
 Раздор не дыбится распадом,
 а прошлого затем не жаль,
 что близью делается даль,

яд пересиливая ладом,
 когда, влекомый вещим словом,
 ты прикасаешься к основам.

6

Ты прикасаешься к основам
 мироустройства, к тем корням,
 что грезят о цветенье новым
 назло остывшим головням.
 Не сыто данью увяданье,
 но прерывается рыданье,
 когда один безбрежный миг
 на человеческий язык
 перелagается (подстрочник —
 всё окружающее нас,
 а также скрытое от глаз).
 Бывает, что, взглянув на росчерк,
 душа самой себе видна,
 поэта восприняв сполна.

7

Поэта восприняв сполна,
 встань у окна многоэтажки:
 прохожих вяжет пелена,
 шаги их скованны и тяжки,
 у всех морщины на челе:
 Россия, говорят, во мгле...
 Из мрака вырвался, однако,
 обычный бумагомарака!
 Припомнив слово «рококо»,
 заёрзаешь, неловко ёжась, —
 и вся звериная серьёзность
 вмиг улетучится легко.
 Стезя, поймёшь, всего одна —
 до самых бездн, а не до дна.

8

До самых бездн, а не до дна
 доводит ангельское пенье,
 но эта музыка слышна
 лишь там, где есть долготерпенье.
 Умение молчать и ждать —

сродни науке побеждать:
пока сомненья не прижали,
в хрестоматийные скрижали
на раз вписав Бородино,
сурьмой из пафосных запасов
строк воспалённых не запачкав,
не сожалел об этом, но,
чтоб не хватал хомут за шею,
он рвался к саморазрушенью.

9

Он рвался к саморазрушенью!
Геронтологии в укор,
он, верный дерзкому решенью,
и Агасферу нос угёр.
Запрудив жизненную силу,
дал фору и Мафусаилу —
не обвивая ствол, что выюн,
он два столетия как юн.
Вдыхая тот же самый воздух,
такой же вижу быстрый блик —
и горделиво-скорбный лик
подозреваю в дымных звёздах:
остаток, так сказать, сухой
под мишурой и шелухой.

10

Под мишурой и шелухой,
способными отправить в аут,
заставив выдохнуть: «на кой?» —
беззвучно зёрна вызревают.
Извилист троп, но, несомненно,
изнанка — это не измена:
не умирают имена,
идущие тропой зерна.
В глобальном графике жестоком
порой случается зазор —
так влага карстовых озёр
вдруг устремляется к истокам.
Движений слабых под трухой
не различает лишь глухой.

11

Не различает лишь глухой
скользящей поступи мгновений.
(Приплясываний за сохой —
читай: взлететь поползновений —
не одобрял могучий граф,
в чём был, по-моему, не прав,
поскольку нет здесь параллели.)
Набрякли тучи, раздобрели,
и шелест праздного дождя
в листве блистающей всё длится,
пока шипящих вереница
не достучится, подведя
к мошенническому решенью:
Мишель рифмуется с мишенью.

12

Мишель рифмуется с мишенью?
Созвучие — не самоцель!
Зоил, подвергнув поношенью,
рекомендует вермишель,
но та настолько бесхребетна
что только «глок» или «беретта»
уравновесят это зло —
строфу к абсурду понесло,
плачевно подлой подоплёкой
убийства из-за пустяка:
курок спустившая рука
была, по-видимому, лёгкой.
Пускай резов ты, словно ртуть, —
не защитишь от пули грудь.

13

Не защитишь от пули грудь
ни ментиком, ни долманом.
Врать о солдатике забудь —
весёлом, стойком, оловянном.
На первых, может быть, порах
ты уцелеешь, вертопрах,
но, продолжая жаждать бури,
пробоины дождёшься в шкуре.
В сплетениях сплясавших молний

на землю влажную падёшь,
разгульный перекрыв галдёж —
тем ощутимей, чем безмолвней.
Уже назад не повернуть,
ступая на кремнистый путь.

14

Ступая на кремнистый путь,
не пой, товарищ, трали-вали:
кремниста ли, терниста суть —
заранее поймёшь едва ли.
Лобастый, словно лабрадор,
воздень из лабиринта взор
к одной из бусинок Центавра:
какая, право же, растрava —
нести бессмертия тавро!
Едва обвыкнешь в круговерти,
как, точкой выверенной смерти
утяжелив своё перо,
паблисити лавровой грядкой
восходит над юдолью краткой.

15

Восходит над юдолью краткой,
где крылья сложены горбом,
ошеломительной догадкой
земля в сиянье голубом.
Пронизан истины ознобом,
ты прикасаешься к основам,
поэта восприняв сполна —
до самых бездн, а не до дна.
Он рвался к саморазрушенью!
Под мишурой и шелухой
не различает лишь глухой:
Мишель рифмуется с мишенью.
Не защитишь от пули грудь,
ступая на кремнистый путь.

Авторы

Аксёнов Иван Михайлович – поэт, прозаик, художник. Член Союза писателей России. Переводчик. Автор 14 книг и иллюстраций к ним. Лауреат премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина (2004). Дипломант Всероссийского конкурса «Хрустальная роза Виктора Розова». Отличник народного просвещения. С 1985 года руководит литературным объединением «Лира». Почётный гражданин г. Новопавловска Ставропольского края.



Алиева Фазу Гамзатовна – аварская поэтесса, народная поэтесса Дагестана. Автор более 80 книг поэзии и прозы, переведенных на 68 языков мира. Член Союза писателей СССР. Главный редактор журнала «Женщина Дагестана». Член Общественной палаты России (до 2006 года).



Ахматова Раиса Солтамурадовна (1928–1992) – чеченская советская поэтесса, народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР (1977), председатель Союза писателей Чечено-Ингушской АССР (1961–1983), председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР (1963–1985).





Беликов Герман Алексеевич – известный ставропольский писатель, публицист, историк, краевед. Член Союза писателей России. Старший научный сотрудник Ставропольского краеведческого музея. Автор более 20 книг. Лауреат премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина (2008). Почётный гражданин города Ставрополя. По инициативе Г.А. Беликова были воссозданы в 1990-е годы в городе Ставрополе Тифлиские ворота как символ владычества России на Кавказе.



Белоконь Сергей Владимирович (1952–2000) – журналист, писатель-прозаик, поэт. Ещё студентом филфака Ставропольского госуниверситета глубоко изучал творчество М.Ю. Лермонтова. Работал в разное время главным редактором «Молодого ленинца», ответственным секретарем журнала «Агитатор Ставрополья», был заместителем главного редактора газеты «Ставропольская правда». Его книги «Неизбежимый жребий», «Период таяния ледников» и другие широко известны на Ставрополье.



Бернард Ян Игнатьевич – поэт, член Союза писателей России, общественный деятель. Родился в 1937 г. в Варшаве. Работал организатором писательских выступлений, артистом разговорного жанра в Ставропольской краевой филармонии, лектором краевого Фонда культуры. Возглавлял Союз поляков города Ставрополя. Я.И. Бернард – ответственный секретарь краевого объединения юных участников Великой Отечественной войны, ответственный секретарь научно-творческого Международного семинара «Школа сонета», руководитель литературного объединения при городском обществе инвалидов. Автор 21 книги. Лауреат премии комсомола Ставрополья, лауреат Национального турнира поэтов «Серебряное перо» (Республика Польша). Кавалер Золотого Знака почета ОПСД Польши. Проживает в Ставрополе.



Блохин Николай Федорович – журналист, член Союза журналистов России. Автор 30 книг, многочисленных журнальных статей о жизни и творчестве соотечественников – выдающихся деятелей культуры, писателей. Лауреат премии имени писателя Бориса Горбатова Союза журналистов Украины (1991); победитель XI Всероссийского и XII Международного журналистского конкурса «Лучшая публикация по проблемам топливно-энергетического комплекса России» Общероссийской академии энергожурналистики «ПЕГАЗ-2004», «ПЕГАЗ-2005». Лауреат краевой журналистской премии им. Г. Лопатина (2014). Проживает в Ставрополе.



Бокос Виктор Фёдорович (1914–2009) – известный русский и советский поэт, поэт-песенник, прозаик, собиратель фольклора. Член Союза писателей СССР (1941). Был членом правления СП РСФСР (с 1985) и центральной ревизионной комиссии СП СССР (1986–1991), редколлеги еженедельника «Литературная Россия» (1986), член высшего творческого совета СП России (с 1994). Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957), Всесоюзного конкурса на лучшую песню (1960), премии журнала «МГ» (1988), им. А.Твардовского «Василий Тёркин» (1996). Писатель часто бывал на Ставрополье.

Бутенко Владимир Павлович – поэт, прозаик, член Союза писателей СССР и России, лауреат литературной премии журнала «Наш современник» (2011), трижды лауреат премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина. Автор нескольких исторических романов о судьбе казачества, издал 18 книг и 7 сольных музыкальных альбомов. Награждён орденом «За возрождение казачества». Главный редактор альманаха «Литературное Ставрополье», издаваемого за счёт средств краевого бюджета. Проживает в Ставрополе.



Головко Вячеслав Михайлович – известный литературовед, литературный критик, автор 310 работ и статей, опубликованных в российской и зарубежной печати, 17 литературоведческих и педагогических книг, 3 из которых посвящены критическому анализу современной литературы. Действительный член Schopenhauer-Gesellschaft (Deutschland). Член Союза российских писателей. Лауреат еженедельника «Литературная Россия», Общероссийской литературной премии им. М.И. Цветаевой, общероссийского конкурса «Профессиональная команда страны», премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина. Книги В.М. Головко находятся в фондах крупнейших библиотек мира. Профессор СКФУ, доктор филологических наук. Почётный работник высшего профессионального образования РФ.



Головко Светлана Ивановна – известный библиотековед, историк книги. Автор более 150 научных работ, в том числе 12 книг-монографий, изданных в Москве (8) и Ставрополе (4), многочисленных статей, опубликованных в центральных профессиональных библиотековедческих и научных журналах. Книги С.И. Головко находятся в фондах крупнейших библиотек мира. Доцент СКФУ, кандидат педагогических наук. Награждена правительственным знаком «За достижения в культуре».



Губин Андрей Терентьевич (1927–1992) – русский писатель-прозаик, драматург, поэт, журналист. Автор известного романа о казачестве «Молоко волчицы». В 1969 г. был принят в члены Союза писателей СССР. Последние годы жизни провел в Москве. Похоронен на родине, в г. Ессентуки Ставропольского края. В 1995 году стал (посмертно) лауреатом литературной премии им. М.А. Шолохова. Литературная премия губернатора Ставропольского края носит его имя.



Дмитриченко Валентина Гапуровна – поэт, поэт-песенник. Член Союза писателей России. Автор нескольких поэтических сборников, выпущен альбом песен на её стихи. Проживает в г. Невинномысске Ставропольского края.





Захаров Владимир Александрович – известный российский лермонтовед, общественный деятель. Работал в музеях Пятигорска, Тархан, в 1976 г. организовал музей М.Ю. Лермонтова в Тамани, где работал до 1986 г. Работал в Московской Патриархии, Институте Европы РАН, МГИМО (У) МИД России, сейчас – директор общественного института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Сопредседатель Российского Лермонтовского комитета. Лауреат Всероссийской Лермонтовской премии (2001). Опубликовал 28 книг и около 1000 статей. Автор «Летописи жизни и творчества М.Ю. Лермонтова», третьим изданием вышла книга «Дуэль и смерть поручика Лермонтова».



Иванова Елена Львовна – известный поэт, журналист. Член Союза писателей СССР и России, член Союза журналистов России. Занималась издательской и литературной деятельностью. Работала редактором студии телевидения, корреспондентом газет, возглавляла издательский отдел института повышения квалификации работников образования. Руководила краевым отделением Литфонда России (2008–2011). Автор более 10 поэтических сборников. Лауреат премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина (2009). Проживает в Ставрополе.



Игнатьев Олег Геннадиевич – поэт, прозаик. Автор пяти поэтических книг, лауреат премии издательства «Молодая гвардия» за лучшую книгу года и журнала «Наш современник». Печатался во многих центральных изданиях и антологиях. Автор исторических повествований «Сын России, заступник славян», «Детство императоров» и романа «Пекинский узел». Член Союза писателей России. Живет и работает в Москве.



Кешоков Алим Пшемахович (1914–2001) – советский кабардинский поэт, прозаик. Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1964). Герой Социалистического Труда (1990). Участник Великой Отечественной войны. С 1959 года – председатель правления СП КБ АССР и секретарь правления СП РСФСР, секретарь правления СП СССР. Председатель Литературного фонда СССР в 1970–1980 годах. Был членом президиума Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки.

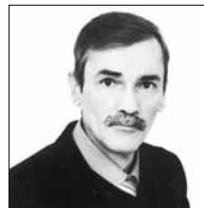


Коваленко Александра Николаевна – публицист, краевед, работала заведующей мемориальным отделом в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. Автор нескольких книг и публикаций по истории и культуре Кавказских Минеральных Вод. Лауреат краевой журналистской премии им. Г. Лопатина.

Корниенко Татьяна Юрьевна – поэт, прозаик, член Союза писателей СССР и России. Автор более 30 книг, а также текстов и музыки более 300 песен. Лауреат премии Ставропольского Союза молодежи имени А. Скокова. Проживает в Ставрополе.



Кошубаев Джамбулат Пшимафович – поэт, прозаик, редактор. Проживает в Нальчике. Родился в 1962 году в Майкопе. Окончил филфак Кабардино-Балкарского государственного университета, работает редактором книжного издательства «Эльбрус» (Нальчик). Автор книг «Логос без имени», «Абраг», «Палимпсест», «Иное небо». Публиковался в журналах «Эльбрус», «Мегалог», «Литературная Кабардино-Балкария», «Дети Ра», в альманахе «45-я параллель», в «Литературной газете» и др.



Кравченко Виктор Николаевич – прозаик, автор многочисленных книг и статей по литературному и историческому краеведению. Член Союза писателей России. Работал переводчиком, преподавателем, экскурсоводом, инструктором по туризму, старшим научным сотрудником Ставропольского краеведческого музея. Кандидат исторических наук.



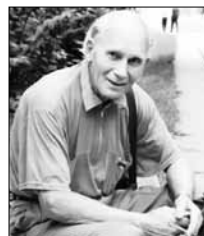
Кулиев Кайсын Шуваевич (1917–1985) – советский балкарский поэт, переводчик, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1967), лауреат Ленинской и Государственной премии СССР. Участник Великой Отечественной войны.



Лангуева (Сухорукова) Тамара Васильевна – поэт, художник, член Союза писателей России. После окончания юридического факультета Кубанского государственного университета работала в органах прокуратуры РФ. Автор 5 поэтических сборников. Проживает в г. Невинномыске Ставропольского края.



Мосинцев Александр Федорович (1938–2010) – поэт, член Союза писателей России. Выпускник Литературного института им. М. Горького, автор множества поэтических сборников, которые вышли в Москве и Ставрополе. Лауреат премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А. Т. Губина. Проживал в Пятигорске.





Маркелов Николай Васильевич – прозаик, член Союза писателей России, автор более 250 публикаций о русских писателях на Кавказе и событиях Кавказской войны XIX века. С 1989 года – главный хранитель Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. Лауреат литературной премии журнала внутренних войск УВД Российской Федерации «На боевом посту» за серию очерков о военной истории Кавказа (1995), лауреат краевой журналистской премии им. Г. Лопатина (1998). Лауреат премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А. Т. Губина.



Мельник Алла Владимировна – поэт, поэт-песенник. Член Союза писателей России. Преподаватель английского языка, музыковед. Автор более 10 поэтических сборников духовной поэзии. Проживает в Ставрополе.



Очман Александр Владимирович – известный лермонтовед, литературовед, публицист, литературный критик, кандидат филологических наук, профессор Пятигорского государственного лингвистического университета. Изучению творчества М.Ю. Лермонтова он посвятил большую часть жизни. Автор книг и монографий о М.Ю. Лермонтове («Женщины в жизни Лермонтова», «Судьбы свершенные. Лермонтов в русской поэзии Золотого и Серебряного века», «О, как это было давно», «Приют муз», «Светлые дни», «Роковой поединок» и др.). Имеет многочисленные публикации по проблемам отечественной и зарубежной литературы XIX–XX веков. Проживает в Пятигорске.



Петросян Михаил Суменович – известный журналист, радиожурналист, публицист. После окончания филфака МГУ им. Ломоносова с 1960 по 2009 год работал на Ставропольском краевом радио (1960–2009) – корреспондентом, редактором, главным редактором. Член Союза журналистов России с 1962 г. Заслуженный работник культуры РФ. Четырежды лауреат краевой журналистской премии им. Г. Лопатина.



Подольский Станислав Яковлевич – поэт, прозаик, член Союза российских писателей. С 2007 года состоит в Русском ПЕН-центре всемирной ассоциации писателей «Международный ПЕН-клуб». Является членом общественного движения писателей «Апрель» и Ассоциации русских верлибристов. Автор 18 книг. Дважды лауреат премии губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина (1999, 2008). Более 35 лет руководит литературным клубом «Форум» в г. Кисловодске. Главный редактор альманаха «Литературный Кисловодск», издаваемого на добровольные взносы и пожертвования самих участников издания. Проживает в Кисловодске.

Полумискова Екатерина Петровна – поэт, прозаик, переводчик. Член Союза писателей России, директор Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации писателей «Литературный фонд России», член общественного совета при министерстве культуры Ставропольского края. Автор пяти книг поэзии и прозы. Победитель конкурса «Белый лист» на Радио России (1995). Участник I (2001) и II (2002) форумов молодых писателей России, проходивших в Подмоскowie. Дипломант Всероссийского конкурса-премии «Хрустальная Роза Виктора Розова» в номинации «Поэзия» (2005). Проживает в Ставрополе.



Рыбалко Сергей Николаевич – поэт, прозаик, драматург. Член Союза писателей России, член бюро Независимой ассоциации писателей Кавказских Минеральных Вод. Автор более 20 поэтических сборников, автор и исполнитель песен. С 2009 г. – главный редактор альманаха «Синегорье», а с 2011 г. – руководитель Ессентукского творческого объединения «Синегорье». Лауреат премии краевого Фонда культуры (1993), лауреат литературной премии Семена Бабаевского (2000).



Сляднева Валентина Ивановна (1940–2013) – известный российский поэт, прозаик, поэт-песенник, переводчик. Член Союза писателей СССР и России. Автор 15 книг, в том числе изданных в Москве и Ставрополе. Вышли в свет 7 компакт-дисков с песнями на её стихи. В разные годы возглавляла Ставропольские краевые отделения Литфонда России и Союза писателей России. Ей неоднократно присуждалась премия губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина, лауреат премии Ставропольского Союза молодежи имени А. Скокова. Проживала в Ставрополе.

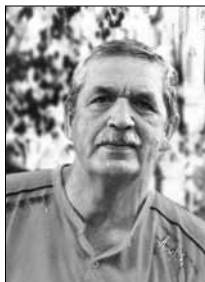


Соколов-Лермонтов Владимир Николаевич – правнучатый племянник М.Ю. Лермонтова. Родился и проживает в городе Ставрополе. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, работал в учреждениях культуры. Капитан запаса Российской армии. Во время второй чеченской кампании был командирован Северо-Кавказским региональным пограничным управлением в район боевых действий. Занимается научной, преподавательской, общественной деятельностью. Автор ряда книг и статей. Область научных интересов: история России, русская армия, русская культура и искусство, исследования приемов информационно-психологической войны против России.



Сытник Вера Владимировна – прозаик. Окончила Омский государственный университет. Работала в Забайкалье, Бурятии, Казахстане в редакциях районных газет, преподавателем мировой художественной культуры в общеобразовательных учебных заведениях, написала учебное пособие по этому предмету. Победитель конкурса «Учитель года» (г. Алматы). В настоящее время проживает в Китае (Янтай), преподаёт русский язык, занимается литературным творчеством.

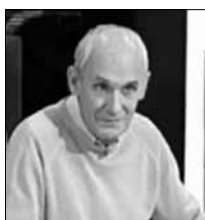




Сутулов-Катеринич Сергей Владимирович – поэт, главный редактор Международного поэтического интернет-альманаха 45parallel.net. Окончил филфак Ставропольского государственного педагогического института и сценарный факультет ВГИКа. Член Союза российских писателей, Южнорусского союза писателей и Союза журналистов России. Автор термина «поэзлада», девяти книг стихов и многочисленных публикаций в периодике. Лауреат конкурсов «Золотое перо Руси», «Серебряный стрелец», имени Петра Вегина, «Эмигрантская лира», премий журналов «Зинзивер», «Дети Ра» и других.



Фатеев Геннадий Семенович (1934–2005) – поэт, прозаик, песенник, заслуженный работник культуры РФ. Выпускник Московского института культуры. Работал на Крайнем Севере – на Чукотке, в Магадане, а по возвращении на Ставрополье – в редакциях краевых газет «Молодой ленинец», «Ставропольская правда», главным редактором краевого книжного издательства и издательства Фонда культуры. Руководил краевыми журналистской и писательской организациями. Занимался литературными переводами, работал с поэтами Северного Кавказа, за что был награжден орденом Дружбы. Автор двенадцати книг и текстов более 200 песен.



Федотов Олег Иванович – доктор филологических наук, профессор кафедры филологического образования МИОО, председатель постоянно действующего Международного научно-творческого семинара «Школа сонета», член Союза писателей СССР, член-корр. Международной академии наук педагогического образования, теоретик и историк литературы, известный стиховед, автор более 400 научных публикаций, в том числе свыше 30 изданных и переизданных учебников и монографий. Проживает в Москве.



Ходунков Константин Дмитриевич – поэт, прозаик, журналист, известный общественный деятель. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Работал главным редактором газеты «Родина». Имеет многочисленные награды, в том числе орден «Партийная доблесть», 12 медалей. Автор более 20 книг. Проживает в Ставрополе.



Шевченко Галина Александровна – поэт, прозаик, литературный критик, публицист. Член Союза писателей России, член Независимой ассоциации писателей Кавказских Минеральных Вод. Автор 22 книг. Проживает в Пятигорске.



Яропольский Георгий Борисович – поэт, переводчик. Состоит в Союзе писателей России, Клубе писателей Кавказа, Союзе «Мастера литературного перевода» и Союзе писателей XXI века. Автор 8 поэтических сборников. Перевёл на русский язык более 20 романов современных англоязычных авторов, в том числе «Белый отель» Д.М Томаса, «Лондонские поля» Мартина Эмиса, «Облачный атлас» Дэвида Митчелла, «Рукопись, найденная в чемодане» Марка Хелприна. Дважды лауреат конкурса «45-й калибр» (2013, 2014). Проживает в Нальчике.

Содержание

	ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Часть I.	«ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я...»	
М. Лермонтов.	Кавказ	8
С. Головки.	«Здесь витает дух Лермонтова»	10
Р. Ахматова.	У Машука	15
Н. Блохин.	«Синие горы Кавказа, приветствую вас!»	16
В. Дмитриченко.	М. Лермонтову.	25
	Ну, зачем вы, поручик?	25
Н. Маркелов.	«Я родину люблю, и больше многих...»	26
О. Игнатъев.	«Тревожащий и малоизъяснимый...», «В ногах чуть слышно жулькает ручей...»	46
Г. Беликов.	Лермонтовский Ставрополь (главы из книги).	47
В. Кравченко.	«Мы странствовали с ним в горах Востока...»	54
А. Очман.	Загадки лермонтовского «Валерика»	61
А. Кешоков.	Лермонтову	71

А. Губин.	Таинственный клинок	72
К. Кулиев.	Тучка Лермонтова	81

Часть II. «ИЩУ СПОКОЙСТВИЯ НАПРАСНО...»

В. Боков.	«— Гений ты! — Это с кем согласовано?..», «Куприн — татарин, Лермонтов — шотландец...» . . .	82
В. Соколов-Лермонтов.	Из рода Лермонтовых	84
А. Мельник.	Лермонтову	96
	Лермонтовым (к 950-летию рода)	
	Старинная фотография	97
	Странник	98
Г. Шевченко.	О потаённой глубине поэтической души М. Ю. Лермонтова	99
С. Подольский.	М. Ю. Лермонтову ...и всем остальным	108
	Письмена	109
А. Очман.	О возникновении замысла «Бэлы» М. Ю. Лермонтова	110
Я. Бернгард.	«Бэла!..»	113
В. Сытник.	Очарование и сила слова	114
О. Федотов.	Лирический лад баллад	117
Е. Иванова.	Судьбы поэта чаша роковая	124
В. Бутенко.	Победа сердца	128
Г. Фатеев.	Дуб Лермонтова	140
	Последние стихи	141
Е. Полумискова.	Проклятье Дианы	142
	Роза Кавказа (маленькая поэма)	154
В. Сляднева.	«Плохая примета — подранка...»	156
В. Захаров.	Письмо Катеньки Быховец	157
Е. Полумискова.	Фаталист	176
	Домик М. Ю. Лермонтова в Пятигорске	177
	Накануне дуэли (монолог М. Ю. Лермонтова)	177
С. Белоконь.	Неизбежимый жребий (отрывок)	179
С. Рыбалко.	Суд над секундантами	189
	Ночь перед дуэлью (отрывок из драматической поэмы «Гроза над Машуком»).	190

Часть III. «ВЕНЕЦ ПЕВЦА, ВЕНЕЦ ТЕРНОВЫЙ!»

С. Сутулов-Катеринич.	Кавказ: две с половиной цитаты над пропастью	192
Н. Маркелов.	«Я счастлив был с вами, ущелия гор...» (Кавказ в судьбе и творчестве М. Ю. Лермонтова)	194

Ф. Алиева.	Машук	209
А. Коваленко.	О раннем рисунке М. Ю. Лермонтова	210
Т. Корниенко.	Поручику Лермонтову	216
В. Головки.	«Звёзды — это глаза предков...»	218
И. Аксёнов.	Лермонтов. Два сонета.	223
М. Петросян.	Перечитывая Лермонтова	224
К. Ходунков.	«Легла на травы бурая роса...»	228
	Заклинатель слова	230
В. Головки.	Неоконченная повесть М. Ю. Лермонтова «Штосс» как предчувствие «нового идеализма»	232
Т. Лангуева.	На месте дуэли М. Ю. Лермонтова	240
Д. Кошубаев.	М. Ю. Лермонтов: опыт прочтения (фрагменты эссе).	242
А. Очман.	Поэтический шедевр родился в Пятигорске	251
А. Мосинцев.	Дуэль	255
	У склонов Машука	256
Г. Яропольский.	Кремнистый путь. Венок строф	257
	 ОБ АВТОРАХ СБОРНИКА	 261

Книга издана за счет средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 №11-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России.

Подписано в печать 20.12.2014. Формат 70 × 100 1/16.
Гарнитура Garamond. Бумага 80 г. Усл. печ. л. 14,86. Тираж 3000 экз. Заказ 583.

Отпечатано в типографии «Печатный Двор»,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 276.

Иллюстрация



Герб рода Лермонтовых



Неизвестный художник.
 Портрет Юрия Петровича Лермонтова –
 отца поэта (1787–1831).
 1810. Холст, масло.



Неизвестный художник.
 Портрет Марии Михайловны Лермонтовой –
 матери поэта (1795–1817).
 1810. Холст, масло.



Неизвестный художник.
 Портрет Елизаветы
 Алексеевны Арсеньевой
 (ур. Столыпной)
 (1773–1845) — бабушки
 М. Ю. Лермонтова.
 Нач. XIX века.
 Холст, масло.



М. Ю. Лермонтов. Развалины близ селения Карагач в Кахетии. 1837–1838.
Холст, масло. 62 × 71.



М. Ю. Лермонтов. Тифлис. 1837. Картон, масло. 32,2 × 39,5. (Картина подарена поэтом начальнику штаба Кавказской линии генерал-майору П. И. Петрову в Ставрополе в 1837 году.)



М.Ю. Лермонтов. Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты (у слияния рек Арагвы и Куры). 1837. Картон, масло. 36 × 43,5.



М.Ю. Лермонтов. Башня в Сиони (Военно-Грузинская дорога). 1837–1838. Холст, масло. 66 × 79.



М. Ю. Лермонтов. Перестрелка в горах Дагестана. 1840–1841. Холст, масло. 37,5 × 38,5.



М. Ю. Лермонтов. Крестовая гора. 1837–1838. Картон, масло. 33 × 40.



М. Ю. Лермонтов. Нападение (сцена из кавказской жизни). 1838. Картон, масло. 39,5 × 48,5.



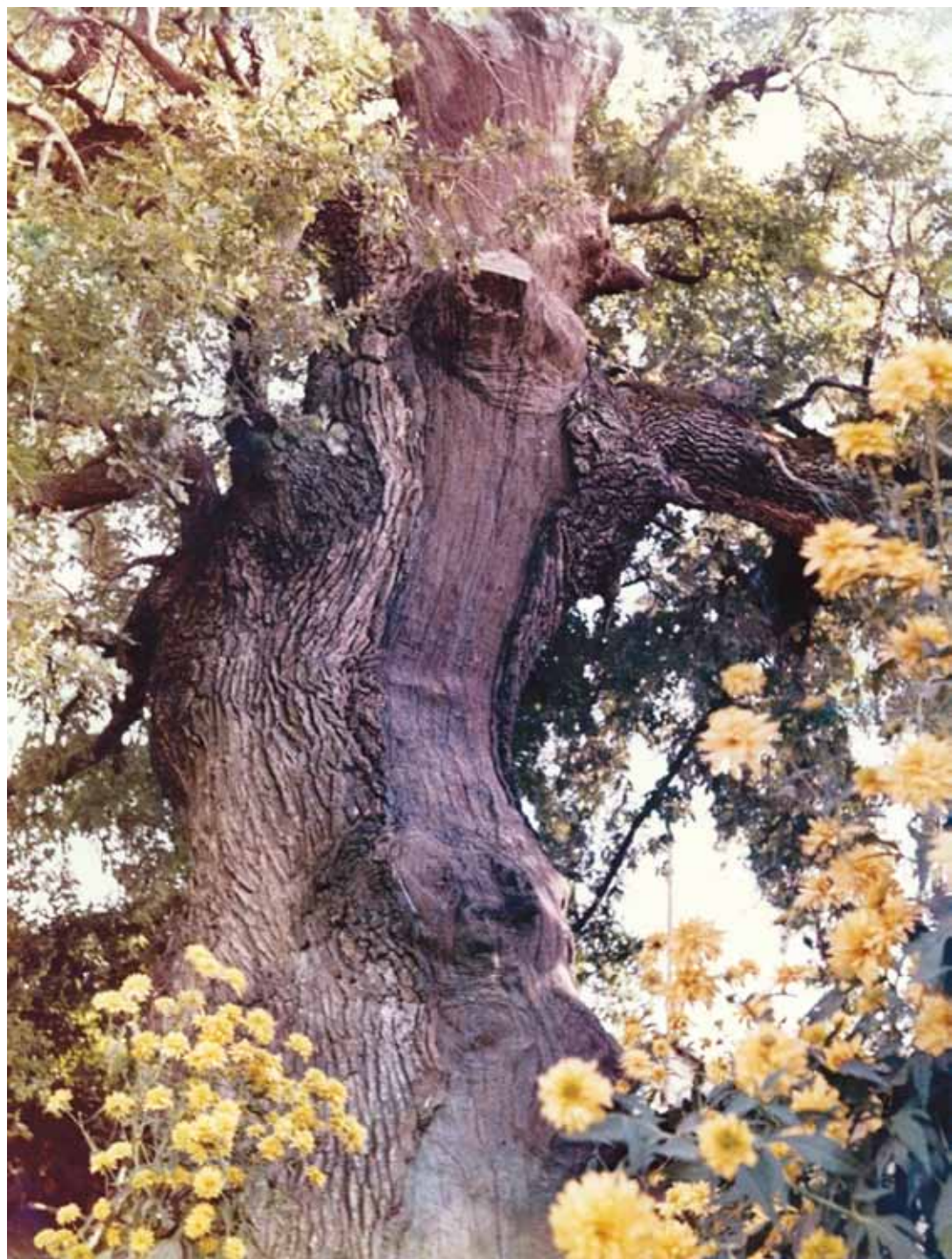
М. Ю. Лермонтов. Пятигорск. 1837–1838. Картон, масло. 26,2 × 33,9.



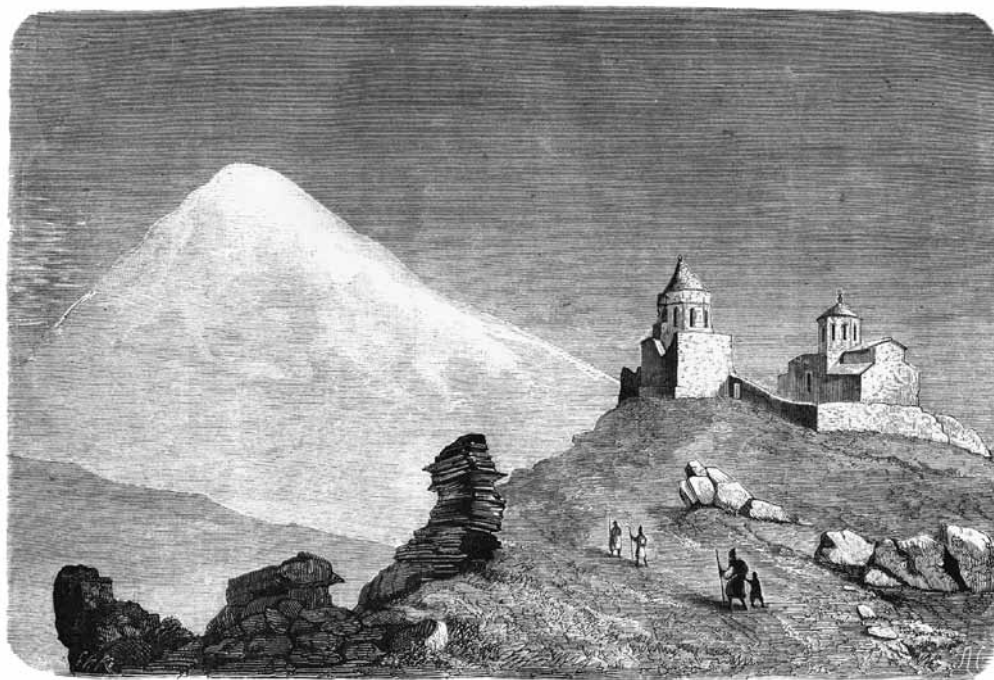
Дом дежурного штаб-офицера при штабе Кавказской линии. Здесь М. Ю. Лермонтов получал приказы и распоряжения в период своей службы на Кавказе. Здание построено в 1830 году (фото 2014 года).



Гречишкин П. М. (1923–2009). Дом Командующего Кавказской линией. Холст, масло. 1960-е гг. Здание находилось на перекрестке нынешней улицы Дзержинского и пр. Маршала Жукова. Построено на рубеже XVIII–XIX вв. Перестроено архитектором И. Ф. Руско в 1828 году. М. Ю. Лермонтов посещал Дом Командующего во время пребывания в Ставрополе. Здание уничтожено в 1960-е годы.



Уникальный памятник природы — семисотлетний дуб. Находился рядом с домом, где останавливался М.Ю. Лермонтов. По преданиям, поэт часто бывал у этого дуба. Фото Л. М. Наумова. 1977.



Неизвестный художник. Храм Цминда Самеба (Св. Троицы) в Гергети. Гравюра на дереве, вторая половина XIX в. (храм построен в XIV в., описан в поэме М. Ю. Лермонтова «Демон».

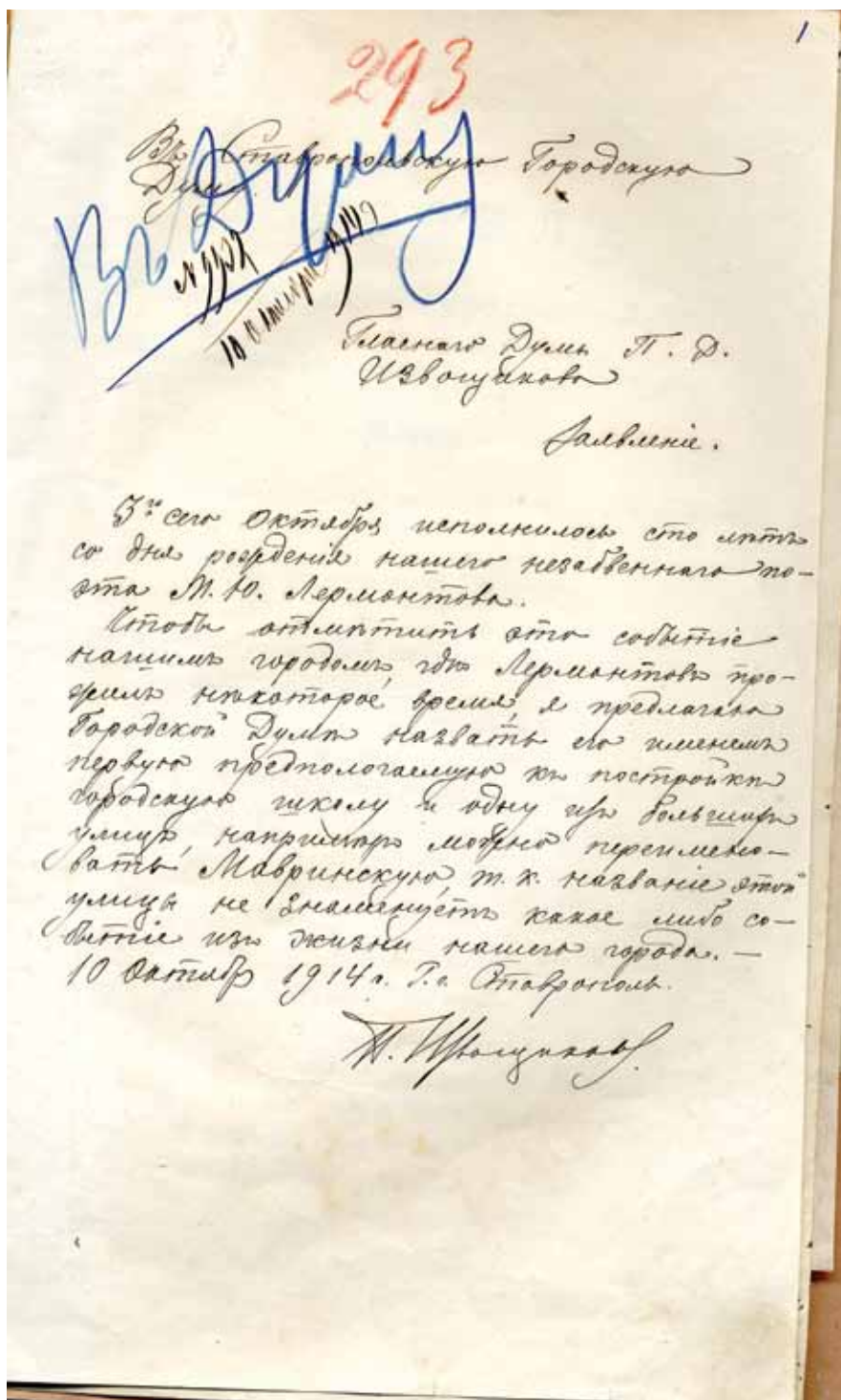


Дом ставропольского полицеймейстера Василия Афанасьевича Бетак. Поэт посещал этот дом во время пребывания в Ставрополе (г. Ставрополь, ул. Дзержинского и пр. Октябрьской Революции. Фото 2014 г.).

ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Телеграфъ	Телеграмма.
Въ _____	ПЯТИГОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Изъ _____	№ <i>1220</i>
Принята <i>16 июля 1907 г.</i>	Разр. Счетъ словъ
отъ _____	и. о. ч. и. посылу
Принять <i>Смирнов</i>	и. о. ч. и. посылу
	Служба была окончена:
ПРОВОЗВРАЩАЮСЯ НА ПАНИХИДУ ПО ДЕРМОНТОЗЕ В ЗИМНОГОРСКУ ЕГО ИМЕНИ В РИЗАНИ ЕМУ ГОРОДЕ ПРИСОБРАННВОМЪ И ПОЧИТАТЕЛНМЪ ЕГО ПАМЯТИ СЪЗРАШЕМОСЯ НА МЕСТЕ ЕГО КЪНЧНЫ И ЗУРАЖАЮТЪ ИСКРЕННЕЕ ШЕ ПАЖЕ ДАНА ЧТЪБЪ ГРУДЪ УПРАВЛЕНА ВОД ПО СЪЗУЖЕНЮ ПАМЯТНИКА УВЕННАДИС ЖЕЛАННМЪ УСТЕХОВ. Я. А. ТУВЕРЧАТОРА ПЕРЦЕВ И СЕНАТОРЪ Н. МНОБОЕДЪ РЕКТОРЪ СЕМИНАРИИ ПОВНЕВЪ Н. ВАВИЧКАИ З. ОДГОРОТОРАИ З. ДАДЬЕНСКИИ ЧЛЕНИ ДЕРМОНТОЗОСАЯ ОБЩЕСТВА ПРАЗДНИА И ПОЧИТАТЕЛИ ПЪЗГА	

Телеграмма пензенского губернатора Перцева директору Кавказских Минеральных Вод В.В. Хвоцинскому в связи с чествованием памяти поэта М.Ю. Лермонтова в день 60-летия со дня гибели 16 июля 1901 года (ГАСК. Ф. 1016. Оп. 1. Д. 22. Л. 8).



Заявление гласного Думы П. Д. Извоилова о переименовании улицы Мавринской в улицу Лермонтова от 10 октября 1914 года (ГАСК. Ф. 96. Оп. 2. Д. 3130. Л. 1).



Заявление В.А. Антонова — главного мастера по постройке памятника на месте дуэли М.Ю. Лермонтова на имя директора Кавказских Минеральных Вод об окончании работ над памятником и назначении комиссии для его осмотра и приемки.

Акт

1916 года Февраля 19 дня. Мы, нижеподписавшийся все
 оным произвел осмотр памятника на месте дуэли
 М.Ю. Лермонтова, выполненного художником-
 скульптором М.М. Микешиним. Осмотром установлено: что проект оного
 не только в преддверии уже имеет дефекты, но и в
 обнаружении а именно: неоправданными: как в отношении
 к месту о нем и вообще не соответствующим акту духа времени
 и в художественном.

Заведующий Эрмитажем
 Эрмитаж С.С. Соловьев

Генерал-майор М.М. Морав

Министр А.М. Микешин

Представитель Государственной
 Канцелярии А.М. Ставицкий

Копия передана лично г.г. Микешину



«Максим Максимыч» раб. Пичугина

Рис. Е. Н. Шенников. Худ. раб., подл. А. П. Габеев. № 02.09.20. Фото
художника Ирины М. ВЕ3020. Зап. код 1014. Тираж 12 000 шт. 2-я
Тира. «Искусство». Москва, Философский пер., 13.
Издание музея «Домик Лермонтова», в Петрозавске.



Казбек фото Раева.

Рис. Е. Н. Шенников. Худ. раб., подл. А. П. Габеев. № 02.09.20. ВЕ3020
Зап. код 1014. Тираж 12 000, и 30 к. Тира. «Искусство»
Москва, Философский пер., 13.
Издание музея «Домик Лермонтова», в Петрозавске.



Военно-Грузинская дорога, «Башня Тамары»

Рис. Г. И. Мельник. Худ. рез. мрам. А. И. Гайдар, 1918/20. Из
коллекции Государств. ИИХИИИИ, № 101, 1014. Тираж 12 экз. 11. 1918.
Тит. - Илья Ильичев, Ялта, Крымский мрам. - 12.
Издано в муз. «Домин. Лермонтова, в Пятигорске

«Максим Максимыч»;

«Военно-Грузинская дорога». «Башня Тамары»;

«Казбек».

Из набора открыток «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».

Москва, 1942 год.

(ГАСК. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 132. Л. 8, 10, 14).



В. Ф. Санжаров. Памятник М. Ю. Лермонтову в Ставрополе. 1994 г.





М. Лермонтов

В сборник вошли произведения разных жанров (проза, поэзия, очерки, статьи) современных писателей, классиков отечественной литературы, известных лермонтоведов, учёных-филологов, журналистов, литераторов. В книге представлено много новых материалов, в том числе из фондов Государственного архива Ставропольского края. Издание адресовано широкому кругу читателей.

*К 200-летию
М.Ю. Лермонтова*



**КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ МОЕЙ,
ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ**

М. Лермонтов

В сборник вошли произведения разных жанров (проза, поэзия, очерки, статьи) современных писателей, классиков отечественной литературы, известных лермонтоведов, учёных-филологов, журналистов, литераторов. В книге представлено много новых материалов, в том числе из фондов Государственного архива Ставропольского края. Издание адресовано широкому кругу читателей.



КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ МОЕЙ, ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ

К 200-летию
М.Ю. Лермонтова

КАК СЛАДКО ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ МОЕЙ,
ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ

М. Лермонтов

